РОБЕСПЬЕР

А. Левандовский



ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

Жизнь замечательных людей

Серия биографий

ОСНОВАНА
В 1933 ГОДУ
М. ГОРЬКИМ



ВЫПУСК 31
(289)

МОСКВА
1965

А. Левандовский

РОБЕСПЬЕР



ИЗДАТЕЛЬСТВО
ЦК ВЛКСМ
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

В настоящем издании «Робеспьер» подвергся весьма существенной переработке, производя которую автор по возможности учитывал замечания, полученные им за пять с лишним лет, минувших со дня выхода первого издания. «Робеспьер» значительно сокращен. Это сокращение призвано сделать книгу более доступной для массового читателя; кроме того, автор не мог не учитывать выхода биографий Марата и Дантона, наличие которых делает излишней некоторую детализированность, имевшую место в первом издании «Робеспьера».

Автор благодарит всех читателей и рецензентов, откликнувшихся на его труд. Вместе с тем, отвечая на высказанные и невысказанные реплики специалистов и неспециалистов, он хотел бы подчеркнуть, что концепция, положенная в основу книги, а также освещение тех или иных сторон и фактов жизни Робеспьера сложились в результате не только тщательного изучения источников, но и многолетних раздумий. Автору хорошо известна новейшая литература о Неподкупном, а соответственно и расхождения, которые имеются между ним и А. Матьезом, Ж. Вальтером, Ж. Массеном, М. Булуазо и другими исследователями. Считая ряд гипотез, предложенных ими, более или менее правдоподобными, автор, однако, придерживался их далеко не всегда, каждый раз изыскивая те версии, которые, на его взгляд, способны содействовать более цельному и эмоционально обоснованному восприятию великого якобинца и его эпохи.



Robespierre

[illegible]
[illegible]

С[illegible]
ш[illegible]
н[illegible]
н[illegible]
в[illegible]
д[illegible]
ка[illegible]
ях[illegible]
со[illegible]

Первая встреча

(Вместо пролога)

Его величество Людовик XVI, божьей милостью король Франции и Наварры, возвращался из Реймса. Король был расстроен. Все шло из рук вон плохо. Прежде всего он был голоден. Завтракали рано. Ему удалось перехватить лишь несколько котлеток, полдюжины яиц, небольшого цыпленка да пару кусков ветчины. Вино было скверное, и выпил он всего полбутылки. С тех пор прошло бог знает сколько времени, а обеда все еще не предвидится. Вот и лезет всякое в голову! Невольно опять и опять вспоминается об этом канальстве!

Его добрые парижане и жители других городов доставили ему много неприятностей. Буквально накануне коронации вспыхнул бунт, охвативший Бомон, Сен-Жермен, Понтуаз, а затем перебросившийся в столицу. И из-за чего же? Из-за хлеба! Видите ли, им мало хлеба, хлеб слишком дорог! А ведь сказано в священном писании: «Не хлебом единым будет жив человек»! И почему, черт побери, все они не могут жить спокойно, по заповеди «Люби ближнего своего»? Полиция оказалась бессильной, пришлось вызывать войска. Маршал Бирон повесил нескольких бездельников, многих перебили, остальные как будто успокоились. Надолго ли? Нечего сказать, хорошая прелюдия к коронационным торжествам! И как ему вообще не везет с торжествами! Все кругом шепчут о предзнаменованиях. Предзнаменования действительно скверные — от правды не уйдешь!

Ровно шесть лет назад, когда еще царствовал его покойный дед, также произошло событие, о котором нет-нет да и вспомнится.

Праздновали его бракосочетание с Марией Антуанеттой. Старый Людовик XV пожелал пустить пыль в глаза иностранцам. Несмотря на тяжелое финансовое положение, на народную нужду, на бунты, вызванные голодом после очередного неурожая, казна не поскупилась: праздники обошлись более чем в двадцать миллионов. Но уж и праздновали зато! Пир горой длился в течение целого месяца. При дворе давали такие балы, каких сейчас не увидишь. Дамы танцевали в парадных платьях с огромными панье и непомерно длинными шлейфами. Высокие прически, обрамленные затейливыми украшениями и дра-

гоценными камнями, сверкали наподобие соборных куполов. А кавалеры! Их костюмы были настолько тяжелы от золота и драгоценностей, что пригибали к паркету. Убранство короля, во всяком случае, весило не менее сорока фунтов. За такой костюм можно было бы купить несколько деревень вместе с мужиками.

Из дворца праздники перенесли на улицу. Вот тут-то все и произошло.

31 мая в Париже пускали фейерверк. Собралось огромное количество народу. Муниципалитет не позаботился о порядке, и более тысячи граждан оказались раздавленными толпой или копытами лошадей. Зловещая тень легла на союз Людовика XVI и Марии Антуанетты...

Короля передернуло. Неприятный озноб прошел по телу. А сейчас? Казна снова пуста. Голодные бунты опять потрясают страну. И разве тем не менее он не бросил миллионов на торжества вопреки всему? Однако опять ничего не получилось. Миллионы брошены на ветер. Никто ничего не оценил.

Действительно, коронация стоила колоссальных денег. По дороге из Парижа в Реймс перестроили все мосты, а в Суассоне разрушили городские ворота, потому что королевский экипаж, восемнадцати футов высоты, в них не проходил. На эти работы согнали тысячи крестьян. Реймская дорога стала такой же людной, как улица Сент-Оноре в Париже: по ней курсировало около двадцати тысяч почтовых лошадей. О самом Реймсе, разумеется, нечего и говорить. Громадный готический собор был отремонтирован и подновлен. В нем устроили особое помещение для королевы, с дежурной комнатой, в которой разместилась охрана. Даже отхожие места — невероятная роскошь! — переоборудовали на английский манер. Самое коронацию обставили возможно более пышно. И в результате... Ничего! Зрители реагировали вяло. Его, повелителя, никто не хотел приветствовать ни там, ни здесь, по дороге в Париж. Возгласы «Да здравствует король!» раздавались изредка и казались принужденными. Грязные мужики, копошившиеся у канав, и те не всегда удостаивали взглядом пышную процессию. Что же касается королевы, то ее встречали ледяным молчанием, а провожали приглушенным ропотом. Народ ненавидел «австриячку». Ее считали главной виновницей всех бед.

Король искоса взглянул на Марию Антуанетту. Она дремала, облокотясь на подушки. Ее бледное лицо казалось выточенным из мрамора. Она была очень хороша. «Черт возьми, — думал Людовик, — быть может, мой добрый народ не так уж и не прав. Она действительно страшная мотовка... Какие только

прихоти не забивают ей голову! Балы, скачки, азартная карточная игра... Она с легкостью бросает по тысяче луидоров на зеленое сукно и готова играть тридцать шесть часов подряд... А сколько уходит на пенсии и подачки хороводу ее любимцев?.. Сколько забирают архитекторы, портнихи и ювелиры?.. И после этого удивляйся постоянной нехватке средств!..» Король даже крякнул от досады. Да, неприятности со всех сторон. А тут еще эта нудная трясучка. Путь кажется бесконечным. Мера времени исчезла, только и слышны щелканье бичей, стук колес да скрип рессор. Скорее бы уж добраться до Версаля!..

Королевский поезд громыхал по парижским улицам. Моросил дождь. Среди несметного количества экипажей огромная карета монаршей семьи выделялась, как сказочный ковчег. Придворный наклонился к задремавшему королю.

— Ваше величество, сир!

Людовик открыл глаза.

— Сир, вы просили напомнить... Ваше величество собирались посетить коллеж, носящий имя вашего святого предка... Мы уже на улице Сен-Жак...

Ба! Он действительно забыл. Глупая формальность!.. Он должен посетить коллеж Луи-ле-Гран, там его будут приветствовать. И никому нет дела до того, что его растрясло, что ему хочется спать. Ну что ж, ничего не попишешь. Он не намерен задерживаться, пожалуй, можно даже не выходить из кареты. Но обычай соблюсти нужно.

Придворный отдает распоряжения форейторам головных экипажей.

...Вот он, Луи-ле-Гран, знаменитый коллеж, патроном которого считается французский король. На площадь перед входом высыпала масса народу — и воспитатели и ученики. Что-то кричат, бросают цветы. Поток экипажей останавливается. Все ждут. Но ни король, ни королева не покидают своих подушек. Тогда высокий человек в мантии и парике подает знак. Маленький хрупкий подросток, почти ребенок, быстро выходит из шеренги воспитанников. В его руках лист бумаги, свернутый трубкой. Мальчик бледен и заметно волнуется.

— Смотрите, сударыня, какой заморыш, — кивает Людовик Марии Антуанетте. — Это, вероятно, их первый ученик...

Избранник коллежа подходит к карете. Мельком взглянув на придорожную грязь, он преклоняет колени и начинает читать. Но голос его тих и неровен. Колеса скрипят, форейторы

ругаются, в соседних экипажах о чем-то громко спорят. Людовик смотрит на чтеца, но почти не разбирает слов. Приветствия, пожелания, ремонтрансы... Ученик отрывает глаза от бумаги. На момент взгляд монарха встречается с его взглядом. У него светлые внимательные глаза, холодные и пронизывающие, как стальные клинки. Королю становится не по себе. Что?.. Он, кажется, хочет продолжать? Довольно! Надоело! К дьяволу этого бледного недоноска с его неприятными глазами! Король хватает за локоть придворного и что-то шепчет... Поезд с грохотом трогается...

Ученик прерывает чтение, но остается на коленях. На глаза навертываются непрошеные слезы. Или, быть может, это капли дождя?.. К нему подбегает длинноволосый воспитанник.

— Не огорчайся, Максимилиан! Тебя недаром прозвали Римлянином: будь стойким, и ты свое возьмешь!

Максимилиан вскакивает. С разорванных чулок грязь стекает на башмаки. Быстро смахнув слезу, он сурово смотрит на товарища.

— Кто тебе сказал, что я огорчен, Камилл? Напротив, я горд... Я ведь удостоился самой высокой чести, не правда ли? — И затем, мгновенье помолчав, он добавляет: — Но заметь, какое сегодня число: сегодня 12 июня 1775 года. Не забывай никогда об этом дне и, если будет нужно, напомни мне о нем...

Часть I

СЫН ТРЕТЬЕГО СОСЛОВИЯ

Глава 1

Учитель

Его звали Максимилиан Мари Исидор де Робеспьер. Ему только что исполнилось семнадцать лет: он родился 6 мая 1758 года. Седьмой год пошел с тех пор, как он покинул свою родину — тихий Аррас, покинул без большой охоты, ибо там остались все близкие и дорогие ему люди. Но Максимилиан страстно хотел найти свое место в жизни. Он рано понял, что только образование даст ему будущее. Поэтому, бедняк и сирота, он, ни минуты не колеблясь, ухватился за возможность учиться в столице, в таком коллеже, как Луи-ле-Гран: ведь отсюда шла прямая дорога в университет!

Место и стипендию в коллеже выхлопотал через аррасского епископа заботливый опекун Максимилиана, дедушка Карро; он же дал отъезжающему первые жизненные советы.

Луи-ле-Гран! Сколько трепетных надежд связывал с ним когда-то худенький мальчик из Арраса! И сколько разочарований ожидало его!

...Мрачное серое здание в пять этажей — тюрьма тюрьмой. Решетки на окнах, решетки вместо забора. Ворота и двери — на замке. И души на замке. Надзиратели — хуже собак, наставники — благочестивые ханжи с постными физиономиями и елеем на устах. Монастырская дисциплина. И монастырская аскеза для воспитанников: кормят так, что животы подводит с голодухи.

Но Луи-ле-Гран — школа для характера. Интернат заставил замкнутого и робкого мальчика вступить в общение со сверстниками. Максимилиан с честью выдержал этот первый жизненный экзамен.

За ним установилась репутация хорошего товарища.

Впрочем, из всех своих однокашников по-настоящему он сблизился только с одним: с длинноволосым Камиллом Демуленом.

Камилл во многом казался противоположностью Максимилиана, и, быть может, именно это содействовало их дружбе.

Пылкий и неровный, то чрезмерно веселый, то слишком грустный, Камилл отличался подкупающей искренностью своих взглядов и суждений. Одаренный, но разболтанный, он отнюдь не стремился стать первым учеником. Максимилиан, обладая незаурядными способностями, был сверх того очень трудолюбив и усидчив. Природа наделила его честолюбием и выдержкой: в отличие от Демулена он мог терпеливо и упорно добиваться намеченной цели. Сначала Камилл был склонен подтрунивать над несколько чопорным аррасцем, но затем привязался к нему всей душой и даже принял его превосходство.

Коротая время вдвоем, они обменивались мнениями о воспитателях и прочитанных книгах. Иногда говорили о прошлом. Камилл вскоре узнал трагедию детства своего друга. Тот рассказал ему, как умерла мать, как уехал и погиб на чужбине отец. Чувствительный Камилл не мог сдержать слез, услыхав, что Максимилиан всего семи лет от роду остался старшим в семье, младшему члену которой, крошечному Огюстену, исполнилось всего два года.

— Так вот почему ты кажешься таким замкнутым и отчужденным, — прошептал Демулен, сжимая руку товарища.

— Да, я рано почувствовал свою ответственность, — задумчиво произнес Максимилиан. — Забот было много. Вскоре нам, правда, помогли родственники: сестер взяли тетки, а мы с братом переселились к деду. Но я не знал детства: мне были чужды игры и забавы. В свободное от школы и домашних дел время надо было посидеть над книгой. Моим единственным развлечением был уход за птицами. Признаюсь тебе, я очень любил синичек, щеглов, бедных воробьишек и дружил с ними больше, чем с детьми. Кормить их, приручать, наблюдать за ними — в то время ничто другое не казалось мне столь отрадным!

Камилл с удивлением смотрел на своего собеседника. Ему хотелось больше узнать о нем, чтобы лучше его понять.

— Максимилиан, — спросил он как-то, — почему ты прибавляешь к своей фамилии частицу «де», которую пишешь отдельно? Неужели ты происходишь из дворян? Я ведь тоже мог бы писать де Мулен, но мой отец — мелкий чиновник магистратуры в Гизе, и поэтому мы просто Демулены...

Максимилиан покраснел. Камилл ударил его по больному месту. Он действительно подписывался «де Робеспьер», точно герцог или маркиз; это было его маленькое детское тщеславие. Ну что ж, другу нужно во всем признаваться.

— Нет, Камилл, — ответил он после короткого раздумья. — Это только дурная привычка. Мы такие же Деробеспьеры, как вы Демулены. Считают, что наш род происходит из Ирландии. Во Франции, впрочем, мои предки утвердились очень давно. Нотариусы с этой фамилией в местечке Карвене, близ Арраса, упоминаются уже в шестнадцатом веке. Все Робеспьеры из поколения в поколение были судейскими. Ты хочешь знать, откуда взялась форма «де Робеспьер»? Изволь. Право на нее было получено братом моего деда по отцу, неким Ивом Робеспьером, который служил сборщиком налогов в Эпинуа и за свое *личное* дворянство уплатил немалый куш чиновникам податного управления. Он имел даже герб: на золотом поле черная перевязь вправо, обремененная серебряным крылом... Так-то, мой друг!.. На моего отца, разумеется, эта привилегия уже не распространялась: он был просто Франсуа Деробеспьер, потомственный адвокат при совете Артуа. Отец моей матери, добрый Карро, — торговец пивом в Рувиле. А я из дурацкого самолюбия, с которым ничего не могу поделать, подписываюсь, подобно Иву, «де Робеспьер». Вот и все. Я так подробно рассказал тебе об этом, чтобы никогда впредь к сему не возвращаться. Понял? Ну и довольно. Поговорим о чем-нибудь другом...

Вопрос о частице «де» взволновал двух юных воспитанников не случайно: это была сама жизнь.

Франция старого порядка веками оставалась государством привилегий.

Те, кто имел перед фамилией частицу «де», назывались *благородными*: все остальные причислялись к *податным*.

Благородные были хозяева страны. Составляя менее одного процента населения Франции, они владели двумя третями земли и были свободны от налогов и повинностей в пользу государства. Абсолютная монархия зачисляла их в два высших привилегированных сословия: духовенство и дворянство.

Остальные девяносто девять процентов французов входили в состав третьего, податного, сословия.

«Что такое третье сословие?» — писал аббат Сиейс незадолго до революции. «Все. Чем оно было в политическом отношении до сих пор? Ничем». Слова эти принесли известность Сиейсу, и действительно, трудно было более метко и лаконично определить существо и статус податного сословия в предреволюционной Франции.

Оно было всем, ибо состояло из людей, которые творили, трудились, создавали жизненные блага или организовывали процесс их созидания.

Оно было ничем, ибо монархия и привилегированные полностью устранили его от участия в политической и общественной жизни страны.

В него входили двадцать один миллион крестьян, сотни тысяч ремесленников, кустарей, мануфактурных рабочих, десятки тысяч предпринимателей, финансистов, торговцев.

Интересы этих людей были неоднородны, а то и противоположны. Но все они имели общего врага: абсолютизм и покровительствуемые им сословия. Пока абсолютизм сохранял привилегии благородных, податные волей-неволей должны были оставаться союзниками.

Максимилиан Робеспьер всегда будет верным сыном своего сословия. Пройдет время, и он с презрением отбросит частицу «де», казавшуюся столь привлекательной в годы юности. На многое, очень многое откроет ему глаза учитель.

Учителем был Жан Жак Руссо. С его сочинениями Максимилиан впервые познакомился в стенах Луи-ле-Гран.

Учебные программы коллежа, находившегося в руках католического духовенства, строились так, чтобы по возможности ограждать воспитанников от веяний современности. Главное место уделялось классической истории и литературе, заучиванию наизусть трудных латинских и греческих текстов. Беспечный Камилл зевал, чертыхался и получал плохие баллы. Прилежный Максимилиан учился с жаром, до самозабвения. Он умел находить в книгах и рассказах учителей то, что пропускали другие. Его воодушевляли примеры свободолюбия и героизма античных граждан. Афины, Спарта, Рим... В особенности Рим. Братья Гракхи, бесстрашный Брут, Спартак... Какие люди! Какие дела!

Один из преподавателей, аббат Эриво, благоволивший к Максимилиану, поддерживал его увлечение древностью и даже прозвал его Римлянином. Почтенный аббат мечтал вести своего ученика по спокойной стезе греко-латинской филологии.

Не тут-то было! Вскоре Максимилиан взялся за современную философию, и античность сразу же отошла на второй план.

Прежде чем начаться на деле, революция совершилась в умах. Третье сословие, борясь за свои права, выдвинуло плеяду философов, публицистов, ученых, которые дали человечест-

ву идеи, подорвавшие все устои старого мира: его религию, его мораль, его учреждения.

Монтескье и Вольтер, Дидро и Гельвеций, Тюрго и Кене, Мабли и Морелли — выдающиеся деятели эпохи Просвещения, несмотря на различия во взглядах, на ожесточенные споры, которые подчас вели друг с другом, представляли передовую, прогрессивную идеологию подымавшихся буржуазии и плебейства.

Особенно выделялся своей популярностью великий поборник равенства и народного суверенитета женевский гражданин Жан Жак Руссо. Его читала вся Франция. Он был властителем дум передовых слоев общества, прежде всего — молодежи.

Удивительно ли, что идеи просветителей проникли в коллеж? Удивительно ли, что сочинения прогрессивных философов стали духовной пищей Максимилиана?

Наставники сосредоточили против крамольных учений весь огонь своих проповедей. Достойный Эриво приложил немало труда, чтобы отвратить интерес Максимилиана от «нездоровых» веяний. Все оказалось напрасным. От Монтескье и Вольтера юный Римлянин перешел к Руссо, и последний завладел им целиком, без остатка.

Ночь. В дортуаре слышится мерный храп. На маленьком столике у кровати одиноко мерцает едва заметный огонек. Свеча загорожена с трех сторон. Чуть шелестят истрепанные странички.

Максимилиан жадно читает.

«...Первый, кто, оградив клочок земли, осмелился сказать: «Эта земля принадлежит мне», — и нашел людей, которые были настолько простодушными, чтобы поверить этому, был истинным основателем гражданского общества. Сколько преступлений, сколько войн, сколько бедствий и ужасов отвратил бы от человеческого рода тот, кто, вырвав столбы или засыпав рвы, служившие границами, воскликнул бы, обращаясь к людям: «Берегитесь слушать этого обманщика! Вы погибли, если забудете, что плоды принадлежат всем, а земля никому!»

Эти проникновенные слова открывали юноше новый мир, заставляли иными глазами смотреть на все окружающее.

Бедный стипендиат коллежа, самолюбивый и скрытный, из-

давна привык молчаливо наблюдать. Много горя и несправедливостей он видел в Аррасе, еще больше познал их теперь. Прогуливаясь по берегам Скарпа, в далекие дни детства, Максимилиан невольно сталкивался с беспросветной нуждой и отчаянием землепашцев — грязных, оборванных, потерявших человеческий облик. Разве можно забыть их жалкие лачуги, их голодные, изможденные лица? Робеспьер знал, что пищей им служат грубый хлеб и коренья, что большую часть своего скудного урожая они отдают другим. Но он помнил также и дворец господина Конзье, аррасского епископа, которого вместе с дедом ходил благодарить за устройство в коллеж. Помнил роскошь его гостиной, изысканность облачения и ту узкую, холеную, белую руку, целуя которую он ощущал приятный, едва уловимый аромат.

А здесь, в Париже? Какой потрясающий контраст между чистыми, нарядными кварталами центра и окраинами, рабочими предместьями! Кажется, что это два различных мира! Гуляя со своим другом, Максимилиан не раз встречал группы худых почерневших людей в лохмотьях; они напоминали ему крестьян, виденных в детстве; он знал, что это рабочие мануфактур, несчастные, которые трудятся почти круглые сутки, чтобы заработать скудное пропитание. Он невольно сопоставлял этих оборванцев с раззолоченными дамами и господами из королевского поезда.

Почему, почему все это так?.. Бывало, Максимилиан подолгу ломал голову над вопросом, казавшимся неразрешимым. Теперь в сочинениях Жан Жака он находил разгадку. Нарушено естественное право, объяснял учитель. Сильные и жестокие захватили то, что должно принадлежать всем. Общество ушло так далеко вперед, несправедливость настолько его пронизала, что возврат к золотому веку невозможен. Но если нельзя уничтожить частную собственность, если нельзя вернуть людей к полному равенству, то можно и должно устранить существующее крайнее неравенство или, во всяком случае, значительно уменьшить его. Разумный общественный договор с монархом — выразителем интересов подданных — вот путь к разрешению этой задачи.

Как все ясно, логично! И главное, вполне осуществимо! Даже пропадала горечь при воспоминании о встрече с Людовиком XVI: ведь от нового короля ожидали реформ, на него возлагали большие надежды. И кто знает, быть может, личное впечатление Максимилиана не отвечало действительности, быть может, этот толстяк с тусклым взглядом окажется способным понять и воплотить программу учителя.

Толстяк явно не хотел оправдывать надежд юного Робеспьера. В мае 1776 года страна была взбудоражена известием об отставке министра-реформатора Тюрго. Эта новость обсуждалась всюду, в том числе и в Луи-ле-Гран. Говорили, что виной всему придворная интрига, в которую замешана королева. В действительности дело обстояло серьезнее и основа его была несравненно глубже.

Опальный министр был человеком незаурядным. Последователь физиократов, проникнутый идеями Просвещения, он лучше многих видел и понимал существо происходивших во Франции процессов.

Он видел, что страна вступила в острый конфликт с феодальной системой регламентов и ограничений.

Он понимал, что ослабить социальные противоречия, таившие страшную угрозу для абсолютной монархии, можно лишь уменьшив неравенство сословий и установив более равномерное распределение налогового бремени. Став генеральным контролером финансов, Тюрго провел ряд важных реформ, которые, останься они в силе, могли бы способствовать развитию капитализма и сгладить на первое время многие острые углы. Тюрго отменил стеснения хлебной торговли, ликвидировал барщины, уничтожил цеховые корпорации. Многие виды торгово-промышленной деятельности освобождались от феодальной опеки. Но при этом, желая найти выход из тяжелого финансового положения, министр-реформатор посягнул на святая святых и запроектировал обложить постоянным налогом привилегированные сословия. Это его и погубило.

Придворные негодовали и требовали крутой расправы с министром. В Бастилию его! На цепь! Ишь, что задумал! Рупором настроений придворной камарильи стала королева. Слабый и нерешительный Людовик тотчас же спасовал. На цепь генерального контролера не посадили, но отставку ему вручили немедленно. Все реформы были отменены.

Самые противоречивые мысли волновали Римлянина. Почему так не совпадают теория и действительность? Почему убирают тех, кто полезен обществу, и оставляют тех, кто ему вредит? Почему по всей стране происходят волнения крестьян? После знакомства с трудами Руссо многое казалось понятным. И все же... Жизнь шла совсем не тем идеальным путем, как предрекал «Общественный договор». Трактаты Руссо не давали ответов на все вопросы. Едкая мысль Жан Жака дразнила воображение, но раскрыть ее полностью Максимилиан не мог.

Кто объяснит ему все до конца? Уж конечно, не его наставники! И опять ночами напролет он погружается в книги учителя, опять перечитывает то, что уже так много раз читал.

И вдруг удар грома поражает его. Яркая вспышка молнии ослепляет мозг... Страница дрожит в руке... Вот оно, то, чего он искал и не мог найти! Вот слова, которые облекают в плоть все недосказанное и недопонятое:

«Мы приближаемся к кризису и к эпохе революции...»

...Максимилиан сидит на кровати, застывший как изваяние. Он не видит, что свеча догорела и погасла. Он ничего больше не видит и не чувствует. Он теперь знает только одно: ему необходимо, совершенно необходимо встретиться с учителем и говорить с ним. Он добьется этого во что бы то ни стало.

Он становится все более рассеянным и нелюдимым. Товарищи не узнают его. Камилл долго и тщетно пытается выведать причину непонятной перемены. Но Максимилиан отвечает односложно. Нет, даже Камиллу он не может доверить самого сокровенного, того, о чем следует говорить только с учителем. Демулен раздраженно пожимает плечами. Подумаешь! Земля не сошлась клином! Тоже нашелся гордец! Первый ученик!.. Есть люди и поинтереснее его. Вот, например, Фрерон: он веселый, беззаботный, у него водятся деньги. С ним можно неплохо провести время.

И длинноволосый Камилл теперь все чаще уединяется с Фрероном. Искоса он поглядывает еще иногда на своего недавнего друга. Что он? Ревнует? Мучается угрызениями совести? Нет, ничего похожего! Кажется, он не считает себя ни в чем виноватым! Ну и бог с ним!..

Коллеж остался позади. Он окончен с наградой и похвальной грамотой. Там теперь учится младший брат Максимилиана, Огюстен, которого удалось устроить на место, ставшее вакантным.

Римлянину двадцать лет. Подросток превратился в юношу, гимназист — в студента. Он слушает лекции на юридическом факультете Сорбонны. Как и прежде, Максимилиан всецело занят учебой. У него нет друзей. С Камиллом он не встречается. На своих собратьев по учебе смотрит свысока.

Глупцы! Чем заняты они? Они пропускают лекции и ведут безалаберную жизнь. Чередуя попойки с любовными приключениями, они сидят по нескольку лет на одном курсе и смот-

рят на занятия, как на тяжкое бремя. Но тогда к чему же учиться? Максимилиан не может этого понять.

Нет, он не таков. Он всегда строг к себе. Он очень экономен; впрочем, его средства настолько ничтожны, что без крайней бережливости бедному стипендиату не протянуть. У него, так заботливо следящего за своей одеждой, нет даже порядочного костюма.

Ну и что ж! Быть может, это к лучшему: он всегда имеет благовидный предлог для отказа от нежелаемой встречи. А для той встречи, о которой он так мечтает, ему не нужен выходной костюм!

Максимилиан узнал, где квартирует Руссо. Теперь он часто ходил на улицу Платриер и следил за темным подъездом. Там, на пятом этаже, на чердаке живет учитель... Сколько людей ежедневно проходило через этот подъезд! Но его Максимилиан так и не дождался. Юноша не знал, что Жан Жак был тяжело болен.

Максимилиан горячо верил в свою будущую профессию — профессию адвоката, защитника всех обездоленных и угнетенных. Без сомнения, учитель одобрил бы его выбор. Юный студент с головой погрузился в изучение сложной и тонкой юридической науки. Как и в коллеже, он чувствовал, что одних лекций ему недостаточно. Но интересной литературы оказалось мало. Тем с большей радостью обнаружил он в одном многотомном сборнике небольшую работу под заглавием «План уголовного законодательства». Читая ее, Робеспьер быстро установил, что она написана под влиянием хорошо известного ему «Трактата о преступлениях и наказаниях» Беккариа. Но каков язык! Какие формулировки! И главное, какие выводы! Автор утверждал, что законы созданы богачами в целях угнетения бедняков. Он объявлял, что бедняки не должны подчиняться этим законам, что они имеют полное право на восстание против своих угнетателей. Максимилиан был поражен. Это, конечно, в духе Руссо, но как резко и смело сказано! Он посмотрел на титульный лист: имени автора проставлено не было. С трудом удалось выяснить, что книга написана неким доктором Маратом. Робеспьер заинтересовался Маратом и вскоре сумел о нем кое-что разузнать. Оказалось, Жан Поль Марат человек уже зрелый, с вполне сложившимися взглядами. Года три назад, находясь в Англии, он выпустил другую книгу, «Цепи рабства», — яркий памфлет против абсолютизма. Он был врачом и физиком, имел звание доктора медицины и совершил

ряд выдающихся научных открытий. Но королевская Академия наук отнеслась враждебно к исследованиям Марата, а печать замалчивала его труды. В то время Максимилиан, удивлявшийся Марату, и не подозревал, насколько будущее свяжет его с этим замечательным человеком.

Великий мыслитель Жан Жак Руссо всегда оставался бедняком. Он прожил жизнь бездомного скитальца, полную тяжелого труда, горечи, обид и разочарований. Старость подкралась незаметно. И когда она вдруг нанесла удар, дряхлеющий философ, гению которого поклонялись Франция и Европа, немощный и больной, ясно понял: ему грозит голодная смерть, ибо он не в состоянии прокормить себя и жену. Над ним тяготел указ об изгнании, он ждал со дня на день репрессий и не имел сил ничего предпринять. Отчаяние овладело им. И гордая рука, никогда не принимавшая благодеяний, начертала строки, потрясшие тех, кому удалось их прочитать.

Руссо просил о приюте, где бы он смог провести дни своей старости. Он соглашался на любые условия: пусть его держат в заключении, поместят в госпиталь или отправят в пустыню; пусть окружающие будут бездушны и фальшивы — на чистосердечие он не рассчитывает; пусть его одежда будет самой дешевой, а пища — самой простой; все он приемлет с радостью и смирением.

Этот вопль души он отправил ряду лиц, на содействие которых рассчитывал. На призыв философа быстро откликнулся один из его именитых почитателей — маркиз Рене де Жирарден.

Среди владений Жирардена имелось поместье Эрменонвиль, расположенное неподалеку от Парижа, на лоне живописных лесов и лугов. Сюда-то и приглашал маркиз бедного философа. В его распоряжение предоставлялся небольшой павильон близ замка, спрятавшийся в тени заросшего парка, природа которого должна была напомнить Жан Жаку пейзажи и образы из его произведений.

Мог ли устоять боготворивший природу Руссо против столь заманчивого предложения? Он согласился воспользоваться гостеприимством маркиза. Эрменонвиль, на который сменял он теперь свой чердак на улице Платриер, стал его последним прибежищем.

Воззвание Руссо не сохранилось в тайне. Оно распространялось по рукам и стало известно многим. Весной 1778 года

прочитал его и Максимилиан Робеспьер. Нервы юноши не выдержали. Рыдания сдавили его грудь. Целый день провел он в страшной тоске, среди горьких размышлений.

Так вот что! Оказывается, учитель страдал, страдал тяжко, нуждался в помощи, быть может, находился на краю гибели. А он?.. Он, которому учитель дороже всех на свете, торчал перед подъездом его жилища и трусливо ожидал, не решаясь войти. О, если бы он знал, если бы он только мог догадаться! Но что говорить о прошлом? Надо действовать. Встреча с Руссо для него необходима, иначе он все равно не найдет себе места, не узнает покоя. Надо разыскать учителя. Надо лететь к нему, не останавливаясь ни перед какими препятствиями. Завтра? Нет, до завтра ждать он не может. И Максимилиан, узнав о новом местопребывании Руссо, без промедления отправился в путь.

Вдоль тенистой аллеи эрменонвильского парка медленно шли двое. Высокий худой старик опирался на плечо хрупкого юноши с бледным лицом и внимательными светлыми глазами. Долго длилась их тихая беседа. Они несколько раз успели обойти парк, сидели на траве у острова Тополей, опять гуляли. Взгляд Руссо просветлел, морщины на его челе разгладились. Последние годы он был замкнут и необщителен, с новыми людьми сходился плохо и здесь, в Эрменонвиле, тщательно избегал докучливых собеседников. Но этот юноша, внешне такой холодный и подтянутый, чем-то взял его. Чем? Быть может, искренностью, которая светилась в его глазах? Невидимая волна взаимного доверия постепенно окутала их. Жан Жак, очень сдержанный в начале беседы, незаметно преобразился. Он чувствовал себя так легко и свободно в обществе юного студента. Студент ищет правду жизни? Ему нужны ответы на все недомолвки в произведениях Жан Жака? Хорошо. Он сообщит ему много такого, о чем не говорил ни с кем. Чутье подсказало философу, что он передает свои идеи в верные руки. Он верил в молодежь. Будущее за ней. Пусть же этот молодой человек примет его завещание...

Только к вечеру, когда прохлада спустилась в аллеи и роса стала появляться на траве, утомленный учитель закончил свои излияния перед неизвестным учеником. Он обнял его на прощание, пожелал успеха в работе и сам закрыл за ним калитку парка.

Что же касается содержания беседы, то оно осталось вечной тайной. О нем знали лишь двое. Один из них — Жан Жак

Руссо — умер всего месяц спустя после этой встречи, другой — Максимилиан Робеспьер — навсегда сохранил в своем сердце сказанные ему слова и никому о них не поведал.

Он совершенно изменил свои планы на будущее. Когда-то, полный честолюбия, он стремился стать первым учеником, с тем чтобы обеспечить себе карьеру в Париже. Работа в столице с большими возможностями служебного продвижения казалась ему пределом мечтаний.

Теперь ученик Руссо смотрел на жизнь совсем иначе. Нет! Не привлекают его более ни Париж, ни карьера. Он вернется в родной Аррас, в провинцию, к простым людям. Там в повседневных трудах он лучше познает жизнь и принесет несравненно больше пользы. Там, вдали от столичной суеты, он лучше осмыслит все, что узнал здесь. Он не знает, что будет дальше, но пока необходимо сделать именно так. Решение созрело.

И Робеспьер нетерпеливо ждет дня отъезда. Он считает дни и часы. Париж, замкнувшийся в тесноте нескольких улиц, кажется ему все более чужим: душою и мыслями он в Аррасе.

Глава 2

Аррас

Солнечный луч, пробиваясь через щель в ставне, скользнул по подушке и заиграл на лице спящего. Максимилиан сильно зажмурил глаза, потом открыл их и быстро вскочил с постели.

Проспал! Уже девять часов! В Париже с ним этого никогда не бывало. Здесь, среди бесконечных попечений со стороны близких можно совсем разлениться. Максимилиан быстро распахнул окно и снова зажмурился от яркого света. Спокойная радость наполнила его душу. Как хорошо, как упоительно хорошо!.. Вот он, его родной Аррас, тихий и лучезарный. Прищурив слабые глаза, Максимилиан глядит в окно.

Тишина. Тишина удивительная, непривычная после долгих лет, проведенных в столице. И на улице почти нет прохожих. Лишь молочница нагружает свою тележку да седоусый сержант плетется во Дворец правосудия.

Максимилиан смотрит вслед старому служаке. Скоро и ему предстоит направить свои стопы туда же. Во дворце разместился Совет Артуа — высшая судебная палата провинции.

...Чуть слышно скрипят ступени. Дверь приотворяется чуть-

чуть, потом распахивается, и стройная девушка в черном бросается ему на шею. Это сестра Шарлотта, фактический хозяин семьи. Хозяин несколько деспотичный: слишком уж любит она братьев и смотрит на них как на свою безусловную собственность.

Много печального рассказала Максимилиану сестра. Жизнь в Аррасе была нелегкой: скудных средств, которыми помогали родственники — сами люди небогатые, — едва хватало. Бедствия не покидали осиротевшую семью, смерть не хотела с ней расставаться. Нет больше старика Карро, вложившего столько души в заботу о внуках; нет младшей сестры, хохотушки Генриэтты, с которой когда-то Максимилиан бегал по парку, которой показывал с детской гордостью своих голубей и воробьев свои драгоценные, заботливо собираемые гравюры.

Да, смерть не дает пощады ни старым, ни молодым, а на долю живых печали и слез выпадает гораздо больше, чем радости и веселья. Максимилиан хорошо знал это.

Можно до бесконечности говорить, вспоминать, плакать и смеяться. Первые дни проходят незаметно. Однако не довольно ли? Не в его обычае предаваться сладостной лени. Едва отдохнув после приезда, Максимилиан спешит приступить к долгожданной практике. 8 ноября 1781 года его принимают в коллегию адвокатов при Совете Артуа.

Коллегия состояла из нескольких десятков официальных защитников. Однако наиболее важные и интересные дела разбирались небольшим количеством старых, искушенных юристов, оставлявших прочим членам коллегии повседневную мелочь. Вследствие этого новичку, если он не был безразличен к своим успехам, приходилось постоянно бороться с интригами собратьев, добиваясь для себя тех дел, которые отвечали его наклонностям и интересам. Все эти затруднения пришлось преодолеть и молодому Робеспьеру. Положение его осложнялось еще и тем, что столичное образование и долгое отсутствие в родном городе, равно как и замкнутый, скрытный характер, ставили его особняком среди коллег, злобно высмеивавших его первые неизбежные промахи.

16 января 1782 года должно было состояться первое выступление Максимилиана в суде. Он ждал этого дня, ждал с нетерпением, но теперь, когда день пришел, не испытывал особенного подъема.

Не то чтобы он боялся. Нет, бояться ему было нечего. Блестяще окончивший Сорбонну, Максимилиан хорошо усвоил юридические науки. Кроме того, он прошел неплохую стажировку у прокурора парижского парламента. И тем не менее он испытывал неприятную скованность.

Дело было незначительное и не очень верное. Как отнесется суд к его аргументам? А главное, как примет его аудитория? Говорят, что первый успех или неуспех предрекает будущее. Готовясь отправиться во Дворец правосудия, Максимилиан с особенным вниманием отнесся к своей внешности: отутюжил старый камзол, выровнял батистовое жабо, отшлифовал серебряные пряжки на туфлях. Посмотрел в зеркало и остался доволен. Ну, с богом!..

Свое первое дело Робеспьер проиграл, да и выиграть его было трудно. Его противник — старая судейская крыса — изощрялся в крючкотворстве, сам казус был также весьма сомнителен. Не это обеспокоило начинающего адвоката. Ему показалось, что он не нашел контакта с публикой.

Действительно, обыватели, жадные до театральных эффектов, были разочарованы его несколько холодной, поучающей речью, изобиловавшей отвлеченными понятиями и к тому же не очень внятно произнесенной. Эта речь показала некоторые из качеств, характерных для ораторской манеры Робеспьера. Остро, хотя и затаенно, переживая свои неудачи, много работая над текстами речей и над своей дикцией, будущий депутат Конвента постепенно избавится от ряда недостатков, вызывавших смех не только в аррасском суде, но и потом, в зале Учредительного собрания. Однако он никогда не откажется от спокойного, лишенного блеска, но убеждающего весомостью своих доводов основного тона речи, который станет неотделимым от Робеспьера-оратора и который народ будет принимать охотнее, нежели пылкую импровизацию самых прославленных говорунов.

Первая неудача огорчила, но не обескуражила. Терпение, труд, упорство — этому учил великий Руссо. Отступать нельзя. Надо бороться и победить.

Он продолжает выступать и постепенно добивается перелома. И если злоба его старших коллег неуклонно растет, то только лишь потому, что Максимилиан становится все более популярным адвокатом и находится все больше желающих передать свою тяжбу в его руки.

Помимо убедительности его защиты и успешного завершения опекаемых им дел, здесь немаловажную роль сыграло и то, что Робеспьер очень осторожно выбирал дела и брался только за те, которые представлялись ему безусловно справедливыми; в противном случае он твердо отказывал своему клиенту.

И вдруг о нем заговорила вся провинция.

Некий гражданин города Сент-Омера, по имени Виссери, следивший за учеными новинками, вычитал где-то о громоотводе — изобретении великого американца Бенджамина Франклина. Восхищенный Виссери стал пропагандировать громоотвод среди соседей и сам первым водрузил его на крыше своего дома. Однако этот акт возымел последствия противоположные тем, на какие рассчитывал Виссери. «Благодарные» соседи подали жалобу, в которой заявляли, что хитроумное сооружение сделано с целью вызвать пожары в соседних домах. Местные власти, не слишком разбираясь в столь мудреных делах, охотно вняли доводам жалобщиков и предписали немедленно убрать громоотвод. Виссери решил не сдаваться. Он подал апелляцию в аррасскую судебную палату. Максимилиан охотно взялся за дело Виссери, видя в нем весьма удобный повод для публичного выступления против мракобесия и косности, царивших в провинции. В защиту Виссери аррасский адвокат вложил всю свою энергию. Его тщательно продуманная речь вызвала аплодисменты, и дело было выиграно. Позднее Робеспьер написал самому изобретателю громоотвода, находившемуся на территории Франции. К письму, прославлявшему Франклина и его открытие, был приложен экземпляр речи по делу Виссери.

Дело Виссери было первой серьезной победой Максимилиана. Известность, о которой он некогда так мечтал, переступила порог его жилища.

Вслед за признанием мог бы прийти и материальный успех. Большинство коллег Максимилиана стремились прославиться прежде всего потому, что слава давала деньги. Еще бы! Адвокату, замеченному обществом, выгодные дела плыли в руки. Он спокойно мог выбирать те, что давали наибольшие барыши.

Не таков был юный Робеспьер. Тот, кого впоследствии справедливый глас народа окрестил Неподкупным, был бескорыстен с самого начала своей деятельности и зачастую, берясь за защиту бедняка, не только отказывался от гонорара, но и сам помогал своему клиенту.

Для него принципы были дороже всего на свете. Самыми же главными из них он считал свободу и право на жизнь.

Аррасский епископ, давно благоволивший к Робеспьеру, предложил ему завидное место члена гражданского и уголовного трибунала.

Максимилиан согласился и образцово выполнял свои обязанности. Но однажды ему пришлось подписать смертный приговор убийце. Улики были неопровержимы, и не оказалось ни малейшей возможности смягчить наказание.

Вернувшись домой, подавленный и разбитый, Максимилиан два дня не прикасался к пище. Он не желал слушать утешений.

— Я хорошо знаю, — говорил он, — что преступник виновен, но осудить на смерть человека... Что может быть более священного и неприкосновенного, чем человеческая жизнь! Защищать угнетенных против угнетателей, отстаивать интересы слабых против сильных, которые эксплуатируют и утесняют их, — вот долг каждого, чье сердце не заражено эгоизмом и корыстолюбием. Мое призвание — охранять жизнь человека, а не посягать на нее.

И он без колебаний отказался от выгодной должности.

По ходу своих занятий молодой адвокат все чаще сталкивался с бытом простого народа. Ему неоднократно приходилось вести тяжбы крестьян. Теперь он гораздо лучше понимал многое, что раньше как-то ускользало из поля зрения. По мере того как Максимилиан знакомился с феодальным правом, ему становились ясны причины нищеты, царившей в деревнях, окружавших Аррас.

Французский крестьянин, в ходе столетий добившийся освобождения от личных повинностей, остался, однако, полностью зависимым от помещика по земле. Феодалы считались собственниками всей обрабатываемой земли, а крестьяне лишь ее держателями. За пользование наделом крестьянин должен был платить помещику чинш — регулярный денежный взнос — и сверх того давать оброки натурой, доходившие до четверти, а то и до половины снятого урожая. Страшным бичом было сеньориальное право охоты. Крестьянин не только не смел под страхом смерти истреблять зайцев, кроликов, куропаток, разгуливающих по засеянным участкам, но должен был содержать их, предоставляя им опустошать свои поля и огороды, и даже во время жатвы обязывался оставлять на полях убежища для дичи. Обременительное баналитетное право заставляло крестьянина молоть зерно на господской мельнице и печь

хлеб в господской печи, уплачивая за это, разумеется, изрядную мзду. Буквально в каждой мелочи повседневного обихода крестьянин чувствовал тяжелую господскую руку. Переход реки по мосту, переправа на пароме, рытье колодца, перегон стада — все оплачивалось особыми налогами, идущими в пользу землевладельца.

Рядом с помещиком дежурили церковь и государство. Епископу шла десятина, а интенданту — талья, забиравшая около трети дохода с двора. Королевской администрации «помогала» крупная буржуазия: генеральные откупщики, стремясь нажить барыш, буквально обдирали крестьянина.

Не удивительно, что в неурожайные годы крестьяне разорялись целыми деревнями, превращаясь в бродяг и нищих.

Крестьянство было главной силой, расшатывавшей и ослаблявшей феодальный строй. По примеру своих предков, доблестных «жаков», крестьяне XVII—XVIII веков не раз поднимали мощные восстания. Они вспыхивали то там, то тут и зачастую охватывали целые провинции королевства.

Максимилиан читал о крестьянских восстаниях и слышал пересуды, которые велись в провинции о «бунтах черни». Теперь, зная достаточно глубоко положение крестьян, он все более сомневался в бессмысленности и беспричинности этих бунтов. Не были ли восстания справедливой борьбой против жестоких угнетателей? Не находились ли они в соответствии с теорией естественного права Руссо? Эти вопросы все чаще и настойчивей приходили в голову.

Жизнь Робеспьера в Аррасе протекала однообразно. Все определилось, все стало на свои места. Можно было сменить квартиру, переехать в новый дом, но распорядок дня, четко выработанный учеником Руссо, не подлежал никакому нарушению.

Вставал он рано, не позднее шести-семи часов, и сразу садился к письменному столу. В восемь приходил парикмахер, чтобы причесать его (в отношении своей внешности Максимилиан оставался неизменен). После скромного завтрака, поработав в тиши кабинета до десяти, он одевался и уходил в суд. Обедал Робеспьер дома, был очень неприхотлив в выборе блюд и почти не употреблял вина. Выпив послеобеденную чашку кофе и уделив час-другой прогулке, он вновь запирался в кабинете до семи или восьми часов, а затем остаток вечера проводил среди близких.

Максимилиан не любил суетных развлечений салонов, был

равнодушен к картам и светской болтовне. Вместо того чтобы участвовать в банальном разговоре, он предпочитал забиться куда-нибудь в угол комнаты и углубиться в свои мысли. Погруженный в себя, он бывал рассеян и часто не замечал поклонов и приветствий, чем нажил себе немало врагов.

Но в кругу друзей, среди людей близких и интересных, он совершенно преображался. Этот, по мнению многих плохо знавших его, мрачный педант и резонер превращался в веселого и остроумного собеседника, а смех его был так искренен и заразителен, что, казалось, мог бы развеселить самого угрюмого меланхолика.

Они собрались на зеленой поляне, под сенью развесистых вязов. Каждый имел в петлице алую или чайную розу. Ужин соорудили тут же, прямо на траве. Две бутылки бургундского сулили приятное завершение вечера.

Максимилиан, улыбаясь, оглядывал соседей. Рядом с ним честный Бюиссар, старый друг его семьи, адвокат и ученый. Дюбуа де Фоссе о чем-то спорит с бледным монастырским учителем Фуше. Стройный Лазар Карно, офицер инженерных войск, обращается к Робеспьеру:

— Максимилиан, ваша очередь! Вы не забыли, что тост принадлежит вам, как вновь принятому?

Раздались поощрительные возгласы. Максимилиан поднял бокал и, щуря близорукие глаза, произнес голосом, немного дрожавшим от волнения:

Мои друзья,
Как счастлив я
Приветствовать ваш круг!
Пусть этот тост,
Хоть он и прост,
Покажет, кто вам друг.
Пьем за Карно,
И пьем за Ко,
И за Рюзе как раз;
За всех же вместе нас, друзья,
Еще нальем сейчас!

Смех и аплодисменты перешли в звон хрусталя.

— Мой друг, — шептал Максимилиан, наклонясь к уху Бюиссара, — я лучше остальных понимаю, сколь убоги эти стихи, неудачный плод нескольких часов, оторванных от работы... Но что же делать, если на большее я не способен?..

— У меня выходит хуже, — шепотом успокаивал его старший коллега, — не смущайтесь, здесь все доморощенные поэты...

Литературное общество «Розати» получило столь необычное имя в честь своей патронессы, королевы роз. Членов его называли «розовыми». Оно объединяло, как указывалось в его уставе, «молодых людей, связанных любовью к стихам, цветам и вину». Собрания, на которых читались и обсуждались прозаические и стихотворные опусы «розовых», происходили в заранее намеченные дни. Литературное чтение заканчивалось веселым товарищеским ужином.

Общество «Розати» стало для Робеспьера преддверием в аррасскую академию, о которой честолюбивый юноша не мог не мечтать.

В состав местной Академии литературы, наук и искусств входили наиболее видные лица провинции — литераторы, художники, философы. Здесь молодой юрист мог рассуждать о естественном праве и морали в духе Руссо с расчетом на то, что будет услышан сведущими людьми. Поэтому прием в члены академии в 1783 году был для него настоящим праздником. Академическая трибуна сделалась для Робеспьера важным дополнением к его адвокатской трибуне. Вскоре он стал постоянным и любимым оратором академии, а в 1786 году был избран ее президентом.

Вступление в академию дало Максимилиану повод произнести речь о несправедливости наказаний, падавших на членов семьи виновного. Он разработал эту тему и послал сочинение на конкурс в Королевское общество наук и искусств в город Мец. Сочинение было опубликовано и премировано.

Уже в этой ранней работе можно найти мысли, которые впоследствии будут высказаны депутатом Учредительного собрания и Конвента:

«...Благополучие государств покоится на незыблемом фундаменте порядка, справедливости и мудрости. Всякий несправедливый закон, всякое жестокое учреждение, которое нарушает естественное право, очевидно, не соответствует своей цели, которая состоит в обеспечении прав человека, счастия и спокойствия граждан...»

Строгая Шарлотта была обеспокоена: ее старшим братом начинало интересоваться дамское общество Арраса. В этом не было ничего удивительного. Юноша, преданный своей работе, недурной собой, неизменно любезный и вместе с тем задумчивый, грустный, как будто погруженный в какую-то тайну... Разве это не романтично? Разве не мог он стать предметом многих вздохов и надежд? Но Шарлотта волновалась напрасно.

Ее обожаемый брат оставался неуязвимым для стрел Купидона. Спартанская душа юного академика не знала легкомысленных увлечений и тем более поступков.

Впрочем, Максимилиан вовсе не был бессердечным анахоретом, сторонившимся женщин. Он вовсе не боялся и не избегал их. На знаки внимания он отвечал изысканно-любезными письмами, к которым прилагал отпечатанные экземпляры своих... адвокатских речей. Пусть по крайней мере вздыхательницы познакомятся с предметом более серьезным, чем легкий флирт!.. Эти послания он щедро прикрывал литературно-отточенными фразами, обличавшими в нем человека тонкого чутья, умеющего со светским изяществом говорить женщинам приятные вещи.

«Есть ли более благородная цель, которой могут служить блеск вашего круга и достоинства вашего сердца, если вы можете столь легкими средствами поощрять рвение того, кто посвятил себя облегчению участи несчастных и невинных...»

Поистине перл витиеватости, достойный галантного XVIII века, века мадригала!

Но сердце его оставалось свободным.

Лишь в 1786 году на жизненном пути Робеспьера появилась девушка, чуть ли не ставшая похитительницей его покоя. Это была мадемуазель Анаис Дезорти, милая и скромная уроженка Арраса, отец которой, нотариус по профессии, был женат вторым браком на одной из теток Максимилиана. Молодые люди, знакомые давно, часто встречались и незаметно стали дружны. Кому-то из родственников пришла идея их поженить. Максимилиану шел двадцать девятый год, он имел прочное положение и успешно продвигался вперед. Чего же ждать? Не пора ли обзавестись семьей, заняться своим домом и воспитанием детей, то есть зажить так, как живут все порядочные люди его круга? И найдет ли он более подходящую партию? Шарлотта, вначале колебавшаяся, затем поняла справедливость этих доводов и взяла юную Анаис под свое покровительство. Максимилиан смеялся и пожимал плечами. Однако он не имел серьезных возражений против планов родни. Брак казался решенным. Его расстроили внешние обстоятельства. Не тихую жизнь провинциального отца семейства готовила судьба молодому адвокату!..

Вести из Парижа доходили до провинции нерегулярно. Максимилиан с интересом следил за ними. Он видел, что

в стране назревают серьезные события. Учитель, по-видимому, был прав.

Не сводя концов с концами, правительство начинало метаться. Как покрыть все увеличивающиеся расходы? Где взять средства на уплату процентов по государственному долгу? Ведь теперь только на это уходила десятая часть чистого дохода со всей земли во Франции!

Один из преемников Тюрго, женевский банкир Неккер, стараясь образумить монарха и двор во имя их собственного спасения, предложил режим экономии. Неккер пытался сократить придворные траты, уменьшив штат чиновников и лакеев. Пустая затея! Разве мог какой-то генеральный директор противостоять королеве и принцам крови? Одним росчерком пера Мария Антуанетта перекрывала в несколько раз все сэкономленное за год! Тогда Неккер решил впервые в истории абсолютизма обнародовать отчет о состоянии финансов. Отчет, опубликованный в 1781 году, был изрядно «подчищен». Но даже в таком виде документ этот произвел потрясающее впечатление, ибо, чуть-чуть приоткрыв завесу, намекнул обществу на характер и масштабы хищений знати.

После этого, разумеется, Неккер тотчас же получил отставку, а новый министр финансов начал с введения новых налогов.

Мирному течению жизни Максимилиана Робеспьера было суждено оборваться на грани 1788—1789 годов. Кончилась пора академических сочинений, литературных премий, галантных писем и дружеских бесед. Его страна была накануне страшных потрясений — потрясений, которые должны были поломать и коренным образом изменить судьбу скромного адвоката, так же как и миллионы других человеческих судеб. Он предчувствовал неизбежность перемен и радостно устремлялся им навстречу.

Глава 3

Накануне

Это произошло в Париже примерно за год до начала революции.

Некий академик давал торжественный обед. Общество собралось блестящее. В огромном зале вокруг нескольких столов уютно расположились вельможи, согласные моды ради пококетничать с философией, и философы, готовые отказаться от

своих убеждений, дабы стать вельможами. Обед удался на славу. Гости вскоре чуть-чуть захмелели и достигли того блаженного состояния, когда все кажется легким и простым, соседи — милыми и добродушными, женщины — очаровательными, а будущее — безоблачным. Непринужденно лилась беседа. В центре внимания, естественно, были вопросы современности. Изящно говорили об успехах литературы, о близком царстве освобожденного разума, провозглашали тосты за слияние богатства и науки, интеллекта и власти.

Лишь один человек упрямо молчал среди оживленного разговора. Его потухшие глаза были полузакрыты, губы плотно сжаты, старое морщинистое лицо перекосила гримаса скорби. Это был писатель-мистик семидесятилетний Жак Казот.

Кто-то счел нужным осведомиться о причине молчания угрюмого старика.

Казот вздрогнул, провел дрожащей рукой по лицу, как бы смахивая пелену грусти, и заговорил тихим, усталым голосом. Он сказал, что не может разделять общего благодушия, ибо возможно ли предаваться шуткам и каламбурам на краю пропасти? Он смотрит в будущее и видит страшные потрясения, огненный смерч, который сожжет, испепелит все то, что ныне блистает в ореоле славы и богатства. Он видит опустевшие дворцы и горящие усадьбы, перед ним вереницей проносятся искаженные болью лица, знакомые лица...

Подвыпившие сибариты переглянулись. Сидевший рядом с Казотом маркиз Кондорсе поставил на стол недопитый бокал, обнял старика за плечи и, улыбаясь, спросил, кого имеет в виду новоявленный пророк. Казот пристально посмотрел на философа.

— Вас, милый маркиз, вас в первую очередь... Я вижу, что вы отравитесь, дабы избегнуть смерти от руки палача.

Кондорсе, продолжая улыбаться, подмигнул окружившим их гостям. Раздался дружный хохот.

А бледные узкие губы старого мистика продолжали шевелиться. Он предсказал астроному Байи, юристу Малербу и ряду других присутствующих смерть на эшафоте. По мере того как он говорил, любопытство разгоралось; смолкли разговоры за соседними столами, и все лица обратились в сторону Казота.

— Но господин прорицатель, надеюсь, пощадит хотя бы наш слабый пол! — смеясь, воскликнула герцогиня Граммон.

— Ваш пол?.. Вы, сударыня, как и множество других дам, будете отвезены в телеге на площадь казни со связанными руками...

Казот поднялся. Его глаза в упор смотрели на герцогиню;

его убеленная сединами голова, его физиономия патриарха придавали словам печальную важность. Гостям становилось не по себе.

— Вы увидите, — заметила герцогиня с принужденной веселостью, — он не позволит мне даже исповедаться перед казнью.

— Нет, сударыня. Последний осужденный, которому сделают это снисхождение, будет... — Казот запнулся на мгновенье, — это будет... король Франции.

Охваченные волнением, все гости встали из-за стола. Както сразу улетучилось легкое опьянение, исчезла веселость. Тщетны были попытки хозяина дома замять досадный инцидент; вечер был испорчен. Над обществом, еще несколько минут назад таким беззаботным, нависла роковая тяжесть молчания...

...Точно ли так произошло все в этот вечер 1788 года, как здесь рассказано? Поручиться за достоверность в деталях нельзя, ибо описан был этот случай одним из его очевидцев после великой революции, когда Байи, Малерб и герцогиня Граммон давно уже погибли под ножом гильотины, когда все знали, что маркиз Кондорсе отравился, спасаясь от карающего меча революционного закона, когда, наконец, не менее хорошо было известно, что Людовик XVI последним пользовался перед казнью услугами старорежимного священника. Разумеется, нет ничего удивительного, если свидетель «пророчества» Казота и вложил в уста этого мистика, также погибшего в бурные дни революции, некоторые чересчур уж точно сбывшиеся предсказания. Но, с другой стороны, не надо было обладать сверхъестественным даром пророчества, чтобы накануне революции предвидеть ее наступление, гибель короля и ряда деятелей, связанных со старым миром: все это казалось вполне очевидным для многих мыслителей, живших задолго до описанной сцены.

Фенелон, современник короля-солнца Людовика XIV, монарха, при котором блеск французского двора достиг наивысшей точки, а абсолютистский режим казался незыблемым, имел смелость характеризовать правительственный аппарат Франции как «старую, расстроенную машину, которая продолжает действовать в силу прежнего, давно полученного толчка и не замедлит разбиться вдребезги при первом же ударе». Это было написано на рубеже XVII и XVIII веков. Позднее фернейский патриарх Вольтер выражал ту же мысль гораздо более определенно, пря-

мо говоря о неизбежности революции, и сожалел лишь, что сам до нее не доживет.

Великий предтеча будущих социальных потрясений Жан Жак Руссо в 1760 году написал слова, глубоко поразившие юного Робеспьера, слова, оценить которые по достоинству оказалось возможным лишь много времени спустя: «Мы приближаемся к кризису и к эпохе революции. Я считаю невозможным, чтобы великие европейские монархии существовали еще долго: все они в свое время блистали, а всякое государство, достигшее блеска, находится в упадке. Мое мнение основано, в частности, и *на других соображениях*, менее общих, чем эта мысль, но высказывать их было бы неуместно, да и без того *всякий их видит слишком хорошо*...» Воистину знаменательные слова! Имеющий глаза да увидит! Вот где надо искать ключ к «пророчеству» Казота. Полуслепой мистик сумел разглядеть то, что было очевидно, но от чего нарочито отворачивали свои взоры его гордые братья по сословию...

Феодальная Европа умирала. Это не была тихая смерть угасания — это был бурный процесс, поражавший то один, то другой гангренозный член, отрывавший его от тела, пожиравший пламенем огня. Но огонь не только пожирал: он уничтожал старое, обреченное, гниющее и возрождал к жизни новое, молодое, прогрессивное.

Феодализм — пора блестящих рыцарей и готических соборов, эпоха галантной куртуазии и кастовых привилегий, феодализм, столетиями оплачивавший горделивую роскошь сеньоров кровавым потом крепостных, давно исчерпал свои глубинные ресурсы.

Уже с конца XV века над опустевшими ристалищами и полуразрушенными замками повеяло новым духом — духом предпринимательства и наживы. Средневековый цех теснила капиталистическая мануфактура. Новорожденный буржуа экономически бил одряхлевшего феодала.

Сила буржуазии заключалась в том, что она выступала в ногу с народом.

Если в прежние времена крепостные боролись со своими угнетателями один на один, то теперь положение изменилось: против ненавистного феодального строя бок о бок шли три враждебных ему класса — буржуазия, крестьянство и мануфактурный пролетариат.

Неудержимая волна революционных взрывов катилась по

Европе. Нидерландская и английская революции XVI—XVII веков пробили серьезную брешь в твердыне феодализма.

Но решающий удар оказался нанесенным во Франции, хотя именно во Франции старый порядок долгое время выглядел крепким, как нигде. Буржуазный переворот здесь начался значительно позднее, чем в Нидерландах или Англии. Именно потому, что он так долго вызревал, переворот этот должен был стать особенно мощным и радикальным.

Капиталистический уклад зародился во Франции еще в XVI веке. Ко второй половине XVIII века он окреп и достиг известной степени зрелости.

Быстрый рост промышленности вел к развитию городов, ощутимому приросту их населения. Вслед за образованием крупных мануфактур появились первые машины. И все же попрежнему резко преобладала домашняя промышленность с использованием труда крестьянина-кустаря. Сковывающая роль феодального режима проявлялась не только в преобладании старого цехового строя, но и в правительственной регламентации производства, в наличии непреодолимого барьера таможенных перегородок, связанных со спецификой разобщенности и пестроты административных делений тогдашней Франции.

Что касается деревни — а Франция продолжала оставаться страной аграрной, — то здесь обстояло еще хуже. Развитию капиталистического уклада в деревне мешала вековая отсталость сельского хозяйства. Эта отсталость покоилась на застойности феодальных отношений, на крайней дробности земельных участков, мешавшей введению технических усовершенствований в способы обработки земли, на задавленности нуждой и умственной темнотой основного производителя — крестьянина.

В таких условиях капитализм не мог развиваться дальше, не взорвав старой реакционной системы феодальных ограничений, тем более что противоречия в области производства непрерывно осложнялись острыми социальными конфликтами, вытекавшими из существа политического строя предреволюционной Франции.

Политической вершиной страны была абсолютная монархия с ее центром — королевским двором.

«Государство — это я», — утверждал король. Внешне монархия казалась неограниченной. Генеральные штаты — со-

словно-представительное учреждение Франции — не созывались ни разу с 1614 года. Парламенты — высшие судебные магистратуры, — чванливые и бессильные, иногда пытались играть в оппозицию с королем, но король каждый раз оказывался победителем. Он назначал и смещал министров, объявлял войну и заключал мир, был волен бросить в тюрьму любого жителя страны.

Однако неограниченный властитель, по существу, оставался марионеткой в руках господствующего класса. Своим колоссальным могуществом он пользовался для того, чтобы исполнять волю помещиков и епископов. Эта воля была направлена на угнетение и подавление. Она угнетала всех, кто не имел привилегий. Она подавляла все, что было новым, прогрессивным, что грозило устоям обреченного феодального строя. Она направляла карающую руку монархии. Страшные летр де каше — тайные приказы за королевской подписью — бросали сотни людей без суда и следствия в казематы тюрем. Под бдительным надзором королевских агентов находилось всякое свободное проявление человеческой мысли. Печатное слово стерегла цензура. Произведения, признанные крамольными, сжигались рукою палача.

Абсолютная монархия была очень дорогим учреждением. Чтобы внушать страх низам и уважение соседям, король должен был ослеплять. Вся жизнь монарха была окружена сложным церемониалом. Его двор, состоявший из верхушки духовенства и избранного дворянства, поражал сказочным великолепием. На содержание придворного штата в пятнадцать тысяч человек шло до сорока миллионов ливров в год — десятая часть всех государственных доходов. Примерно столько же отпускалось на пенсии, подарки и другие подношения тем же придворным. Только на кофе и шоколад к королевскому столу ежедневно тратилось больше, нежели парижский мануфактурный рабочий получал, трудясь непрерывно в течение года.

Великолепие стоило огромных денег.

С денег все и началось.

Первой ласточкой грядущих потрясений, первым проявлением краха феодально-абсолютистского строя, глубоко всколыхнувшим общество, оказался дефицит государственного бюджета, сначала лишь испугавший, а затем прочно зажавший в тиски монархию Людовика XVI.

Дефицит был явлением неизбежным. Его хорошо подготовили предшествующие десятилетия, в особенности последние го-

ды «многолюбимого» Людовика XV, короля, которому приписывали изречение: «После нас — хоть потоп!»

Новое царствование на первых порах кое-кому казалось началом новой эры. Это была иллюзия. Двор быстро разделался с дальновидными министрами вроде Тюрго или Неккера. Траты непомерно росли. Легкомысленная и властная Мария Антуанетта, которую народ наградил титулом «мадам Дефицит», вернула двору внешний блеск времен короля-солнца. Одно празднество сменяло другое, балы чередовались с пышно поставленными театральными представлениями, охота поражала размахом.

А денег в казне не было...

Государственный дефицит рос со дня на день. С миллионов счет переходил на миллиарды. И вот наступил момент, когда казна оказалась не в состоянии оплачивать процентов по займам, а без займов абсолютная монархия не могла более существовать.

Тогда решили вспомнить историю. В прежние времена, если монарх оказывался в столь затруднительном положении, вотировался чрезвычайный налог, помогавший срочно залатать прорехи; но подобный налог могло разрешить лишь одно из сословно-представительных учреждений: либо собрание нотаблей, либо Генеральные штаты. Собрание нотаблей гораздо более устраивало корону, ибо нотабли — лидеры привилегированных и немногочисленные представители третьего сословия — *вызывались королем поименно*, в то время как в Генеральные штаты делегаты трех сословий *избирались самим населением*.

И вот в 1787 году нотабли созваны. Учитывая, что сбором экстренного налога вопрос не разрешится, правительство волей-неволей оказывается вынужденным вспомнить планы Тюрго. Перед нотаблями осторожно ставят проект изменения налоговой системы. Пускай часть налогов уплачивают привилегированные сословия, ибо кому же помочь дворянской монархии, как не дворянству, в интересах которого она существует!

Но принцы, герцоги и епископы, привыкшие обирать казну, смотрят на это совсем иначе. Они возмущены. Нет, они не могут поступиться своей важнейшей привилегией, они не станут платить ни одного су, ибо уплата налога — дело податного, подлого населения, всех этих грязных торгашей и мужиков. Оскорбленные в кровных принципах, нотабли-привилегирован-

ные не хотят понимать своего короля, и последнему не остается ничего другого, как распустить их.

Этот на первый взгляд парадоксальный, а по существу, в данных условиях вполне закономерный конфликт между правительством и высшими сословиями был прологом великой драмы, являясь лишь одной из форм проявления общего безысходного кризиса всей феодально-крепостнической системы хозяйства предреволюционной Франции.

Действительно, финансовый крах 1788—1789 годов тесно переплетался с застоем в промышленности и торговле и со страшным неурожаем и голодом в деревне. Народ проклинал своих поработителей. Поднималась новая мощная волна крестьянских и плебейских движений.

Теперь даже двор понял, что без податного обложения дворянства и духовенства не обойтись. Это казалось единственным средством, позволившим оттянуть приближение революции.

Однако все усилия правительства не могли сломить сопротивления привилегированных. Парижский парламент категорически отказался зарегистрировать королевский эдикт о новых формах налогов, причем — случай беспримерный в истории — не помогло даже заседание с участием короля. Желая дать решительный отпор правительству, парламентарии торжественно объявили, что право утверждать новые налоги принадлежит исключительно Генеральным штатам.

Так высшие сословия в погоне за сохранением своих привилегий нанесли страшный удар своей собственной опоре — абсолютной монархии. Дорого им пришлось расплачиваться за эту ошибку!

Требование созыва Генеральных штатов вскоре сделалось лозунгом всей нации. И вот монархия под дамокловым мечом банкротства, слыша грозный ропот народа, ежеминутно готового начать всеобщее восстание, решила пойти на эту крайнюю меру. Одновременно король вновь пригласил на пост министра финансов популярного среди третьего сословия Неккера. Королевский эдикт объявил созыв Генеральных штатов сначала на 27 апреля, затем на 5 мая 1789 года.

Слухи о предстоящей сессии Генеральных штатов быстро распространялись по Франции. Они достигли Арраса еще летом 1788 года. Город был охвачен волнением. В учреждениях, в салонах, на улицах без конца обсуждали возвращение к власти Неккера и перспективы на будущее. Один лишь Максимилиан

Робеспьер не участвовал во всеобщей суете. Он заперся на несколько дней в своей комнате. Когда он вышел оттуда, его лицо было бледнее обычного. В руках он держал аккуратно перевязанную рукопись — свой ответ на текущие события. Это было воззвание к народу провинции Артуа о необходимости коренного преобразования провинциальных штатов. Полное гневных обличений и политических выпадов, новое сочинение Робеспьера резко отличалось от его прежних конкурсных работ и академических докладов.

«...Нашим штатам, — писал Робеспьер, — нет дела до нужды и нищеты задавленного поборами народа; у них не находится денег, чтобы дать народу хлеб и просвещение, но они необычайно щедры, когда требуется отпустить огромную сумму денег губернатору, которому понадобилось выдать замуж дочь... Наши деревни полны обездоленных, поливающих в отчаянии слезами ту самую землю, которую понапрасну возделывают в поте лица. Вследствие нищеты большая часть крестьян опустилась до такой степени, когда человек, всецело поглощенный заботами о поддержании своего жалкого существования, становится уже неспособным сознавать свои права и устранить причины своих несчастий...»

Выход, по мысли автора, заключается в коренной реформе штатов Артуа, в превращении их в истинное народное представительство. Только в этом случае штаты смогут противостоять злоупотреблениям администрации и действительно заботиться о жизни народа. Эта реформа должна произойти сейчас, немедленно, ибо «настал момент, когда искры священного огня дадут каждому жизнь, смелость и счастье!».

В прежнее время за выпуск подобной брошюры тюрьма в одинаковой мере угрожала бы и автору и издателю. Однако времена меняются, дух близкой революции уже витает повсюду, и две с половиной тысячи аналогичных брошюр выходят в разных концах Франции к зиме 1788 года.

Но вот прошла эта зима, и раннее весеннее солнце поднялось над Аррасом. 17 марта 1789 года старшины города торжественно объявили, что жители, принадлежавшие к третьему сословию, должны собраться в понедельник, 23 марта, в 7 часов утра в церкви аррасского коллежа для первичных выборов.

Максимилиан Робеспьер успешно прошел все инстанции: он был выдвинут сначала в качестве одного из двадцати четырех выборщиков от третьего сословия Арраса, затем участвовал

в объединенном собрании с уполномоченными от сельских сходов, где ему было поручено составить сводный наказ от избирательного округа, и, наконец, был избран общим собранием выборщиков третьего сословия всей провинции Артуа как депутат в Генеральные штаты.

Наказ, составленный Робеспьером, кратко формулировал программу, с которой депутат Арраса должен был выступить в Версале. Программа эта сводилась к следующему: возможность для всех граждан к занятию любой государственной должности, гарантии личной неприкосновенности, полная свобода печати, веротерпимость, пропорциональная разверстка налогов, устранение всех привилегий и злоупотреблений, ответственность агентов правительства, ограничение прав исполнительной власти.

Так, облеченный доверием своих земляков, готовый без страха и сомнений претворять в жизнь теоретически отработанные и продуманные принципы, снова собирался Максимилиан Робеспьер в путь, не без сожалений расставаясь с любимыми занятиями и родным городом. Но, разумеется, эти сожаления отступали перед надеждами и планами на будущее. Впереди маячило неизмеримо большее, чем оставалось позади: впереди была Революция.

Глава 4

На штурм твердынь!

Версаль. Сумерки. Неуютная, почти пустая комната на улице Этан, 16. За столом — Максимилиан Робеспьер. Перед ним — бумага и чернила. Он задумался и рассеянно водит пером по листу...

...Вчера... Сегодня... Завтра... Как быстро, неудержимо быстро летят дни! И каждый приносит свое, новое, подчас невероятное!

Сегодня, наконец, выдалось свободное время. Робеспьер может собраться с мыслями. Перед отъездом он дал слово своему другу Бюиссару подробно обо всем писать; кому же, как не ему, уведомлять родной Аррас о том, что происходит здесь, в сердце страны! Но обещать было легко, а вот выполнить — увы! — весьма трудно. Водоворот событий буквально закружил...

В памяти, впрочем, все свежо. События разворачиваются цепочкой, и восстановить их порядок здесь, на бумаге, коль есть досуг, право, ничего не стоит...

...Перо Максимилиана давно уже не вычерчивает узоров и вензелей. Столбиком ложатся даты, а каждая из них — это веха на двухмесячном пути борьбы...

...5 мая... Торжественное открытие Генеральных штатов. Сколь много ждали от этого дня и как были обмануты в своих ожиданиях! Ибо сразу же выяснилось, что монархия и депутаты податных говорят и будут говорить на разных языках. Если король, смотревший на Штаты как на ширму в своих финансовых планах, добивался лишь новых налогов, то депутаты третьего сословия думали о реформах. Они поняли: реформ этих придется ждать не от монаршей милости, а лишь от своей собственной решимости.

Но решимость имелась. Богатые буржуа, они чувствовали себя представителями нации. Поддержка народа делала их гораздо более настойчивыми и энергичными, нежели правительство и «благородные» могли предположить...

...14 мая... Дворянство и высшее духовенство продолжают чинить препятствия работе Штатов. Депутаты третьего сословия выступают с различными проектами преодоления обструкционистской политики верхов...

Максимилиан вспоминает. Один из этих проектов — и неплохой проект — предложил лично он. Это было его первое выступление с трибуны Штатов. Но его предложением пренебрегли, а на него самого не обратили внимания...

...17 июня... Депутаты податных находят выход. Они смелеют настолько, что провозглашают себя Национальным собранием и предлагают привилегированным объединиться с ними для совместной работы...

Максимилиан вздыхает. Не он ли первый предложил формулу «Национальное собрание»? Формулу приняли, а вот его не разглядели...

...20 июня... Монархия попыталась осадить чересчур смелых плебеев. Их лишили помещения. Дворец «Малых забав», где они обычно совещались, заперли и оцепили стражей. Ну и что же! Народ Версаля указал на другое помещение — пустой зал для игры в мяч. Именно здесь депутаты Национального собрания дали свою знаменитую клятву солидарности, клятву-присягу не расходиться до тех пор, пока не издадут законов, ограничивающих произвол абсолютизма...

Максимилиан горько улыбается. Не он ли был одним из авторов текста этой присяги? Текст использовали, а его опять не пожелали заметить. Да, он оставался неприметным среди всех этих мирабо, сиейсов, байи и барнавов, прославленных мудрецов и блестящих ораторов...

А борьба шла своим чередом.

В конце концов правительству не оставалось ничего другого, как уступить. Привилегированные волей-неволей присоединились к податным...

...9 июля... Национальное собрание объявило себя Учредительным, подчеркивая этим, что считает своей основной задачей учреждение нового строя и выработку конституции.

Крупная буржуазия и солидарная с нею часть дворянства были удовлетворены. Они считали, что революция подходит к концу. Но так ли это? А может быть, революция еще и не начиналась? Может быть, все происшедшее в мае — июне только ее прелюдия?..

Максимилиан пишет. Он пишет долго, потом думает. И пишет опять.

Утром 12 июля Париж имел обычный вид. В предместьях, несмотря на воскресный день, кипела работа. Центральные улицы были полны нарядной публики. Щеголи лорнировали дам, разносчики фруктов, каштанов, устриц громко расхваливали свои товары. Около десяти часов кое-кто обратил внимание на отряды войск — пехоты и конницы, заполнявших подступы к площадям. Показались артиллерийские обозы. К чему бы это?..

И вдруг шепотом стала передаваться страшная весть. Ей еще не верили, еще сомневались, но воскресное настроение разом упало. Послышались гудки. Бросив работу, люди бежали к центру. В пестрой толпе перемешивались фартуки мастеровых, черные костюмы конторских служащих и клетчатые фраки буржуа. Потоки людей двигались в одном направлении: к парку Пале-Рояля.

Парк гудел. Стечение народа было так велико, что казалось, яблоку упасть негде. Наиболее предприимчивые забирались на деревья, чтобы лучше видеть и слышать. Что именно? Этого никто точно не знал.

Но вот в двенадцатом часу словно гром прокатился над толпой. Прибыл вестник из Версаля. Он вспотел и еле идет, его поддерживают под руки. Все расступаются. Да! Сомнений не остается! Измена! Дело народа предано и находится под угрозой!

Накануне днем Неккер получил отставку. Вместо него к власти призван ярый реакционер барон де Бретей, который похвалялся сжечь Париж. Двор готовится распустить Нацио-

нальное собрание. Столица окружена наемными войсками барона Безанваля.

...В разных концах парка появляются ораторы, которые разъясняют политический смысл отставки Неккера. Один из них, совсем еще молодой, с длинными волосами, особенно негодует. Он неудержим и порывист. В одной руке у него пистолет, в другой — шпага. Вокруг огромная толпа. Взобравшись на скамейку, он кричит срывающимся голосом:

— Граждане! Правительство готовит вам новую Варфоломеевскую ночь! Лучшие патриоты будут перерезаны! Вы не можете медлить ни секунды! К оружию!

Оратора мало кто знает. Кто-то произносит его имя: Камилл Демулен. Но разве в имени дело? Сейчас все решают смелость и инициатива! Вот он срывает с дерева лист и прикрепляет его к своей шляпе: это кокарда революции! Окружающие следуют его примеру. Затем, размахивая шпагой, во главе своего импровизированного войска он устремляется к Вандомской площади.

В этот день пролилась первая кровь. Залпы гремели на Вандомской площади и площади Людовика XV. Кавалерийский отряд князя Ламбеска пытался смять манифестантов. Но все это лишь удвоило народную ярость. Первый ружейный залп был сигналом к восстанию. Под градом камней кавалерия отступила.

«К оружию!» — этот клич раздавался повсюду. Народ вооружался чем мог. Захватывали ножи и ружья в магазинах, старинные пики и каски в музеях, селитру и порох везде, где находили. Столица ощетинилась баррикадами. Заставы пылали. Призывно гудел набат.

К вечеру положение определилось. Барон Безанваль решил оставить Париж. Его войска прекращали сопротивление. Солдаты французской гвардии братались с народом. Победа парижан становилась очевидной.

Теперь забеспокоилась крупная буржуазия. Народ взял верх над войсками! А что будет дальше? Успехи народа хороши лишь тогда, когда удается воспользоваться ими. Нельзя давать воли стихии восстания, иначе она может поглотить все!

На рассвете 13 июля обеспокоенные выборщики Парижа поспешили занять ратушу и учредить свой орган муниципальной власти — Постоянный комитет. К участию в работе Ко-

митета пригласили деятелей старой администрации, в том числе купеческого старшину Флесселя, хитрого и коварного человека, всей душой преданного монархии.

Постоянный комитет ставил задачей обуздать народное восстание и постепенно свести его на нет. В этих целях была организована буржуазная милиция, которая совместно с отрядами французской гвардии должна была стать опорой и защитой крупных собственников столицы.

Но остановить поднявшийся народ было не так-то просто. Повстанцы, хотя и доверяли Постоянному комитету, не собирались следовать всем его распоряжениям.

К утру 14 июля Париж был в руках народа. Только мрачная громада Бастилии нависала над Сент-Антуанским предместьем, напоминая, что победа еще не завершена.

Кто первым указал на Бастилию? Кому прежде всего пришла мысль о необходимости ее штурма? Молва называла горячего Камилла Демулена. Однако к необходимости овладения Бастилией вела сама логика событий.

Страшная крепость-тюрьма олицетворяла деспотизм и произвол абсолютной монархии. Это был грозный символ, постоянная память о вековых цепях рабства.

При этом Бастилия представляла прямую угрозу трудящемуся люду Парижа. В ночь на 13 июля наемные солдаты-швейцарцы перенесли в крепость большое количество пороха. Комендант Бастилии, ярый сторонник абсолютизма, приказал увеличить количество амбразур и направить дула орудий в сторону Сент-Антуанского предместья.

Эти приготовления не могли долго оставаться в тайне. Народ разгадал планы коменданта Делоне. И тут же стихийно созрело решение: взять Бастилию.

...Дым окутал со всех сторон зловещие башни. Горят поваленные телеги и бревна. Грохот пушек разрывает накаленный воздух. Люди падают, но поток не редеет: могучий, непобедимый, он все теснее охватывает крепость. Уже разбиты ворота и взят первый двор, уже с лязгом рвутся цепи и подъемный мост падает, открывая проход через ров. Защитники Бастилии видят, что конец близок. Где белый флаг?..

Делоне в тоске мечется по внутреннему двору. Его швейцарцы не стреляют больше, его офицеры советуют сдаться.

Что же делать? Он бросается к пороховому складу. Взорвать Бастилию!.. Его в ужасе останавливают. Артиллерийские залпы дробят цепи второго моста. Осаждающие врываются в крепость. Бастилия пала! Распахивают двери казематов, освобождают узников. Слезы, объятия, крики радости...

...Толпа увлекает Делоне на Гревскую площадь. Там он находит смерть. В этот же день погибает и Флессель, изобличенный народом.

Пока еще Версаль ничего не знает о том, что произошло в Париже. Дворец «Малых забав», где заседает Национальное собрание, тих и угрюм. Встревоженные депутаты не спят три ночи подряд, пишут послания королю и ждут своей участи.

А двор, предвкушая радость близкого торжества, поет и пирует. Солдат щедро оделяют вином и деньгами. В конюшнях королевы прячут артиллерию. Даже унылый толстяк смотрит заносчиво и не желает слушать посланий Ассамблеи. Он король! Ему не о чем толковать с этим мужичьем! Скоро все они почувствуют его тяжелую руку!..

И вдруг как снег на голову падают неожиданные известия: солдаты изгнаны из Парижа, гвардия перешла на сторону народа, заставы горят, Бастилия пала...

Людовик остолбенело смотрит на придворных.

— Позвольте, господа, но ведь это же бунт!

Герцог Лианкур с холодной усмешкой поправляет его:

— Нет, ваше величество, вы ошиблись, это не бунт. Это уже р е в о л ю ц и я...

Герцог доволен, что бросил крылатое слово. Он и не подозревает, насколько его мысль близка к истине. Действительно, в этот день, 14 июля 1789 года, произошел первый акт Великой французской революции: абсолютная монархия получила смертельную рану.

Молодой депутат Максимилиан Робеспьер с интересом вглядывался в происходившее.

Странное, непостижимое дело! Шестьсот избранников третьего сословия смело повышают голос, преодолевают все препоны и добиваются того, что их признают Национальным собранием. Они говорят и действуют от имени всего народа — в этом их сила. Король и двор явно обманывают их и готовятся нанести им удар в спину. Уже клинок занесен, и деспотизм предвку-

шает победу, но вдруг... О, чудо! Народ, простой народ, безвестные плебеи Парижа спасают положение. Они отводят смертельный удар и разрушают козни двора. Национальное собрание спасено! Но почему же никто не радуется? Почему на всех лицах такие кислые мины? Почему они так робко жмутся к поверженному монарху, который чуть было не поразил их насмерть?

Они боятся! Да, они боятся своих спасителей гораздо больше, чем монарха. Они готовы простить королю все его коварство. Как бурно они рукоплещут, когда он, дрожащий и бледный, приходит в Собрание! Оказывается, король им нужен, совершенно необходим как опора против масс, против того народа, именем которого они здесь собрались и от лица которого провозглашают свои решения.

Робеспьер пожимает плечами. Ну что ж, господа, мне с вами не по пути. Пока что я почти одинок — вы не замечаете меня, потом вы будете меня травить и третировать — это все я знаю наперед. Но я пойду смело своей дорогой, той, которую завещал мне учитель. Я не боюсь вас! Правда на моей стороне, и она не может не победить! Порукой тому блестящая победа Парижа!..

Увидев, что затея не удалась, струхнувший двор круто изменил политику. В Собрании король со слезою в голосе уверял депутатов, что все происшедшее — плод недоразумения. Он, Людовик, — все знают благородство его характера — никогда не отделял себя от народа и всегда полагался на избранников нации. Иностранные войска?.. Он уже подписал приказ об их удалении! Министры, неугодные народу? Он даст им отставку и вновь возвратит Неккера!..

Но когда под восторженные крики депутатов Людовик покинул зал заседаний, его встретила с глухим ропотом толпа простого люда. Женщина в грубой одежде, отстранив графа д'Артуа, приблизилась к королю и смело крикнула ему прямо в лицо:

— О мой король, вполне ли вы искренни? Не заставят ли вас опять переменить ваши намерения, как было несколько дней назад?

А какой-то бедняк, протягивая заскорузлую руку к одному из окон дворца, громко сказал:

— Вот где помещается этот трон, следы которого скоро будет трудно отыскать!..

Робеспьера уведомили, что на его долю выпала большая честь: в числе двухсот сорока депутатов Собрания ему предстоит сопровождать короля в Париж, куда монарх должен отправиться по призыву своего народа. Максимилиан был очень доволен. Поездка обещала интересные наблюдения.

В путь отправились рано утром 17 июля. Король с пасмурной физиономией проследовал между рядами депутатов и занял место в своей карете. Процессия двинулась шагом. Максимилиан заметил, что к конвою, состоявшему из версальской и парижской милиции, присоединилось много крестьян, вооруженных дубинами, вилами, косами.

...Только в три часа дня показались стены Парижа. Въехали через заставу Пасси. Два ряда вооруженных людей — победителей Бастилии — двумя неподвижными стенами расположились вдоль линии от заставы до Гревской площади.

Сколько народу кругом! Мало того, что заполнены все соседние улицы и переулки, — теснятся на крышах, на деревьях, на заборах. Максимилиан прислушивается к крикам. Нет, слов «Да здравствует король!» не слышно. Вместо этого можно разобрать: «Да здравствует народ!», «Да здравствует свобода!» Робеспьер насмешливо смотрит на короля.

И вдруг начинает напряженно вспоминать. Ведь когда-то уже это было! И хмурое небо, и толпа, и карета, и король на подушках... Ба, это было четырнадцать лет назад! Он, бедный стипендиат коллежа, тоже удостоенный «высокой чести», стоял в грязи на коленях и приветствовал вот этого самого толстяка!.. Но как все изменилось с тех пор! И карета другая, и люди не те, и воздух, жадно вдыхаемый грудью, совсем, совсем иной!..

Король чувствует на себе чей-то пристальный взгляд, поднимает голову. Где видел он эти светлые внимательные глаза, холодные и пронизывающие, как стальные клинки? Когда? При каких обстоятельствах? Людовик пытается и не может вспомнить. В голову лезет всякая дрянь... Ружья, пики, кокарды... А ну его к черту! Лучше совсем не думать об этом. Король закрывает глаза и погружается в дремоту.

Вновь избранный мэр, бывший председатель Собрания астроном Жан Байи подносит королю ключи от Парижа. Нетвердым шагом король поднимается по ступенькам и входит в большой зал ратуши. Члены Постоянного комитета аплодируют ему. Он садится на заранее приготовленный трон и слушает. Ему приходится молчаливо санкционировать указы о разрушении Бастилии, о сформировании гражданской милиции,

о новых назначениях. Два раза пытается он заговорить, но раздается лишь какой-то клекот: слова застревают в горле. Байи предлагает ему трехцветную кокарду. Людовик берет ее так, будто прикасается к гремучей гадине. Но что делать! Он прикалывает кокарду к шляпе, подходит к окну и машет несметной толпе, собравшейся на Гревской площади. Раздается восторженный рев. Но народ приветствует не бледное олицетворение королевской власти, а всего лишь революционные цвета на его шляпе.

Робеспьер вместе с несколькими коллегами быстро шел к площади Бастилии. Депутатов эскортировал отряд гражданской милиции. Вот она, каменная громада, мрачный склеп, поглотивший столько светлых умов! Вот она, вековая твердыня абсолютизма! Отряды каменщиков уже орудуют у ее стен. Но она еще жива! Господа депутаты хотят осмотреть ее? Пожалуйста! Их с удовольствием проводят и покажут все, что может их заинтересовать.

Пройдены комендатура, оба подъемных моста, и любопытные зрители попадают в страшный каменный мешок внутреннего двора. Глубокая тишина. Только башенные часы с изображением двух узников в цепях мерно отсчитывают минуты.

Робеспьер заходит в камеры с металлическими клетками, спускается в подвальные помещения — чудовищные убежища крыс и пауков. Ему показывают темницу, в которой претерпел нечеловеческие мучения Мазер де Латюд, безвинно просидевший тридцать пять лет в заключении; его вводят в каземат, похоронивший тайну человека с железной маской.

Не довольно ли? Скорее на воздух, на свет!..

Когда Максимилиан оказывается вне стен крепости, ему представляется, что он вновь родился. Он расправляет плечи, как бы сбрасывая с себя стопудовую тяжесть. Солнце попрежнему за облаками, и все же после мрака тюрьмы дневной свет кажется ослепительным. Он оглядывается назад. Каменщики трудятся не за страх, а за совесть. Их молотки мелькают в воздухе. Скоро этих стен больше не будет. Только воспоминание — и тяжелое и радостное одновременно — сохранится на всю жизнь.

Обратный путь в Версаль был нескончаемым. Все клевали носами. Король совершенно размяк. Только когда добрались до Севра и он увидел своих лейб-гвардейцев, лицо его просветлело.

Мария Антуанетта с беспокойством ожидала Людовика. Ей мерещились страшные картины: он убит, его окровавленный труп волокут по улицам.

Услышав о возвращении супруга, королева бросилась ему навстречу. Однако при виде трехцветной кокарды она в ужасе отпрянула.

— Уйдите от меня! — гневно воскликнула королева. — Я не думала, что стану женой мещанина!

А Робеспьер, закрывшись в своей унылой комнате, сразу берется за перо. Он описывает своему другу Бюиссару все события прошедших дней. Неповторимые часы! Можно ли забыть их? Можно ли остаться к ним равнодушным?..

Уходит час за часом, а он все пишет, пишет, ясным, отточенным слогом, вновь переживая все эти замечательные деяния недавнего прошлого. Он чувствует себя счастливым, что был современником и очевидцем этих событий. А главное, он бесконечно горд за свой великий народ, народ, которому и в который он всегда бесконечно верил. Для кого он пишет? Только ли для Бюиссара? Во всяком случае, его будет читать потомство. Эти письма Робеспьера явятся для историка одним из ценнейших свидетельств о первых днях великой буржуазной революции.

Глава 5

Первые радости

Радость Робеспьера оказалась преждевременной. Революцию начали простые люди, все эти рабочие, мастеровые, поденщики, которых так презирали не только придворные, но и почтенные мужи Собрания. Народ Парижа заставил ошеломленный двор признать первые результаты своих побед, а Учредительное собрание закрыло глаза на первые акты народного правосудия. Но логика событий была такова, что власть и организация сосредоточились не у победоносного народа, а в руках ненавидевшей его крупной буржуазии. Опираясь на народ, она припугнула монархию, с тем чтобы потом, опираясь на монархию, подчинить народ. В часы, когда беднота сражалась на улицах, парижская буржуазия спешила создать новые органы управления. Постоянный комитет уступил место буржуазной Парижской коммуне, захватившей главенство в столице, а гражданская милиция стала ядром национальной гвардии — воору-

женных сил буржуазии. Столпами новой власти оказались мэр Байи и либеральный аристократ маркиз Лафайет, назначенный начальником национальной гвардии.

В течение июля — августа 1789 года революция распространялась по стране. Народные восстания в городах завершались низложением старых властей и заменой их новыми, выборными органами. Эти органы — муниципалитеты, — так же как и в Париже, попали в руки буржуазии, которая зорко следила за тем, чтобы остановить движение народа в нужный для себя момент. Почти повсюду по примеру столицы создавались отряды национальной гвардии, противостоявшие не только абсолютизму, но и городской бедноте.

Летом 1789 года Франция запылала пожарами крестьянских восстаний. Крестьяне громили замки и усадьбы, прекращали выполнение феодальных повинностей и уплату налогов помещикам. В ряде случаев они арестовывали господ, иногда расправлялись с ними своим судом. Размах этих восстаний вызвал «великий страх» не только в сердцах светских и церковных сеньоров, он напугал и буржуазию, дрожавшую за свою собственность. Отряды национальной гвардии были направлены в деревню. В стенах Собрания стали все чаще раздаваться голоса, требовавшие «обуздания мятежников» и «прекращения смут». Представители дворянства и крупной буржуазии спешили издать законы, осуждающие действия народа.

20 июля на трибуну Собрания поднялся лидер либерального дворянства Лалли-Толлендаль.

— Что может быть опаснее народных волнений? — спрашивал оратор. — Главная задача настоящего момента — искоренить мятежный дух. Депутаты нации должны составлять одно целое с королем, отцом своего народа и истинным основателем свободы... Всякий гражданин обязан трепетать при слове «смута». Тот же, кто выскажет недоверие к Собранию или королю, должен считаться дурным гражданином и передаваться в руки правосудия...

Лалли предложил проект декрета, который устанавливал тяжкие кары по отношению к «смутьянам».

Тогда вдруг вскочил малоизвестный аррасский депутат Максимилиан Робеспьер. Его лицо, обычно бледное, пылало. Громким и повелительным голосом он воскликнул:

— Что же случилось, что дает право господину Лалли бить в набат? Говорят о мятеже. Но этот мятеж, господа, — свобода. Не обманывайте себя: борьба еще не кончена. Завтра, быть

может, возобновятся гибельные попытки. И кто отразит их, если мы заранее объявим бунтовщиками тех, кто вооружился для нашего спасения?..

Робеспьер говорил с необычной резкостью. Собрание замерло. Подавляющая часть депутатов на этот раз поняла справедливость аррасского депутата. Проект был отклонен.

После этого многие обратили внимание на нового защитника свободы. Робеспьер?.. Кто он?.. Почему так горячо ходатайствует о нуждах голытьбы?..

Это была его первая удача в Учредительном собрании.

В августе — сентябре Робеспьер все чаще появляется на трибуне, и теперь его уже нельзя не заметить. Пренебрегая злобными выкриками и свистками, он борется за свободу мнений, неоднократно выступает по отдельным статьям Декларации прав [1] и дает бой по вопросу о вето.

Прения вокруг права вето были особенно бурными.

Большинство Ассамблеи считало, что революция выполнила свои задачи и теперь главное — умело ее прекратить. Это значило прежде всего устранить трудящиеся массы от участия в политической жизни страны. Чтобы добиться этого, нужна сила. Такой силой богатые собственники хотели сделать королевскую власть. Они полагали, что напуганная монархия поостережется конфликтовать с буржуазией и поможет ей осуществить программу подавления. Но чтобы королевская власть была достаточно сильной, ей необходимо предоставить достаточно широкие полномочия и в первую очередь право вето — право отклонить или приостановить на длительный срок любую законодательную инициативу, которая могла бы стать опасной с точки зрения незыблемости нового строя.

Правые утверждали, что вето должно быть абсолютным. Глашатаем правых на этот раз оказался граф Мирабо, самый блестящий оратор Собрания, в прошлом не раз заставлявший трепетать монархию. С обычным жаром, в пространной, тщательно замаскированной революционными фразами речи Мирабо доказывал необходимость и благодетельность абсолютного королевского вето, утверждая, что оно является прогрессивной

---

[1] Декларация прав человека и гражданина, принятая Учредительным собранием 28 августа 1789 года, — один из самых ярких документов, рожденных июльскими событиями. Декларация провозглашала свободу слова и совести, безопасность народа и сопротивление угнетению; ее знаменитый лозунг — «Свобода, равенство, братство» — эхом прокатился по Европе.

мерой и что без него свобода неминуемо погибнет: ничем не сдерживаемая Ассамблея может-де стать на путь тирании...

Робеспьер, которому не удалось выступить против прославленного оратора в Собрании, выступил в печати. Энергично возражая сторонникам абсолютного вето, он заявил, что, полагая, будто один человек может противиться закону, являющемуся выражением общей воли, приходишь к выводу, что воля одного выше воли всех. Тогда выходит, что народ — ничто, а один человек — все. Вручая право останавливать законы носителю исполнительной власти, предоставляют возможность связывать волю нации тому, кто обязан ее выполнять. Боятся злоупотреблений со стороны законодательной власти; но что значит собрание законодателей, избранных на ограниченный срок и подотчетных народу, по сравнению с наследственным монархом, в руках которого сосредоточена огромная власть, который распоряжается и финансами и всеми средствами принуждения? В заключение Робеспьер подчеркнул, что не видит существенной разницы между абсолютным вето и вето приостанавливающим, а потому равно отвергает и одно и другое.

Конечно, буржуазная Ассамблея не признала аргументов Робеспьера. Победило компромиссное предложение вожака левых, гренобльского депутата Антуана Барнава, согласно которому королю предоставлялось право приостанавливающего вето при условии, что он немедленно санкционирует предшествующие решения Ассамблеи.

И все же подобными выступлениями защитник народных прав не мог не приковать к себе внимания собратьев-депутатов. Это внимание было далеко не благожелательным. Против радикально настроенного оратора началась кампания травли. Первыми дали сигнал депутаты-дворяне провинции Артуа во главе с де Бомецом, родственником Бюиссара. Издевались над костюмом Робеспьера, над его внешностью, над его манерой говорить, над самим характером речей. Его называли «аррасской свечой» и «выкормышем Руссо»; его имя коверкали, а текст речей умышленно искажали. Все это не могло смутить оратора, преданного своим идеалам, и каждый раз, невзирая на свистки и брань, он спокойно поднимался на трибуну, чтобы не менее спокойно высказать то, что думал. Травля усиливалась — он отвечал еще большим спокойствием. И вот Мирабо, которому Робеспьер внушал антипатию и который часто задавал тон в издевательствах над ним, высказал свои пророческие слова: «Он далеко пойдет, потому что верит всему, что говорит». Трудно было получить большую похвалу от проницательного врага!

Как-то, пересекая улицу святой Елизаветы, Робеспьер столкнулся с человеком, внешний облик которого показался ему удивительно знакомым. Прохожий спешил и не видел Максимилиана. У него были длинные волосы и открытое простодушное лицо. Неужели Камилл?.. Нет, вряд ли... Чем может заниматься Камилл здесь, в Версале? И Робеспьер, делая скидку на свое плохое зрение, решил, что ошибся. Больше об этой встрече он не вспоминал.

Однако зрение не обмануло его. Действительно, Камилл Демулен, воспитанник коллежа Луи-ле-Гран, пылкий народный трибун и один из инициаторов похода на Бастилию, со второй половины сентября находился в Версале.

События мая — июня 1789 года взбудоражили Камилла. Без копейки денег, но полный энергии и юношеского задора, он с головой окунулся в революцию. Две хлесткие брошюры, принадлежавшие его перу, привлекли внимание некоторых лидеров Ассамблеи. Мирабо, часто бывавший в Париже, в середине сентября встретился с Камиллом и беседовал с ним. Мирабо любил молодежь. Человек продажный и развращенный, он ценил непосредственность и искренность чувства. Камилл понравился ему, и он увез его в Версаль.

И тут началась для Камилла жизнь невообразимая.

Юношу поразило жилище графа, показавшееся ему чудом роскоши и великолепия, поразили тонкие вина и необычные яства, в изобилии подававшиеся к столу.

А какое общество здесь собиралось! Какие беседы велись! Камилл не мог не изумляться, слыша, как в интимном кругу Мирабо с циничной ухмылкой издевается над теми высокими идеями, которые этим же утром защищал в Собрании.

Затем появлялись женщины. Красивые, раздушенные, похожие на герцогинь и доступные, как вакханки...

После дикой ночной оргии Камилл, обложенный подушками и компрессами, сваливался на весь следующий день. Мирабо же с хохотом выпивал рюмку мараскина и шел в Собрание произносить очередную громоподобную речь.

В то время Камилл Демулен молился на Мирабо. Он и не пытался вникнуть в его политическое кредо. Он не знал, откуда разорившийся граф берет средства для своих непомерных трат. Впрочем, этого еще никто не знал. Лишь два человека относились с недоверием к блестящему оратору: Максимилиан Робеспьер и Жан Поль Марат.

Между тем дворец «Малых забав» должен был опустеть. Приближался конец версальского периода Учредительного собрания. Первые эмигранты, в том числе граф д'Артуа и ненавистные Полиньяки, уже покинули Францию. В течение июля — августа двор постепенно оправлялся от шока, полученного в день взятия Бастилии, В сентябре учредители расшаркались перед Людовиком, преподнеся ему право надолго отсрочить любой законодательный акт Собрания. Это подбодрило нерешительного монарха, которого торопила Мария Антуанетта — «единственный мужчина» в королевской семье, по острому выражению Мирабо, — торопила и вся придворная камарилья. Двор, видя покладистость депутатов и зная о серьезных разногласиях, существовавших между ними, решил, что настало время действовать.

14 сентября король, не доверявший более версальским воинским частям, вызвал фландрский полк, стоявший в Дуэ. 1 октября в оперном зале дворца был дан торжественный банкет в честь офицеров полка. Их обласкали и напоили. Королева пленяла их красотой, придворные — дружеским обращением. В разгар торжества появился король, держа на руках маленького наследника престола. В порыве верноподданнических чувств пьяные офицеры топтали революционные кокарды и давали страшные клятвы.

Обо всем этом, конечно, вскоре стало известно в Париже. Обеспокоенный судьбой революции, голодный и измученный народ хорошо помнил июльские дни. Теперь победители Бастилии вновь должны были взять инициативу в свои руки. Жан Поль Марат, бесстрашный вождь парижской демократии, призывал народ к вооруженному походу с целью срыва контрреволюционных приготовлений двора. 5 октября несметные толпы парижан — одних женщин насчитывалось более шести тысяч, — захватив пушки, двинулись по размытым дорогам в грандиозный поход на резиденцию короля. Начальник национальной гвардии маркиз Лафайет не на шутку струхнул. Он долго колебался, нужно ли ему защищать народ от короля или короля от народа, пока крики «На фонарь!» не заставили его вместе с отрядом национальной гвардии примкнуть к движению. Он оказался в хвосте событий и прибыл в Версаль значительно позже, чем основные массы демонстрантов. В пятом часу дня промокшие от дождя и грязи голодные парижане окружили резиденцию монарха. На следующее утро произошло столкновение с королевской стражей. Народ ворвался во дворец. Перепуганный король дважды выходил на балкон в сопровождении Лафайета. Он поспешил подписать Декларацию прав

и августовское аграрное законодательство, в чем до сих пор отказывал Собранию, и в тот же вечер, окруженный многотысячной толпой, переехал в Париж.

Вслед за двором покинуло Версаль и Учредительное собрание.

Холодный осенний ветер рвал ветхую обшивку кареты. Максимилиан зябко кутался в плед. Снова Париж! Прощай, Версаль, прощайте, «Малые забавы»... Что-то ждет впереди?

Полузакрыв глаза, он мысленно проходил свой путь от мая до октября. Его не сломили первые неудачи — он был готов к ним. Его не отшатнула злоба — он ждал ее. Он уже испытал и едкую горечь поражения и первую радость победы. Он уже угадывал, что судьями и его дел, и его речей, и его самого будут не король, не министры, не товарищи по Собранию, а единственно народ, тот самый народ, во имя которого он решил биться без страха и упрека и которому готов был отдать весь свой талант, все свое честолюбие, всю свою жизнь — до последнего вздоха.

Глава 6

Снова Париж

Столица встречала Максимилиана неласково. Ветер срывал шляпу, дождь промочил до нитки, кругом двигались угрюмые, занятые своими делами люди.

Он чувствовал себя одиноким, потерянным. Он плохо знал Париж. Здесь у него никого не было. Когда-то, очень давно, в первые годы коллежа, Максимилиан посещал, правда, один дом, где его принимали с охотой и любовью. Это был дом Лароша, настоятеля Собора Парижской богоматери, дальнего родственника семьи Робеспьера. Ларош относился к Максимилиану с сердечностью, и юноша в те годы смотрел на него как на отца. Но добрый Ларош давно в могиле, жилище его занято чужими людьми. Былого не воскресишь. Надо срочно искать пристанище.

Первые заседания после переезда Ассамблея проводила в архиепископском дворце; потом законодатели осели в большом Тюильрийском манеже, близ резиденции короля.

О постоянном жилище в районе Тюильри Максимилиан и не

помышлял: квартира в центре стоила дорого, и найти ее было трудно. Робеспьер поселился вдали от места своей работы, в квартале Марэ, на улице Сентонж, в доме № 30. Здесь он снял пополам с одним молодым человеком маленькую и плохонькую квартирку. Соседа звали Пьер Вилье. Он готовился к военной службе и, редко бывая дома, ничем не стеснял Максимилиана. Напротив, депутат иногда прибегал к его помощи, поручая ему переписку своих речей и разную мелкую работу.

Жизнь в столице была дорогой и хлопотливой. Максимилиан, никогда не имевший лишних денег, в первые месяцы пребывания в Париже сильно бедствовал и опять, как некогда в годы учения, отказывал себе в выходном костюме. Половину депутатского оклада он посылал сестре в Аррас; не дешево обходились ресторанные завтраки и обеды; остаток средств поглощали корреспонденция, покупка газет и оплата услуг Вилье.

Впрочем, отсутствие денег не смущало Максимилиана. Гораздо больше его беспокоило отсутствие времени. Учредительное собрание отнимало у него почти весь день, демократические клубы — вечер до одиннадцати-двенадцати часов, так что, уходя из дому ранним утром, он возвращался поздней ночью. А ведь нужно было еще просматривать газеты, писать письма, подготавливать статьи для прессы, встречаться с людьми, нужно было, наконец, — и это требовало особенно много времени — составлять тексты выступлений для следующего дня. И вот в противовес многим своим коллегам вроде Талейрана или Ле-Шапелье, которые, притомившись за день, коротали вечера и ночи в казино или публичных домах, пропуская затем очередные заседания, Робеспьер часто проводит ночи за письменным столом, с тем чтобы ранним утром снова быть во всеоружии идей и аргументов. Не удивительно, что вскоре его лицо еще более побледнеет, глаза ввалятся и засверкают лихорадочным блеском, а подушка узнает первые следы крови: страшное напряжение должно было оставить следы, которых не могли снять ежедневные принудительные прогулки от улицы Сентонж до Тюильрийского дворца и обратно. Эти прогулки он, впрочем, ценил не только потому, что во время их мог дышать воздухом и отвлекаться от постоянных мыслей. Они знакомили со столицей, с жизнью и настроениями тех людей, во имя интересов которых Максимилиан вел свои баталии в Учредительном собрании.

Как ни плохо знал Робеспьер Париж, от взгляда его не могли укрыться перемены, которые произошли здесь за последние восемь лет.

Этот огромный город с полумиллионным населением рос точно на дрожжах. Правда, центр с его дворцами, соборами и парками почти не менялся. Зато окраины и предместья ежегодно обрастали десятками новых зданий. Появилась особая категория буржуа-домовладельцев, которые воздвигали дома для того, чтобы сдавать их внаем. Максимилиан постоянно обращал внимание на многолюдность улиц и площадей, где царила нескончаемая пестрая сутолока, почти одинаковая и утром и вечером.

Париж недаром стоял в авангарде городов страны. Изделия его мануфактур славились далеко за пределами Франции. Обслуживая двор, крупных финансистов, богатых дворян и высшее духовенство, столичная промышленность изготовляла всевозможные предметы роскоши. Большой известностью пользовались королевские мануфактуры гобеленов и ковровых тканей, а также предприятия, производившие изысканную мебель. Однако крупные капиталистические мануфактуры с ручным или машинным трудом были исключениями. Подавляющее число предприятий Парижа представляли мелкие мастерские, насчитывающие всего лишь по нескольку человек рабочих.

Естественно, что парижский пролетариат был невелик, составляя немногим более четверти занятого в производстве населения. К нему примыкали строительные рабочие — пришлый деревенский люд, скоплявшийся в Париже с весны и снова уходивший с наступлением холодов. По-прежнему запевалами в хоре трудового населения столицы были ремесленники, связанные с остатками средневековых цехов, продолжавших сохранять господство в некоторых отраслях производства.

Максимилиан знал об исключительно тяжелом положении парижского пролетариата. Вынужденный работать по четырнадцать-шестнадцать часов в сутки, мануфактурный рабочий получал не более двадцати-тридцати су в день, едва зарабатывая на хлеб. Не мудрено, что рабочие часто возмущались, организовывали стачки и поднимали восстания.

Специфической чертой Парижа было наличие значительной прослойки мелкой буржуазии. В ее состав входили владельцы карликовых предприятий, лавочники, рыночные торговцы, собственники харчевен и постоялых дворов. Эти мелкие собственники имели в Париже гораздо больший удельный вес, нежели крупная торгово-промышленная буржуазия. Им предстояло вы-

ступать в одних рядах с пролетариатом во многих классовых битвах революционного Парижа.

Интересы и чаяния мелкой буржуазии были особенно близки и понятны Максимилиану Робеспьеру, верному ученику и последователю великого народника Жан Жака Руссо.

Главными объектами внимания Максимилиана, если не считать его работы в Учредительном собрании, постоянно оставались пресса и клубы.

Пресса была рождена революцией. В течение лета 1789 года появилось огромное количество газет, журналов и листков, выходивших ежедневно, еженедельно и ежемесячно, продававшихся и высылавшихся по подписке, раздававшихся бесплатно и расклеивавшихся на стенах домов столицы. Газеты различных партий и группировок боролись за общественное мнение, стремились овладеть им или подчинялись ему. Иные листки, выйдя раз или два, затем закрывались; некоторые влачили жалкое существование в течение более длительного времени; были, однако, газеты, популярность которых, возрастая изо дня в день, обеспечивала самую широкую известность как им самим, так и их издателям.

Максимилиан хорошо помнил книгу Марата, с которой ему впервые пришлось столкнуться в годы студенческой жизни. Имя Марата, как революционера крайних убеждений, неоднократно называлось в Версале. Теперь Робеспьер увидел, что автор «Плана уголовного законодательства» стал едва ли не самым известным в плеяде народных публицистов столицы.

Талантливый врач и физик, Жан Поль Марат во имя революции отказался от научной карьеры и обеспеченной, спокойной жизни, чтобы весь свой темперамент, талант, свой мозг и сердце отдать делу народа. Он раньше других сумел заглянуть в будущее и сквозь мишуру громких слов буржуазных вождей Учредительного собрания разглядел подготовлявшееся ими предательство. На страницах своей газеты «Друг народа» Марат бичевал политику Байи и Лафайета и открыто обвинял в измене продавшегося двору Мирабо. Одинаково громивший и правых и левых, он верно оценил Робеспьера, проникся к нему большим уважением, называя его в печати достойным и непоколебимым. Правительство и лидеры крупной буржуазии боялись и ненавидели Друга народа, всячески преследовали его, неоднократно заставляя уходить в подполье. Но простые люди Парижа зорко охраняли своего защитника.

Среди прочих газет Максимилиан обратил внимание на «Французского патриота». Его интерес возбудило имя издателя: Бриссо де Варвилль. Бриссо!.. Действительно, он где-то слышал это имя, но где же?.. Максимилиан вспомнил обстоятельства своего знакомства с Бриссо, когда однажды столкнулся в клубе с издателем «Французского патриота».

Это было давно, почти десять лет назад. По окончании университета юный Робеспьер проходил практику у прокурора Парижского парламента господина Нолло. Там-то он и встретился с молодым письмоводителем, который много рассказывал ему о своих путешествиях и приключениях. Сын трактирщика, проведший молодость в шумном водовороте наполненной авантюрами жизни, Пьер Бриссо мечтал стать писателем. Он был красноречив и талантлив. Однако он не понравился Максимилиану. Бегающий взгляд его черных глаз казался неуловимым, во всей его внешности было что-то грязноватое, неопрятное. Таких людей аккуратный Робеспьер всегда старался избегать.

В данном случае он не ошибся. Бриссо оказался человеком неопрятным не столько физически, сколько морально. Двуликий демагог, долго рядившийся в одежды республиканца и демократа, он не был, как показало время, ни тем, ни другим. Его «Французский патриот» провозглашал идеи, от которых их автор впоследствии стал открещиваться. Сейчас ему нужна была популярность, и он старался приобрести ее всеми возможными средствами.

И еще одно знакомое имя, прочитанное под заголовком газеты, напоминало Максимилиану о далеких, безвозвратно ушедших годах. Это имя задевало самые чувствительные струны его души, ибо оно принадлежало человеку, который был с ним дружен в дни его исканий, в дни, когда он открыл учителя.

Максимилиану показалось, что он мельком видел Камилла Демулена в Версале; теперь у него не оставалось сомнений в том, что его школьный приятель находится в Париже и преуспевает.

Действительно, газета Демулена «Революции Франции и Брабанта» раскупалась нарасхват. Острый, едкий и одновременно шутливый стиль, которым превосходно владел начинающий журналист, очень нравился парижанам. Кроме того, издателя «Революций» теперь хорошо знали: ведь это был самый горячий из агитаторов Пале-Рояля, указавший народу на Бастилию! Камилл называл себя «главным прокурором фонаря». В своей газете и брошюрах он издевался над двором и даже —

этим он особенно гордился — сумел заслужить ненависть Марии Антуанетты.

Робеспьер с интересом перечитывал творения Камилла. Он не мог не поддаться обаянию пера своего старого приятеля, но вместе с тем слишком хорошо помнил его. Читая между строк, Максимилиан чувствовал, что юный трибун любит революцию любовью, похожей на опьянение. Восторженность Камилла не знала меры. А хватит ли у него стойкости, когда потребуются серьезные жертвы?..

Старые знакомые Максимилиана встречали своих единомышленников не только в кафе или редакциях газет: все они были связаны с клубами, которые начинали играть в Париже все более видную роль.

Особенно демократичным и по составу членов и по идеям, высказываемым с его трибуны, был клуб, основанный в апреле 1790 года на территории старой кордельерской церкви и получивший название Общества друзей прав человека и гражданина. В обиходе его называли просто Клубом кордельеров. Членские взносы здесь были низкими, а потому зал заседаний был всегда переполнен. Марат и Демулен были завсегдатаями Клуба кордельеров. Здесь же завоевывал популярность оратор с громовым голосом и телом атлета, адвокат Жорж Жак Дантон.

Наибольшей известностью пользовался, однако, Якобинский клуб, которому суждено было стать барометром революции. Клуб этот, ранее называемый Бретонским, переехал в Париж вместе с Учредительным собранием. Ему удалось получить помещение на улице Сент-Оноре, в библиотеке монастыря монахов-якобинцев. Здесь клуб был переименован: он стал называться Обществом друзей конституции, или, в просторечии, Якобинским клубом. Вначале состав клуба был далеко не демократичным: наряду с депутатами в него входили только зажиточные парижане — адвокаты, врачи, писатели, богатые мастера и купцы. Высокий членский взнос ограждал заседания клуба от неимущих масс. Во главе его стояли лидеры различных группировок от Мирабо и Лафайета до Робеспьера. Сила Якобинского клуба увеличивалась благодаря его широко разветвленной сети филиальных организаций в провинции, число которых росло с каждым месяцем. Популярности клуба немало способствовало и то, что члены его заранее обсуждали вопросы, которые затем выносились в Национальное собрание.

Робеспьер не пропускал ни одного заседания клуба. Здесь

он проверял свои речи, прежде чем выйти на трибуну Ассамблеи, здесь находил друзей и низвергал врагов. И по мере того как, меняя свой состав, клуб станет принимать все более демократический облик, Робеспьер из его рядового члена будет превращаться в любимого оратора и вождя якобинцев.

Как-то раз, в июне 1790 года, читая газету Демулена, Максимилиан обнаружил, что его школьный приятель вспомнил о нем, но только лишь для того, чтобы присочинить на его счет анекдотец в развитие мыслей, излагаемых на страницах «Революций»: автор приписывал аррасскому депутату слова, с которыми тот якобы обратился к толпе в Тюильрийском саду, осуждая один из декретов Собрания.

Максимилиан действительно вел в это время борьбу против реакционных постановлений Ассамблеи. Он выступал и против упомянутого Демуленом декрета, но только в стенах Собрания. То обстоятельство, что журналист исказил его слова и как бы приписал ему погоню за дешевой популярностью, глубоко возмутило строгого Максимилиана, крайне дорожившего своей репутацией. Он решил проучить дерзкого мальчишку и написал ему холодно-официальное письмо с требованием восстановить правду. Письмо начиналось словами:

«Сударь, в последнем номере вашей газеты...»

Ответ Демулена сразу обезоружил чопорного любителя истины. Обещая исправить недоразумение, Камилл горячо укорял старого приятеля за холодность и забывчивость.

«Твое письмо, милый Робеспьер, написано с достоинством и важностью сенатора, оскорбляющими чувства школьной дружбы. Ты по праву гордишься званием депутата Национального собрания. Эта благородная гордость мне нравится, и мне жаль, что не все, как ты, чувствуют свое достоинство. Но все же ты должен был приветствовать своего старого товарища хотя бы легким кивком головы. Я тебя не меньше люблю за то, что ты остаешься верен своим принципам, хотя и не столь верен остался ты дружбе...»

Читая это письмо, Максимилиан почувствовал, как краснеют его щеки. Да, Камилл давал ему хороший урок. Он не забыл старой дружбы. Надо показать, что депутат Национального собрания не более горд и заносчив, чем воспитанник коллежа Луи-ле-Гран.

И Максимилиан стал искать встречи с молодым журналистом. Встреча состоялась. Улыбающийся Камилл протянул руку депутату. Робеспьер сердечно обнял и расцеловал друга своей юности.

После этого они стали встречаться так часто, как позволяло время. Максимилиан убеждался, что Камилл все такой же, каким был двенадцать лет назад. Он так же легко смотрел на жизнь и был по-прежнему беспечен. Он рассказал товарищу о своем увлечении Мирабо. Теперь это уже прошло. Теперь он был очарован Барнавом. Но, кроме всего, или, вернее, больше всего, он увлекался сейчас одной юной особой, прелестнее которой не было на свете и из-за которой он был готов забыть все остальное. Обольстительницу звали Люсиль Дюплесси. Она принадлежала к хорошей семье, и Камилл уже сделал ей предложение, но...

Тут Камилл чуть не заплакал от горя. Родители невесты требовали церковного брака. А кто разрешит ему, атеисту и богохульнику, издевавшемуся над святыми и обливавшему помоями священников, кто разрешит ему церковный брак? Влюбленный безбожник пошел было во все тяжкие. Он явился к кюре церкви Сульпиция и с сокрушенным видом стал просить благословения. Кюре усомнился в том, что перед ним добрый католик, и в благословении отказал.

Максимилиан, сочувствуя бедному страдальцу, едва удерживался от смеха. Слишком уж комичной была ситуация! Как-то выпутается легкомысленный Камилл из этой беды? Впрочем, познакомившись с Люсилью, Робеспьер не мог не одобрить выбор своего друга.

Бракосочетание все же состоялось. Все устроил старый аббат Берардье, бывший директор коллежа Луи-ле-Гран. Берардье взял шефство над своим прежним воспитанником, тот поклялся в будущем воздержаться от безбожия и... исповедался в грехах.

29 декабря 1790 года в церкви Сульпиция при большом стечении народа произошел торжественный обряд. Среди свидетелей церковного брака Демулена были Бриссо, Робеспьер и товарищ Максимилиана по Ассамблее депутат Жером Петион. Максимилиан чувствовал себя плохо и был страшно зол на своего друга, впутавшего его в эту историю. Никогда не страдая ханжеством, Максимилиан вместе с тем никогда не хвалился своим атеизмом. Ему были глубоко противны разыгрывающаяся комедия и показное смирение Камилла. В особенности вознегодовал он, когда жених, якобы потрясенный трогательной проповедью Берардье, стал выдавливать из себя слезы.

— Не плачь, лицемер, — сердито прошипел он на ухо размякшему Демулену.

Вскоре после свадьбы счастливый супруг возобновил свои выпады против духовенства, но теперь они стали много яростнее, чем прежде.

Женитьба Камилла немного встряхнула Максимилиана и отвлекла от повседневных дел. Дела эти между тем осложнялись, приобретая характер, явно угрожающий завоеваниям демократии.

Борьба в Учредительном собрании достигала своей кульминации. Революционные действия народа 5—6 октября 1789 года не могли не повлиять на настроения буржуазной Ассамблеи и на ее состав. Прежде всего потеряла былое значение крайняя правая Собрания. Многие ее члены перестали посещать заседания, а лидеры пустились в «бега». Значительно подались вправо конституционалисты. Главным их лидером стал Мирабо, вступивший в тайные связи с двором. Получая крупные деньги из королевской казны и добившись той пышной роскоши, о которой всегда мечтал, Мирабо рассчитывал на возможность удержания Франции в рамках либерального конституционно-монархического режима; себе лично он стремился обеспечить главную роль в новом государстве крупных собственников.

Большая часть левой Учредительного собрания во главе с Барнавом, Шарлем Ламетом и Дюпором постепенно скатывалась на все более умеренные позиции. Левые часто и много шумели на заседаниях, щеголяя демократическими фразами; Барнав неоднократно схватывался в жарких стычках с Мирабо, вызывая аплодисменты толпы; однако во всех важных вопросах они объединялись с конституционалистами, создавая этим устойчивое большинство, проводившее политику «сдерживанья».

Положение немногих смельчаков, которые отваживались защищать права народа, стало критическим. Им приходилось вести борьбу не на жизнь, а на смерть, не видя впереди сколь-либо ощутимых перспектив.

Но они не собирались сдаваться. Робеспьер, который шел в их авангарде, призывал к стойкости и принципиальности. Теперь он чувствовал, что его слышит и одобряет революционный Париж, Париж, который становился родным и близким...

И в противовес многим другим он уже хорошо видел будущее.

— Напрасно вы рассчитываете при помощи мелких шарлатанских уловок руководить ходом революции, — холодно пред-

рекал он торжествовавшему большинству. — Вы, как мелкие букашки, будете увлечены ее неудержимым потоком; ваши успехи будут столь же мимолетны, как ложь, а ваш позор будет вечным, как истина!..

Глава 7

Неподкупный

— А сейчас слово предоставляется депутату Роберту Пьеру, — объявил с улыбкой секретарь Ассамблеи.

— Это не мое имя, — громко говорит худощавый человек в оливковом фраке, пробиваясь под дружный хохот к трибуне.

— Не ваше? Простите, здесь неразборчиво написано... Выступать будет господин Робетспер!

Хохот, сопровождаемый свистками, усиливается.

— Мое имя Робеспьер, — еще раз невозмутимо поправляет депутат в оливковом фраке и решительно взбирается на трибуну.

...Сколько злобы, ненависти, брани и ядовитых насмешек пришлось ему вытерпеть за эти полтора-два года! Иногда его не допускали к трибуне, иногда устраивали обструкции. Каждый раз, когда наступала его очередь говорить, он, хотя и хорошо знал свою речь, испытывал страх. Но мужество побеждало слабость. О его страхе никто не догадывался. На трибуне он был неизменно спокоен.

И он говорил, говорил, говорил, разбивая своим словом те ледяные стены, которые воздвигали вокруг него, сокрушая тех размалеванных идолов, которые стояли на его пути.

Слово было его силой, его могуществом, его славой. Слово принесло ему имя, созданное народом и неразрывно слившееся с ним в веках: он стал Неподкупным.

Главные законодательные акты Ассамблеи пришлись на время между октябрем 1789 года и июнем 1791 года.

Прежде всего было необходимо закрепить успехи, вырванные у абсолютизма в результате предшествующей борьбы. Отменив старое деление на сословия, буржуазные законодатели упразднили институт наследственного дворянства; прежним дворянам запрещалось пользоваться родовыми титулами и гербами. Были устранены ограничения, мешавшие свободному

развитию промышленности и торговли, уничтожены старые феодально-абсолютистские учреждения, в первую очередь парламенты, проведено новое административное деление страны. Конфискованные церковные земли объявили национальными имуществами и пустили в продажу. Церковные должности становились выборными, а священнослужителей обязали давать присягу конституции.

Все эти акты, изданные в развитие соответствующих положений Декларации прав, должны были обеспечить формальное равенство граждан перед законом.

Однако почти одновременно, в явном противоречии с той же Декларацией, были проведены декреты, нарушавшие даже это формальное равенство.

23 октября в зал заседаний ввели бедного крестьянина, старика в возрасте 121 года. Потомственный крепостной, он хорошо помнил век короля-солнца Людовика XIV, время регентства, правление «многолюбимого» Людовика XV. Все эти долгие годы, при всех блестящих правителях он неизменно стонал под ярмом крепостной неволи. Теперь, в глубокой старости, этот седобородый труженик приехал в Париж из далекой провинции, чтобы возблагодарить народ и законодателей за отвоеванную свободу. Собрание единодушно аплодировало старейшему сыну французского народа. Он шел нетвердым шагом, поддерживаемый внуками. Его усадили в кресло против председательского бюро и оказали честь, как королю: заставили надеть шляпу, в то время как депутаты с непокрытыми головами стоя приветствовали его. Старик молчал, только крупные слезы катились по его увядшим щекам. «Будьте счастливы, — сказал ему председатель, — глядя на отечество, ставшее свободным!»

Воистину трогательная картина! Законодатели, вероятно, забыли, что всего несколько дней назад они издали первые антинародные законы, которые должны были начать цепь репрессий против потомков приветствуемого ими сегодня патриарха тружеников.

Действительно, декреты, принятые в октябре—декабре 1789 года, лишали избирательных и иных политических прав всю массу неимущего и малоимущего населения страны, которое произвольно зачислялось в категорию так называемых пассивных граждан. Активными гражданами была признана

лишь верхушка налогоплательщиков, составлявшая около одной шестой населения страны!

Одновременно буржуазия стремилась застраховать себя от новых народных выступлений. 21 октября 1789 года под свежим впечатлением от недавних событий был утвержден так называемый военный закон, согласно которому муниципальным властям разрешалось применять силу и даже открывать огонь в случаях «незаконных сборищ».

Кроме этого закона, жители сел и деревень почти ничего не получили. Новые постановления, правда, запрещали помещикам захваты общинных земель, однако они не касались уже произведенных выделов. Крестьянам по-прежнему предписывалось неукоснительное выполнение всех «реальных повинностей» впредь до их выкупа. В угоду предпринимателям Собрание нанесло удар и оживившемуся рабочему движению. 14 июня 1791 года по предложению депутата Ле-Шапелье был принят декрет, запрещавший объединение рабочих в союзы и стачечную борьбу.

Венцом буржуазного законодательства Учредительного собрания была конституция 1791 года.

Конституция торжественно провозглашала принцип верховенства нации. Высшая законодательная власть вручалась Законодательному собранию — однопалатному органу, избираемому сроком на два года. Главой исполнительной власти был король, назначавший министров и высших военачальников и наделенный правом приостанавливающего вето. Личность короля объявлялась неприкосновенной; ответственности перед Ассамблеей подлежали только агенты исполнительной власти — министры. Выборы в Законодательное собрание были двустепенными — правом избирать и быть избранными как в Собрание, так и в любой административный орган пользовались лишь активные граждане. Конституция не разрешала аграрного вопроса и узаконила рабство, существовавшее в колониях.

Робеспьер в течение всего этого периода выступал неизменно в одном и том же плане. Его основная мысль была предельно проста.

Он требовал, чтобы законодатели последовательно и полно применяли в конституции принципы Декларации прав, а не противоречили этим принципам на каждом шагу; чтобы новые законы, издаваемые именем свободы и равенства, не угнетали

свободы и не нарушали равенства во благо горстки богачей и в ущерб основной массе тружеников; чтобы политические права граждан не связывали с их имущественным положением. Все его речи — а выступил он за три неполных года более пятисот раз — были посвящены борьбе за народные права и за улучшение жизни народа.

Не было, пожалуй, другой проблемы, которая так волновала бы Максимилиана, как всеобщее избирательное право. Он молчал, когда обсуждали и низвергали привилегии дворянства, его голоса не было слышно во время проведения торгово-промышленного законодательства или административной реформы. Но как только всплывал вопрос об избирательном праве, об активных и пассивных гражданах, о цензе, он тотчас же устремлялся к трибуне и готов был до исступления спорить с лидерами различных партий и группировок. Положение молодого депутата было весьма сложным, так как поддерживали его точку зрения очень немногие; даже его соратник Петион расходился с ним по вопросу о цензе. И тем не менее, борясь иногда в полном одиночестве, Робеспьер продолжал бороться: не ограничиваясь выступлениями в Собрании, он развивал свои идеи в Якобинском клубе и в печати.

Максимилиан указывал на чудовищное противоречие между постановкой проблемы ценза в будущей конституции и высокими принципами Декларации прав, из которых конституция должна исходить.

«...Закон есть выражение общей воли, говорится в Декларации; но как это возможно, если огромное большинство тех, для кого он создается, никаким способом не могут повлиять на его издание?.. Самодержавие народа, о котором говорит Декларация прав, — пустая формула, когда большинство этого народа оказывается лишенным политических прав, которые как раз неразрывно связаны с народным самодержавием...»

Робеспьер гневно разбивал аргументы сторонников ценза, пытавшихся доказать, что неимущие и малоимущие труженики не могут быть заинтересованы в разумном управлении государством, так как они якобы не владеют ничем, что нуждалось бы в защите и охране законов.

«...Как можно, говорите вы, предоставить все права гражданам тому, кто ничего не имеет и кому нечего, следовательно, терять. Нечего терять! Как лжив этот безумно надменный язык! Как несправедлив он перед лицом истины! По-видимому, люди, о которых вы говорите, живут среди нас без всяких средств

к существованию; иначе если эти средства у них есть, то у них есть, мне кажется, и что терять и за что держаться. Да, эта грубая одежда, покрывающая меня, это убогое наемное жилище, в котором протекает моя мирная и уединенная жизнь, скромный заработок, на который я кормлю жену и детей, — да, я признаю, что это не земли, не замки, не экипажи; что с точки зрения роскоши и богатства это может считаться «ничем», но с точки зрения прав человека — это не ничто, а священная собственность, столь же священная, без сомнения, как и блестящие имения богачей».

Опровергая своих оппонентов, утверждавших, будто бы бедняка легко подкупить и тем сделать его социально опасным, Максимилиан указывал, что интересы народа совпадают с интересами общества. Не без горечи напоминает он о событиях начала революции.

«...Разве богачам и важным господам обязаны вы тем славным восстанием, которое спасло Францию и вас? Боролся ли тогда народ для того, чтобы помочь вам защищать его права и его достоинство, или для того, чтобы дать вам власть лишить его их? Для того ли он сверг иго феодальной аристократии, чтобы подпасть под иго богачей?»

Никто не в силах был бы оспорить справедливость этих слов. Но могли ли согласиться с ними и принять их те самые богачи, сидевшие на скамьях Ассамблеи, против которых они были направлены?..

Подобными же мыслями проникнуты выступления Робеспьера о составе национальной гвардии и о демократизации армии. Он безусловно возражал против декрета, согласно которому в национальную гвардию допускались лишь активные граждане. Указав на необходимость заботиться о том, чтобы бойцы национальной гвардии не превратились в военную касту и не усвоили корпоративного духа, от которого может застонать свобода, Максимилиан напоминал, что в национальном гвардейце солдат должен быть слит с гражданином. Но это возможно только в том случае, если национальная гвардия будет строиться на самых широких демократических основах, если она будет иметь всенародный характер.

«...Лишить права на оружие одну часть граждан и в то же время вооружить другую — это значит нарушить принцип равенства, основу нового общественного договора, нарушить священнейшие законы природы...»

В равной степени Робеспьер протестует против старого

принципа набора в регулярную армию, согласно которому поддерживалась постоянная и резкая рознь между солдатом и офицером: солдаты вербовались из третьего сословия, офицеры почти исключительно принадлежали к дворянству.

«В стране дворянство уничтожено, — говорил Максимилиан, — но оно продолжает оставаться в армии... Недопустимо предоставлять ему защиту Франции. Вы заместили все публичные должности согласно принципам свободы и равенства, и в то же время вы сохраняете вооруженных должностных лиц, созданных деспотизмом». Признавая, что часть офицеров примкнула к революции, Робеспьер справедливо указывал, что в массе офицерство настроено враждебно. Вместе с тем он неоднократно выступал с требованиями об улучшении правового положения рядового состава армии и флота, протестуя против царившего здесь бесправия и традиционной палочной дисциплины. При обсуждении нового морского устава Максимилиан добивался, чтобы за одинаковые преступления матросы и офицеры несли равные наказания; участвуя в прениях о характере военных судов, он настаивал, чтобы те формировались не из одних офицеров, а представляли смешанные комиссии, избираемые из командного и рядового состава.

Насколько были своевременны все эти заявления, показали солдатские бунты, прокатившиеся по стране весной и летом 1790 года. Наиболее значительным из них было волнение четырех полков гарнизона Нанси, зверски подавленное аристократом-генералом маркизом Буйе. Учредительное собрание, несмотря на энергичный протест Робеспьера, сочло нужным вынести Буйе «благодарность от имени нации». Это был единственный ответ Ассамблеи собственников на все требования о демократической перестройке армии.

Немногочисленные заявления Робеспьера по аграрному вопросу полны гуманизма и искреннего желания помочь землепашцу.

Выступая в Собрании с большой речью в защиту крестьянских прав на общинных землях, он добивался полной ликвидации всех злоупотреблений, унаследованных от феодальных времен.

Он настаивал, чтобы Учредительное собрание не только запретило помещикам дальнейшие захваты общинных земель, но и приняло бы меры, дабы вернуть крестьянам земли, которые перешли к помещикам на «законном» основании. «...Говорят, что за помещиками право давности, но право давности у на-

рода еще древнее; боятся затронуть помещичью собственность, но самое право выдела есть не что иное, как право на узаконенный грабеж, а ограбление никогда не может создать права собственности на похищенное. Совершенно недостаточно поэтому воспретить выделы на будущее время: надо, чтобы закон в этом случае имел обратное действие! Поступить иначе — значит оставить грабителей спокойно владеть захваченным!..»

Робеспьер глубоко сочувствовал мелкой городской буржуазии: владельцам небольших лавчонок, самостоятельным мастерам, всей этой торговой и ремесленной мелкоте, которая разорялась, не имея возможности выдержать конкуренции с крупными предпринимателями и торговцами. Он выступал с проектами, направленными к смягчению имущественного неравенства, угрожавшего жизни маленьких людей. И однако он не разглядел рабочих.

Вместе с другими депутатами он проголосовал за антирабочий проект Ле-Шапелье и этим содействовал утверждению на семьдесят с лишним лет закона, втискивавшего, по словам Маркса, «...государственно-полицейскими мерами конкуренцию между капиталом и трудом в рамки, удобные для капитала»... закона, который «пережил все революции и смены династий...» [1].

Горячий защитник народа, Робеспьер недостаточно ясно представляет себе, что такое народ. В его понимании отдельные прослойки народа, отдельные классы, входившие в его состав, почти не дифференцируются. Он «народник» в самом широком и буквальном смысле этого слова; таким он останется до конца своих дней.

Робеспьер был одним из немногих депутатов Учредительного собрания, боровшихся за права цветного населения французских колоний.

Первое предложение об отмене работорговли было сделано в Ассамблее уже в ноябре 1789 года. Однако многие депутаты, владевшие землями и рабами на Гаити и Мартинике, были лично заинтересованы в сохранении рабства. К числу депутатов-рабовладельцев принадлежали и братья Ламеты, а их друг Барнав неоднократно выступал против предложений об отмене рабства и неполноправного положения мулатов.

В своей речи Робеспьер указал депутатам, что раз конституция предоставляет политические права всем гражданам, пла-

---

[1] К. Маркс, Капитал, т. I. Госполитиздат, 1955, стр. 745.

тящим установленные налоги безотносительно к цвету их кожи, то мулаты должны пользоваться теми же правами, что и белые. Предоставлять же решение этого вопроса колониальному собранию, состоящему из одних белых, на чем настаивал Барнав, не более как издевательство. Что сказали бы господа депутаты, иронически спрашивал Максимилиан, если бы во Франции судьбы третьего сословия дали вершить одним привилегированным? Когда в ходе прений один из депутатов предложил поправку, в которой упоминалось слово «раб», Робеспьер с негодованием воскликнул:

— Да с того момента, когда вы введете слово «раб» в свои декреты, вы покроете себя позором! Вы беспрестанно твердите о правах человека и в то же время освящаете своей конституцией рабство. Пусть лучше погибнут колонии, если их дальнейшее существование может быть куплено лишь ценою потери нашей чести, славы и свободы!..

Робеспьер дрался, не зная отдыха. Он произносил речи против военного закона, о свободе печати и петиций, об организации суда, о гражданском устройстве духовенства, о правах короля, о равном разделе наследства, против смертной казни и на многие другие темы. И везде он был одним и тем же: Неподкупным, Непреклонным, Непоколебимым.

Все чаще и увереннее поднимаясь на ораторскую трибуну, он все более выделяется последовательностью и принципиальной заостренностью речей, которые заставляют постепенно умолкнуть и стушеваться насмешливых недоброжелателей и повергают в недоумение общепризнанных лидеров. Призадумался Мирабо, насупился Барнав, озабоченно перешептываются братья Ламеты, еще недавно считавшиеся вожаками левой Собрания. Да! Они недооценили его. Забавный фарс оказался трагедией. «Аррасскую свечу» погасить явно не удалось!

Теперь он стал широко известен за пределами Ассамблеи. Его знала и глубоко уважала вся революционная Франция. Ему аплодировали, на него надеялись, его просили. При каждом удобном случае выборные лица и частные корреспонденты поверяли ему свои нужды и печали, выражали доверие и благодарность. Его стол постоянно завален письмами. Вот письмо из Авиньона: должностные лица горячо благодарят за речь в защиту петиции авиньонских граждан о присоединении к Франции. Пять писем из Марселя от местных якобинцев и

муниципалитета; в письмах — жалобы, надежда на поддержку, благодарность. Четыре письма из Тулона; в одном из них муниципалитет извещает, что гражданская доблесть Робеспьера и самоотверженность, которую он не раз проявлял в отношении городской коммуны, побудили генеральный совет присудить ему звание гражданина Тулона. Пишут из Арраса, из Версаля, из Буржа, из Лондона, из Манта; пишут бельгийские демократы и депутаты далекой Кайенны, восторженные поклонницы и незнакомые просители. Бывшая аристократка и нынешняя якобинка мадам Шалабр приглашает Максимилиана на «небольшой обед в обществе патриотов», прося его выбрать день, который меньше помешает его занятиям; будущая вдохновительница жирондистов мадам Ролан восхваляет его как мужественного человека, верного своим принципам, «энергия которого неустанно сопротивлялась притязаниям и уловкам деспотизма и интриг». А вот... что это? Письмо от Сен-Жюста, его будущего единомышленника и друга, Сен-Жюста, которого пока не знает никто, в том числе и сам Робеспьер! Автор письма просит поддержать его ходатайство, направленное в Ассамблею. Сен-Жюст с нескрываемым восхищением относится к своему адресату.

«К вам, кто поддерживает изнемогающую родину против потока деспотизма и интриг, к вам, которого я знаю только как бога по его чудесам, я обращаюсь с просьбой...»

«...Я не знаю вас лично, но вы большой человек, вы не только депутат одной провинции, вы депутат всего человечества».

И другой, тоже пока безвестный деятель будущего, с вниманием следит за успехами Робеспьера. Совсем еще юный Франсуа Ноэль Бабеф с жаром переписывает целые страницы речей Неподкупного, находя в них идеи, созвучные своей золотой мечте о равенстве и счастье освобожденных людей.

Все эти факты — яркое свидетельство происшедших перемен. Робеспьер становился настолько заметным, что вне зависимости от его депутатских обязанностей народ начинает выдвигать своего трибуна на важные административные посты.

Еще в октябре 1790 года жители Версаля избрали Максимилиана председателем суда своего дистрикта. 10 июня 1791 года его ждал снова приятный сюрприз: собрание парижского департамента избрало его общественным обвинителем парижского уголовного суда. Это были большие честь и доверие. Не обошлось без характерного инцидента: друг Барнава Дюпор,

одновременно назначенный председателем того же суда, немедленно отказывается от должности, не желая работать бок о бок с ненавистным ему человеком. Камилл Демулен заклеймил этот поступок на страницах своей газеты. «Презренный лицемер! — обращается он к Дюпору. — Ты отталкиваешь Робеспьера, воплощение честности, и, не успев устранить его, покидаешь пост, на который возвело тебя доверие, или, вернее, заблуждение, твоих сограждан! Ты знаешь, какое громадное расстояние между его и твоим патриотизмом? Ты сто раз бывал свидетелем единодушных рукоплесканий, которые вызывали среди якобинцев его речи и даже одно его присутствие».

Факт этот, однако, обратился к выгоде для сторонников Робеспьера: на место ренегата Дюпора избиратели выдвинули Петиона. А это был двойной триумф сил демократии.

Так, одерживая победы в народном мнении, завоевывая новые и новые симпатии, Максимилиан должен был неизбежно взять верх над своими врагами. Его последовательная принципиальная борьба в Собрании, борьба тем более поразительная, чем меньше он мог рассчитывать на успех, привлекала к нему сердца. Его оценили, его уже любили. И первым свидетелем народной любви стало его второе имя — Неподкупный.

Глава 8

Конец третьего сословия

Летом 1790 года в Париже отмечали две юбилейные даты. 17 июня исполнился ровно год с тех пор, как третье сословие Генеральных штатов дерзнуло провозгласить себя Национальным собранием. Буржуазия считала этот день своим. Его решили отпраздновать с блеском. На втором этаже богатых апартаментов Пале-Рояля был дан шикарный банкет. Вокруг великолепно сервированного на двести персон стола разместились члены Общества 1789 года[1] и приглашенные. Во время десерта дамы поднесли букеты роз и тюльпанов Сиейсу, Лафайету, Ле-Шапелье, Мирабо и Талейрану. Более всего почестей выпало на долю Байи, которому возложили на голову венок.

Под окнами же дворца толпились голодные простолюдины.

[1] Так назывался клуб, основанный лидерами конституционалистов в апреле 1790 года.

После обильного ужина гости вышли на балконы понаслаждаться созерцанием «доброго народа» и подышать воздухом, напоенным вечерним ароматом садов. Кто-то стал развлекать толпу исполнением фривольной песенки, кто-то, быть может, спьяну выступил с предложением увенчать Людовика XVI императорской короной...

А месяц спустя, 14 июля, Париж любовался новым зрелищем, совсем не похожим на праздник буржуазии. Годовщина взятия Бастилии превратилась в грандиозную демонстрацию мощи революционного народа. Это был праздник федерации [1]: трудовое население различных областей и провинций впервые встречалось в своей столице в день, который навеки должен был остаться днем всей страны. На улицах Парижа бретонцы обнимались с провансальцами, гасконцы приветствовали бургундцев, овернцы провозглашали тосты за здоровье жителей Иль-де-Франса. Было организовано торжественное шествие федератов. На Марсовом поле воздвигли «алтарь отечества», около которого делегаты при восторженных криках полумиллионной массы зрителей приносили присягу на верность нации, закону и... королю! Да, королю. Иллюзии еще не рассеялись, буржуазия напрягала все силы для того, чтобы их сохранить. Здесь можно было увидеть и подобие трона с неизменными лилиями, и толстого монарха с кислым лицом, и его супругу, капризно надувшую губы, и всю хмурую придворную камарилью.

Что общего было у этих теней прошлого с народным праздником? С какой злобной радостью они залили бы его кровью всех этих поденщиков и мастеровых, перед которыми вынуждены сейчас играть роль статистов! Но час не пробил. Народ ликовал, упиваясь своей мощью, мэр, улыбаясь, приветствовал федератов. А народная кровь... Она прольется, прольется на этом же священном месте, во имя этого же толстого монарха, по приказанию этого же улыбающегося Байи, но не сегодня. Это произойдет год спустя!..

Как-то в феврале 1791 года во время заседания Ассамблеи председатель огласил записку, полученную от короля, в которой тот извещал, что прибудет в Собрание, и просил принять его «без этикета».

Со всех сторон раздались аплодисменты. Навстречу монарху выслали депутацию. Председатель стоя ожидал августейшую персону. Наконец, предшествуемый несколькими пажами и со-

[1] То есть объединения, революционного единства всей страны.

провождаемый министрами, входит Людовик XVI. Он без орденов и регалий, облачен в простой черный фрак. Зал оглашается радостными криками. Все продолжают стоять в почтительных позах. Король произносит речь. Замаскированные жалобы искусно переплетаются с комплиментами и реверансами в адрес Собрания. Король обязуется защищать, поддерживать и сохранять конституционную свободу, принципы которой освящены волей всех и согласованы с его желанием... Он заверяет, что будет с детства подготовлять ум и сердце наследника престола к новому порядку вещей. Затем Людовик и сопровождающие его лица удаляются. Собрание, распираемое верноподданническими чувствами, провожает их восторженными возгласами. Будущий член Комитета общественного спасения Барер де Вьезак, обливаясь слезами умиления, восклицает: «Ах, какой добрый король! Да ему следует воздвигнуть золотой, усыпанный алмазами трон!»

И законодатели не оставили этой реплики без внимания. Среди лицемерных восторгов, без обсуждений и дебатов Собрание вотировало «на содержание короля» цивильный лист — ежегодную сумму в двадцать пять миллионов ливров плюс четыре миллиона для нужд королевы!

Общественное мнение было возмущено. Один журналист с негодованием указывал, что оплата прихотей королевы будет стоить столько же, сколько обходится годовое содержание Ассамблеи со всеми ее комиссиями, комитетами и подкомитетами!

Но собственники не жалели народных денег, брошенных в фонды цивильного листа. Ибо они смотрели на трон как на преграду выступлениям демократии, ибо им нужен был король против народа, король буржуазии; а такого короля, если он будет послушным орудием, не грех было и озолотить...

Слепцы! Они забыли простую истину: как ни золоти прутья клетки, она все равно останется клеткой.

А король, королева, их близкие, осколки их двора — все они чувствовали себя пленниками. Было наивным надеяться, что Людовик XVI, с детства смотревший на себя как на помазанника божьего, окруженный блестящей и раболепной знатью, монарх, усвоивший гордую, презирающую все и всех мысль «государство — это я!», согласится стать королем буржуазии, королем без дворянства и духовенства, лишенным своего величия и своих прерогатив, обреченным на роль рычага в руках новой власти.

Король и королева ни минуты серьезно не думали о примирении с новым порядком вещей. Когда народ сорвал все попытки обратиться к силе, было решено проявить показную по-

корность и тайно вести переговоры с врагами революции. Для этого нужны были деньги — теперь их с избытком давал цивильный лист! Законодатели обеспечили монархии средства, чтобы она могла вести под них планомерный подкоп! Секретная агентура заработала. Одновременно двор составил план действий: было решено, что король и его семья тайно уедут из Парижа, отдадутся под покровительство контрреволюционного генерала Буйе, стоявшего близ границы, а затем с помощью иностранных государей разгромят силы революции и восстановят прежнюю абсолютную монархию.

21 июня 1791 года Париж был разбужен гудением набата и тремя пушечными выстрелами. Свершилось: птички улетели, золоченая клетка опустела.

В Учредительное собрание был доставлен запечатанный пакет. В нем оказался королевский манифест. Монарх разрывал завесу лицемерия и, не стесняясь в выражениях, предавал анафеме все деяния революции. Он указывал, что был лишен свободы с октября 1789 года и поэтому опротестовывает все утвержденные им с этого времени акты. Он жаловался на насильственные действия народа, на скудость цивильного листа, на всесилие клубов, на утеснения, чинимые духовенству. Он обращался к французам с призывом «не доверять внушениям бунтовщиков», а министрам запрещал «подписывать от его имени какие бы то ни было бумаги впредь до последующих повелений».

Эта расписка в двуличии была прочтена при гробовой тишине. Вслед за тем Ассамблея провозгласила себя высшей исполнительной властью, но одновременно заявила о намерении сохранить монархию. Несмотря на манифест короля, было выпущено воззвание, в котором говорилось не о бегстве, а о «похищении» короля. Протестующий возглас депутата Редерера: «Это ложь! Он подло покинул свой пост!» — остался без ответа.

Но народ реагировал на бегство короля иначе, чем Собрание.

Злость и негодование охватили парижан. Обвиняли Лафайета и национальную гвардию, разбивали королевские бюсты, повсюду разыскивали оружие.

Клуб кордельеров направил в Ассамблею адрес, требующий немедленного уничтожения монархии. К петиции кордельеров присоединялись голоса многих прогрессивных журналистов.

«Заметили ли вы, — писал журналист Бонвиль, — какие братские чувства поднимаются в вас, когда раздается набат, когда бьют сбор и короли обратились в бегство? Не нужно больше ни королей, ни диктаторов, ни императоров, ни протекторов, ни регентов! Наш враг — наш повелитель, говорю вам это ясным французским языком. Не надо Лафайета, не надо Орлеанского!»[1]

Максимилиан сжимал пальцы до боли в суставах. Невеселые мысли одолевали его. Промучившись все утро в одиночестве, днем он не выдержал и побежал к Петиону. Там уже был Бриссо. Бриссо и Петион, очень возбужденные, радостно приветствовали соратника. Они полны надежд: король, совершив побег, лишь очистил место для республики! Победа близка. Но Робеспьер с сомнением смотрит на них. Он грустен и задумчив. Что такое республика, когда власть сосредоточена в руках ставленников реакции?..

Вечером 21 июня Максимилиан явился в Якобинский клуб. Рассеянно слушал он первые выступления. Барнав добивался вотума, которым клуб одобрил бы меры, принятые Учредительным собранием. Максимилиан пожимает плечами. Нашел, чем отвлекать якобинцев! Это ли сейчас главное... Он берет слово; указывает, что народу со всех сторон расставлены ловушки; обвиняет короля, его сообщников, контрреволюционную эмиграцию, министров, наконец, Собрание, пытающееся обмануть народ. Он глубоко возмущен тем, что Ассамблея оставляет управление страной в руках служителей опозоренного трона. Он предвидит кровавые события. Быть может, погибнут многие патриоты... Робеспьер обводит грустным взглядом присутствующих. Внемлют ли они его предостережениям?

— Я хотел по крайней мере воздвигнуть в вашем протоколе памятник тому, что с вами случится... Обвиняя почти всех моих собратьев, членов Ассамблеи, в том, что они контрреволюционеры — одни из страха, другие по неведению, третьи из мстительности, четвертые из оскорбленной гордости или слепой доверчивости, — я знаю, знаю, что точу на себя тысячу кинжалов. Но если еще в начале революции, когда я был едва

---

[1] Герцога Филиппа Орлеанского, двоюродного брата Людовика XVI, некоторая часть членов Собрания прочила в регенты или в короли в случае отречения Людовика.

заметен в Национальном собрании, когда на меня смотрела только моя совесть, я принес жизнь в жертву истине, то теперь, после того как голоса моих сограждан хорошо заплатили мне за эту жертву, я приму почти как благодеяние смерть, которая не даст мне быть свидетелем бедствий, на мой взгляд неизбежных!

Присутствующие были потрясены. Зал точно замер. Но вот вскочил молодой человек с развевающимися волосами и, устремив на оратора горящий взор, поднял руку, призывая к клятве.

— Робеспьер! Мы будем твоим оплотом! Мы все умрем раньше тебя!

И восемьсот членов клуба, как один, встали вслед за Демуленом. Подняв правую руку, каждый поклялся именем свободы сплотиться вокруг Неподкупного и защищать его жизнь.

Это заседание принесло Робеспьеру власть над сердцами якобинцев.

Утром 22 июня парижане, потягиваясь и зевая, говорили:

— Короля у нас нет, а между тем мы спали очень хорошо.

По улицам бегали газетчики, распространяя свежие листки.

«...Пришло время, — писал Марат, — снести головы министрам и их подчиненным, всем злодеям главного штаба и всем антипатриотическим генералам, мэру Байи, всем контрреволюционным членам городского управления, всем изменникам Национального собрания». Другу народа вторил пылкий Демулен, считавший себя убежденным сторонником республики.

Между тем Учредительное собрание продолжало работу. Законодатели отредактировали текст присяги для офицеров и составили ответный адрес на манифест Людовика XVI, где снова повторили версию о похищении королевской семьи. Медленно тянулось время. Вдруг около половины десятого возникло волнение. По коридору бежал запыхавшийся курьер. Кто-то закричал:

— Он арестован!..

Король был опознан в местечке Сен-Мену, совсем неподалеку от конечного пункта своего маршрута. Его узнал начальник почты Друэ, который тотчас же принял меры для задержания королевской семьи. Карету беглецов остановили в Варенне, почти на глазах у передовых отрядов Буйе. Тысячи крестьян прибыли из соседних сел на помощь местным отря-

дам национальной гвардии. В окружении многочисленной толпы вооруженных патриотов упавшие духом беглецы вынуждены были тронуться обратно.

Для сопровождения пленников Учредительное собрание выделило трех комиссаров. В их числе оказались Барнав и Петион. Петион держался с большим достоинством и не снисходил до особых церемоний со своими подопечными. Иное дело Барнав. Этот лощеный щеголь, прекрасно образованный и знавший свет, не преминул блеснуть утонченностью своих манер перед августейшими особами: он сидел в карете рядом с королевой и — верить ли молве? — был очарован. Мария Антуанетта употребила все свое обаяние, чтобы пленить видного депутата Ассамблеи. Как бы то ни было, в период вареннского кризиса прежний вожак левой Собрания — уже до этого значительно поправевший — совершенно забыл свои старые позиции и вплоть до эшафота оставался верным приверженцем короля и трона.

13 июля Ассамблея приступила к обсуждению вопроса о судьбе монарха. Был выслушан доклад комиссии, расследовавшей обстоятельства бегства в Варенн. Докладчик сделал вывод, что Людовик XVI должен быть объявлен невиновным в силу принципа неприкосновенности особы короля; его следует восстановить на троне; вместе с тем, по мысли докладчика, надлежало привлечь к ответственности генерала Буйе (бежавшего за границу) и лиц, сопровождавших короля, которые якобы виновны в «похищении».

Прения были очень жаркими и продолжались три дня. 14 июля выступил Робеспьер.

— Король, говорите вы, неприкосновенен; он не может быть наказан — таков закон. Вы сами на себя клевещете! Нет, вы бы никогда не издали декрета, по которому один человек стоял бы выше закона и мог бы безнаказанно покушаться на свободу, на существование нации. Нет, вы не сделали этого, и если бы вы осмелились издать подобный закон, то французский народ всеобщим криком негодования напомнил бы вам, что суверен вступает в свои права!..

Королевскую руку направляли другие? Но разве король не обладает сам способностью совершать те или иные поступки? А если король угрожает счастью и даже жизни народа? Если он навлекает на страну все ужасы внутренней и внешней войны, если, став во главе интервентов, он покушается на свободу

и завоевания революции, он тоже сохраняет неприкосновенность?

Разумеется, это абсурд. Конечно, подобные «принципы» могут высказываться только врагами революции или людьми, не отдающими отчета в своих словах...

В заключение оратор доказал полную беспринципность тех, кто предлагал всю силу правосудия обрушить на головы «похитителей», то есть соучастников побега.

Правые были до такой степени ошеломлены этой речью, что объявили Робеспьера... сумасшедшим! Некоторые иностранные дипломаты обратились к своим правительствам с соответствующими донесениями и через несколько дней вынуждены были их опровергать.

В этой речи Робеспьер обронил, между прочим, фразу, которая отвечала мысли, непрестанно беспокоившей его со дня бегства короля.

— Недостаточно свергнуть деспота, если потом попадешь под гнет нового деспотизма...

Людовик XVI показал себя деспотом, вероломным и негодным монархом. Его нужно отстранить. В этом для Максимилиана не было никаких сомнений.

Но что делать дальше? Учреждать республику, как полагали Бриссо и Петион? Вот в этом-то он и сомневался. Он не был уверен, что в сложившихся условиях республика лучше монархии.

И правда, рассуждал Робеспьер, что является самым страшным, наиболее угрожающим в данный момент? Деспотизм богатых, тирания реакционных элементов Учредительного собрания. Что же принесет в таком случае немедленное установление республики? Ничего, кроме легализации власти этого «нового деспотизма».

Робеспьер опасался, что при недостаточной организованности народа уничтожение монархии отдаст всю полноту власти в руки крупной буржуазии, в то время как наличие монархии в какой-то степени сможет ограничить эту власть и тем облегчит массам возможность решительной победы в грядущей борьбе.

Мысль эта была непоследовательной и ошибочной. Но в то время так думали многие. В вопросе о республике и монархии в период вареннского кризиса Неподкупный не смог подняться над уровнем представлений, господствовавших в демократическом лагере.

Мужи Собрания подняли перчатку, брошенную Робеспьером. На следующий день от лица большинства выступил Антуан Барнав. Законодатели знали, кого противопоставить Неподкупному. После смерти Мирабо [1] Барнав считался чуть ли не лучшим оратором Ассамблеи. Он был сух, подтянут, сдержан, догматичен. На Робеспьера, взявшего верх в Якобинском клубе, он смотрел как на личного врага. Свою пространную речь Барнав посвятил защите принципа неприкосновенности короля. Вместе с тем — и это особенно знаменательное место в его речи — он невольно выдал жгучий страх крупной буржуазии перед новыми выступлениями революционных масс.

— Нам причиняют огромное зло, когда продолжают до бесконечности революционное движение, уже разрушившее все то, что надо было разрушить, и доведшее нас до предела, на котором нужно остановиться... Подумайте, господа! Подумайте о том, что произойдет после вас. Вы совершили все, способное благоприятствовать свободе и равенству... Отсюда вытекает та великая истина, что если революция сделает еще один шаг вперед, она сделает его не иначе, как подвергаясь опасности. Первое, что произошло бы вслед за этим, была бы о т м е н а к о р о л е в с к о й в л а с т и, а потом последовало бы п о к у ш е н и е н а с о б с т в е н н о с т ь... Таким образом, господа, все должны чувствовать, что общий интерес заключается в том, чтобы революция остановилась...

Трудно было более точно высказать то, что наболело в душах депутатов буржуазии. Восстановленный король должен помочь остановить эту треклятую революцию, которая уже так надоела и которая угрожала все новыми опасностями аристократам денежного мешка!

В тот же день был принят декрет о привлечении к судебной ответственности «похитителей» короля, обвиненных в заговоре против конституции и в подготовке иностранного вторжения. Этим косвенно снималась всякая вина с Людовика XVI.

Развязка приближалась. Клуб кордельеров составил новую петицию, призывавшую к отстранению изменника короля. 16 июля кордельеры обратились к якобинцам с просьбой о поддержке. Внутри Якобинского клуба закипела борьба. Но исход ее в свете предшествующих событий был ясен: большинство якобинцев решило поддержать петицию. Тогда якобинцы-депутаты во главе с Барнавом покинули клуб. Правая часть якобин-

[1] Мирабо умер в апреле 1791 года.

цев не только фактически, но и формально порвала с клубом и основала новое общество в помещении Фельянского монастыря, получившее название Клуба фельянов. В его состав вошла большая часть членов Общества 1789 года. Его лидерами оказались Барнав, Дюпор, Александр Ламет, Лафайет и Байи. Клуб фельянов стал внепарламентским центром крупной буржуазии.

Раскол произошел и во всех отделениях Якобинского клуба. Большинство якобинцев периферии сохранило верность его основному ядру, возглавляемому Бриссо, Петионом и Робеспьером.

Оставалась кровь... Кровь патриотов, о которой говорил Робеспьер, пролитие которой он считал неизбежным и которая еще не была пролита. Этой крови не хватало, чтобы закрепить новый порядок вещей, чтобы окончательно и бесповоротно разъединить прежнее третье сословие. И она потекла, эта священная кровь простых людей.

Поддерживая петицию кордельеров о низложении Людовика XVI, Неподкупный вместе с тем прекрасно понимал, что буржуазные хозяева Собрания и ратуши могут сделать из нее удобный повод для провокации. Робеспьер не скрыл своих опасений и высказал их в клубе 16 июля.

Законодатели шли именно этим путем. Они поспешили издать декрет, реабилитирующий короля. Декрет, помимо своего прямого назначения, имел целью превратить петицию в мятежный акт: с точки зрения правительства, всякое оспаривание нового закона становилось антиправительственным заговором, который можно и должно покарать! Прекрасный законовед и зоркий наблюдатель, Максимилиан не сомневался, что именно за этот довод ухватятся реакционные депутаты, давно жаждавшие свести счеты с ненавистным им народом. Поэтому, как только стало известно о декрете, комитет Якобинского клуба по настоятельному совету Робеспьера решил приостановить печатание текста петиции.

Однако было поздно.

С утра 17 июля Марсово поле заполнил народ. Как в праздничный день, мужья вели с собою жен, матери — детей. Продавщицы пряников и пирожков предлагали свой товар. Молодежь веселилась, развлекалась песнями и танцами. Все хорошо

помнили величественный и радостный Праздник федерации, который происходил здесь год назад.

В полдень появился посланец якобинцев. Он сообщил о решении своего клуба. Тогда по предложению руководителей кордельеров — Бонвиля, Робера, Шомета — тут же, на «алтаре отечества», была составлена новая петиция. Петиция заканчивалась словами: «Мы требуем принять во внимание, что преступление Людовика XVI доказано и что этот король отрекся от престола. Мы требуем, чтобы его отречение было принято. Необходимо созвать новое Учредительное собрание, чтобы приступить к суду над виновным и к организации новой исполнительной власти». Петицию подписали более шести тысяч человек.

Около двух часов дня прибыли муниципальные чиновники с целью разведать настроения толпы. Они были удовлетворены общим спокойствием, о чем, возвратившись, доложили муниципалитету. Однако кровавая длань уже была занесена над народом. В половине второго совет ратуши получил от Ламета, председателя Собрания, настойчивое требование применить силу; несколько позднее это требование было повторено. К пяти часам муниципальный совет постановил: ввести в действие военный закон. И вот Байи, опоясанный трехцветным шарфом, спускается со ступенек ратуши. Он ходит по рядам национальных гвардейцев, вызванных заранее на Гревскую площадь, и что-то шепчет на ухо каждому из офицеров. Отданы приказы, заряжены ружья, и буржуазная гвардия во главе с доблестным Лафайетом тронулась, громыхая пушками по мостовой.

Когда народ услышал барабанный бой и увидел отряды войск, раздались возгласы недоумения. Почему оцепляют выходы? Что хотят предпринимать? На одном из участков поля послышались крики: «Долой штыки!», и несколько камней полетело в гвардейцев. Прозвучал одинокий выстрел... Кем он был сделан? Провокатором? Байи отошел в сторону. Раздался первый залп. Ружья гвардейцев были направлены в воздух. По толпе прокатился гул: «Не трогайтесь с места! Стреляют холостыми зарядами!» Но тут последовал второй залп, который рассеял все сомнения: «алтарь отечества» обагрился кровью женщин и детей! Воздух огласили отчаянные вопли. Безоружная толпа бросилась бежать. Куда? Проходы были предусмотрительно заняты войсками. В дело вступила конница. Врезываясь в смятенную толпу, гвардейцы орудовали саблями...

...Все было кончено с наступлением темноты. На поле осталось несколько сотен убитых и раненых; ни один из «победителей» не пал в этой безопасной для них битве...

На обратном пути национальные гвардейцы, разгоряченные кровью своих жертв, изрыгали угрозы по адресу демократов. Проходя по улице Сент-Оноре, солдаты стали грозить Якобинскому клубу. Послышались предложения разгромить клуб пушечными выстрелами.

Заседание как раз окончилось, и якобинцы стали расходиться. Их провожали проклятиями и улюлюканьем. Вдруг на пороге появился Робеспьер. Почти одновременно прозвучало «Да здравствует Робеспьер!» и грубая брань... Что угрожало Неподкупному? Хотя он и не был непосредственно связан с делом Марсова поля, его слишком хорошо знали как вождя демократии.

В то время как преследуемый приветствиями и злобными криками Максимилиан переходил улицу Сент-Оноре, какой-то человек схватил его за руку и увлек под кровлю своего дома. Это был столяр Морис Дюпле, патриот и якобинец. Он уговорил Робеспьера остаться у него, переждать эти часы. Неподкупный согласился. Когда он захотел потом уйти, это оказалось невозможным; его стали горячо удерживать не только сам столяр, но и члены его семьи. Уговаривать долго не пришлось: Робеспьеру понравился скромный уклад жизни Дюпле, понравились люди, которые отнеслись к нему с такой заботой, и он без сожаления расстался с неуютным жилищем на улице Сентонж. Так дом Дюпле сделался его домом, а семья, в которую он столь неожиданно вошел, стала его семьей.

На следующий день Байи доложил с трибуны Собрания о событиях на Марсовом поле. То была смесь лжи и издевательств над жертвами расстрела. Собрание поздравило мэра, а Барнав высокопарно распространялся о верности и храбрости национальной гвардии.

Был принят декрет о суровом наказании «мятежников». Начались дни репрессий. Многие газеты, в том числе и газета Демулена, закрылись. Марат вновь ушел в подполье. Дантон эмигрировал в Англию.

Состояние растерянности, охватившее демократические круги, коснулось и Робеспьера. В эти дни он делает несколько неверных шагов. Кажется, будто он ищет примирения. С кем? С теми, против кого непримиримо боролся и будет бороться!.. Робеспьер — один из инициаторов посылки парламентеров к фельянам! С какой целью? Предложить... воссоединение! Он составляет проект письма в филиальные якобинские обще-

ства, в котором о кровавых событиях 17 июля говорится в духе христианского всепрощения: «Мы не намерены упрекать... мы можем проливать лишь слезы» и т. п. Подобным же елеем наполнено письмо, посланное им в Учредительное собрание от имени Якобинского клуба; читая это письмо, не хочешь верить, что оно принадлежит перу обличителя, который 21 июня клеймил тех же «мудрых», «твердых», «бдительных» депутатов как контрреволюционеров, служителей трона и врагов народных интересов!

Что все это? Мудрая политика, как считали одни, или минутный упадок духа и сил, как полагали другие? Если политика, то она слишком уж гибка и лицемерна, чтобы быть делом рук Неподкупного. А если слабость?..

Подобные моменты слабости не раз бывали у Робеспьера. Юрист по образованию и по призванию, Максимилиан был строгим законником. Он уважал закон даже в том случае, если считал его несправедливым. Он мог в очень резкой форме выступать против законопроекта, но очень редко поднимал голос против закона. Он не аристократ и, следовательно, не может побуждать к сопротивлению закону; спокойствие и порядок — вот, по его словам, принципы друзей революции. Он любил порядок, порядок во всем: об этом свидетельствовали и его внешний облик и весь его жизненный уклад.

И при этом он был страстным борцом! Противоречило ли одно другому? И да, и нет. Во всяком случае, несомненно, в жизни Максимилиана бывали моменты, когда наличие этих двух начал, вступавших в конфликт, приводило к минутной растерянности, к душевному упадку. Почти всегда борец побеждал законника, и в этом было величие Робеспьера! Никогда не участвуя лично в народном движении, никогда не руководя толпой на улице, великий демократ правильно указывал народу его цель и средства к достижению этой цели. Испытывая в качестве поборника закона определенную неловкость перед восстанием, ниспровергающим все старые устои, он имел мужество в положенный час выступить глашатаем этого восстания, умел оправдать его и направить всю свою энергию на закрепление его результатов.

Подобная двойственность, как и целый ряд других противоречий и слабых сторон программы и деятельности Максимилиана Робеспьера, в конечном итоге вытекала из его классовой принадлежности, из общего положения и места той социальной прослойки, интересы которой он и возглавляемая им партия защищали и охраняли в первую очередь.

Расстрел на Марсовом поле оказался событием большой политической важности. Им закончился первый этап революции. Он означал — впервые с начала борьбы — подлинный раскол бывшего третьего сословия: одна его часть с оружием в руках пыталась подавить другую и пролила ее кровь. Это было невозможно забыть. До сих пор народ поддерживал крупную буржуазию и обеспечил ей господствующее положение. Теперь пелена спала с глаз победителей Бастилии, рассеялись их иллюзии, стало ясно, что пути народа и крупных собственников — разные пути.

То, что Робеспьер раскрыл народу в своих речах, кровавые действия буржуазии доказали на деле. Борьба вступала в новую фазу. Тщетно вопили напуганные идеологи вроде Барнава или Дюпора о том, что революцию надо остановить. Остановить ее было невозможно!..

Конец заседаний Учредительного собрания неуклонно приближался. Основная цель его трудов — выработка конституции — была достигнута.

13 сентября конституцию дали на подпись реабилитированному королю. Людовик XVI использовал случай, чтобы предъявить в письменной форме лживейшее объяснение своих предыдущих поступков, включая попытку бегства.

Собрание, как обычно, продемонстрировало верноподданнические чувства: все было забыто и прощено. Воспрянувшие духом контрреволюционеры устраивали монархические манифестации. В театрах возобновились постановки роялистских пьес. 30 сентября, в день закрытия Учредительного собрания, депутаты встретили Людовика XVI криками: «Да здравствует король!»

Король, в свою очередь, поспешил подчеркнуть то же, что недавно вещал Барнав: «Наступил конец революции!»

И лишь один депутат осмелился заявить: «Нам предстоит снова впасть в прежнее рабство или снова браться за оружие!»

Этим депутатом был Максимилиан Робеспьер.

Часть II

ПРОТИВ ЖИРОНДЫ

Глава 1

Друзья или враги!

1 октября 1791 года начало свою сессию новое Законодательное собрание.

А 13 октября Максимилиан Робеспьер занял место в почтовой карете, отправлявшейся на север. Отдых! Два с половиной года неустанного труда, без единой передышки, пролетели как во сне. Но что это был за сон! Кошмар, ломавший тело и терзавший душу, борьба с горечью многих поражений и с бледным призраком победы. Он верил в нее, в желанную и неизбежную победу, но как до нее было еще далеко!..

Максимилиан закрыл глаза и засмеялся беззвучным смехом. А может быть, и не так уж далеко? Может быть, гораздо ближе, чем кажется на первый взгляд? Ибо раздувшееся от спеси Учредительное собрание лопнуло как мыльный пузырь. Оно закончило свою эгоистическую деятельность самоубийством, и он, Робеспьер, был тому причиной! Ведь именно после его речи был проведен декрет, согласно которому члены старого Собрания не могли быть переизбраны. А это значило, что всякие барнавы, ламеты, ле-шапелье и иже с ними должны были исчезнуть с главной политической арены. Все те, кто хотел остановить революцию, были вынуждены сами убраться с ее дороги, предоставив место другим. Триумф «героев» кровавого дня 17 июля был также непродолжительным. Первым получил возмездие блистательный Лафайет: его отстранили от должности начальника национальной гвардии под предлогом упразднения этой должности, и, преследуемый презрительными шутками, генерал уехал в свое поместье. Потеряв шпагу, недолго протянул и многомудрый Байи: он подал в отставку. Было много шансов, что на его место парижане изберут Петиона.

Максимилиан не без удовольствия вспоминает день 30 сентября — последний день работы Учредительного собрания. Толпы народа ждали своих любимых депутатов много часов подряд. И когда Робеспьер с Петионом показались на пороге, труженики Парижа приветствовали их восторженными криками.

Им надели на головы венки из дубовых листьев, их подхватили на руки. Отовсюду слышались крики: «Да здравствуют непоколебимые законодатели! Да здравствуют неподкупные депутаты!» Желая избегнуть дальнейших проявлений народной благодарности, оба депутата пытались укрыться в наемном экипаже; но окружавшие их тотчас же распрягли лошадей, чтобы самим везти своих избранников! С немалым трудом Максимилиан уговорил толпу отказаться от этой затеи; депутаты покинули экипаж и пошли пешком, а манифестанты сопровождали их с песнями до самых дверей их жилищ.

«На третий или четвертый день работы Законодательного собрания, — пишет Антуан Барнав, — я отправился посмотреть его. Все сидевшие на галереях обернулись в мою сторону с видимым чувством доброжелательства, и если бы один человек начал, быть может, раздались бы общие аплодисменты. Три недели спустя я вторично посетил его и был совершенно осмеян, особенно когда вышел через двери Фельянского клуба...»[1].

Такова была судьба прежних кумиров: их ждали осмеяние и забвение.

Новые люди размещались в Тюильрийском манеже; новые партии и группировки нетерпеливо рвались померяться силами.

Законодательное собрание отличалось сравнительной однородностью состава. Его члены, как правило, вышли из рядов выборной администрации, созданной в предшествующие годы. Это была новая буржуазная интеллигенция: писатели, журналисты, адвокаты. Зато не в пример старой Ассамблее здесь почти не оказалось бывших дворян и епископов.

Левая Собрания состояла из меньшинства в сто тридцать шесть депутатов, главным образом членов Якобинского клуба и Клуба кордельеров. Она распадалась на две группы соответственно группировкам, сложившимся среди якобинцев. Ее подавляющую часть составляли сторонники Бриссо, которых позднее стали называть жирондистами[2].

Группа единомышленников Робеспьера была представлена лишь несколькими депутатами. Из них вскоре выделился умный и проницательный Жорж Кутон. Ни Марат, ни Демулен, ни Дантон не были избраны в новую Ассамблею.

---

[1] Клуб фельянов находился в том же помещении, что и Ассамблея.

[2] По имени департамента Жиронды, откуда были избраны многие видные депутаты этой группы.

Бриссо и его товарищи очень беспокоили Робеспьера. Кто они? Друзья или враги? До сих пор они шли одной дорогой. Они вместе боролись против конституционалистов, вместе срывали маски с Барнава, вместе отстаивали единство и идейные заповеди Общества друзей конституции. Но дальше? Что будет дальше? Как поведут себя эти люди, возглавив левую Законодательного собрания?..

Жирондисты экономически были связаны с сильной и богатой буржуазией юга и юго-запада Франции.

Среди них имелись выдающиеся организаторы, а по части ораторского искусства их лидеры не знали равных.

Один Бриссо стоил целой армии. Человек бесшабашный в личной жизни, в делах партийных он был резким, честолюбивым, способным на хитрость, лицемерие и любую интригу. Впрочем, всю «многогранность» своего характера Бриссо раскрыл не сразу. Массы, увлеченные его демагогией, долго верили чистоте взглядов и поступков вождя жирондистов.

Но главной их ораторской силой был, бесспорно, Пьер Верньо. Этот мешковатый, ничем не привлекательный внешне человек совершенно преображался на трибуне, покоряя слушателей мощью и страстностью своего слова. Современники часто сравнивали его с Мирабо. Многие жирондисты считали Верньо своим главой; однако он совершенно не подходил к роли вожака партии. Вялый и апатичный, он не был способен к длительной упорной борьбе; его талант проявлялся в виде вспышек молнии, чередующихся с полусонным состоянием.

После Верньо самым заметным оратором Жиронды был Эли Гюаде. В отличие от Верньо, всегда полный жизни, он казался человеком действия. Запальчивый, гневный и раздражительный, Гюаде искренне ненавидел своих врагов и стремился причинить им как можно больше зла; его считали одним из наиболее опасных лидеров партии.

Незаурядными ораторскими способностями обладали также бордосец Жансоне и провансалец Инар.

Несколько особняком среди жирондистов стоял математик и философ, член Парижской и Петербургской академий наук, бывший маркиз Кондорсе. Последний представитель блестящей плеяды энциклопедистов, он знавал еще Вольтера, д'Аламбера, Дидро и сотрудничал с ними. В период вареннского кризиса Кондорсе оказался в числе пионеров республиканского движения. В Законодательном собрании он должен был сблизиться с жирондистами, преклонявшимися перед философией XVIII века, и действительно сблизился с ними. Плохой оратор, всегда чувствовавший себя стесненно на трибуне, он

помогал жирондистам своим умом и познаниями, став, как и Бриссо, одним из идеологов партии.

Таковы были люди, которым вскоре предстояло войти в силу и сделаться господами положения. Они тем скорее вытесняли из памяти современников впечатления о Мирабо, Барнаве или Байи, чем деятельнее и шире осваивали демагогические приемы воздействия на массы.

Максимилиан со свойственным ему острым политическим чутьем предвидел будущее. Поэтому-то он и покидал Париж с тяжелым сердцем. Впрочем, сейчас он старался гнать от себя неприятные мысли. Впереди были родной Аррас, широкие просторы полей и лесов, долгожданный отдых среди милых и близких людей.

Он заблаговременно известил Шарлотту о дне своего приезда. Однако, не желая излишнего шума и торжественной встречи, просил сохранять это в тайне. Предосторожность не помогла. Сестра не утерпела и поделилась своим секретом с госпожой Бюиссар. Передаваемая из уст в уста новость стала всеобщим достоянием.

Робеспьер едет в Аррас! Неподкупный собирается проводить отпуск в родной провинции! Не все были обрадованы этим известием. Судейская аристократия из Совета Артуа, всегда ненавидевшая молодого адвоката, изощрялась в злоречии и старалась подготовить «де Робеспьеру-старшему» достойную встречу. Господа Девьенн, Либорель, Рюзе и другие вспоминали, как бледно начинал этот «выкормыш Руссо». Жалкий адвокатишка, за восемь лет едва выступивший сто раз на суде, десять раз получивший отказ в иске и тридцать раз приговоренный к уплате издержек! Подумаешь, как он воспарил! Все помнили, что этот нищий, когда его избрали в Генеральные штаты, не имел средств, чтобы выехать в Версаль, и вынужден был занять чемодан и десять луидоров у монастырского учителя Фуше. Его, правда, — хе-хе! — как следует пропесочили в Национальном собрании... Прокурор Рюзе заботливо хранил и выучивал наизусть вырезки из газет, в которых ораторы прежней Ассамблеи смешивали с грязью «аррасскую свечу»... Но он и не подумал облагоразумиться! Он продолжает свое. И этот выскочка рассчитывает на хорошую встречу. Он ошибается! Его встретят полным пренебрежением...

Однако простые люди Артуа думали иначе, и вскоре недоброжелателям Максимилиана пришлось в этом убедиться.

Путь из Парижа в Аррас был подлинным триумфальным шествием. По прибытии в Бапом Максимилиан увидел огромную толпу местных патриотов и национальных гвардейцев, которая преподнесла ему гражданский венок и выразила желание сопровождать до места следования. Здесь, в Бапоме, его уже второй день ожидали Шарлотта и Огюстен. Сразу двинуться дальше не удалось: администрация, вынужденная считаться с требованиями народа, устроила банкет в честь Неподкупного. От Бапома до Арраса, на протяжении более пяти лье, экипаж Максимилиана, сопровождаемый национальной гвардией, двигался среди толпы, собравшейся из всех окрестных мест. Приветствия, крики: «Да здравствует Робеспьер! Да здравствует защитник народа!» — не смолкали. В полулье от Арраса толпа сделалась настолько густой, что были вынуждены с рыси перейти на шаг. Несмотря на все противодействие врагов, Аррас встречал своего великого гражданина с исключительной сердечностью. Как и в Париже в день 30 сентября, его экипаж распрягли, чтобы везти на себе. Робеспьер вышел из кареты. Тогда под тысячи «браво!» его подхватили на руки. Вечером, несмотря на категорический запрет городских властей, в честь депутата-патриота была устроена иллюминация.

— Смотрите, сударь, — говорил хорошо одетый господин своему брюзгливому соседу, — его встречают с большей торжественностью, чем короля!

— Да, вы правы, — с горечью ответил сосед. — Нам никто не оказывал такого почета, когда мы вступали в наши должности!

Робеспьер оставался в Аррасе недолго. Он уехал в одну из соседних деревень, чтобы укрыться от докучных восторгов и поразмыслить на досуге о прошедшем и будущем. В деревне он пробыл около месяца. Это был последний отдых в его жизни.

Впрочем, можно ли назвать это отдыхом? Да и мог ли Неподкупный отдыхать, зная, что народ, за счастье которого он боролся, продолжает терпеть страдания?

Во время своих уединенных прогулок Максимилиан невольно вспоминал детство: он снова видел настоящие горе и нужду. Он воочию убедился, сколь ничтожными были для народа плоды аграрного законодательства Учредительного собрания. Он видел земельную тесноту, в которой задыхались бедняки, слышал проклятия по адресу помещиков и буржуа, нажившихся на распродаже национальных имуществ. Он не мог не заметить, что крестьянин, как и прежде, изнемогал под гнетом неотмененных

феодальных повинностей... А голод? А дороговизна, возраставшая с каждым днем? Обесценение бумажных денег, наводнивших город и деревню, исчезновение сахара, кофе, чая и других товаров... И главное — хлеб, хлеб, которого по-прежнему было мало, который становился похожим на глину и все сильнее дорожал. В чем причина этого? Как превозмочь эти невероятные трудности? Мозг Максимилиана напряженно работал. Быть может, именно в эти дни рассеивались монархические иллюзии Неподкупного, быть может, именно теперь он начал задумываться о республике. Действительно, можно ли было устранить следствия, не устранив причины? Можно ли было стабилизировать положение в стране, не убрав основной преграды, которая постоянно мешала, во имя которой непрерывно пускала все более глубокие корни неумолимая контрреволюция?

Главной ее цитаделью, бесспорно, оставался королевский двор с цивильным листом и многочисленной тайной агентурой. Агенты двора не только подкупали депутатов и стремились овладеть настроениями законодательной власти. Они вызывали экономический саботаж, содействовали распространению провокационных слухов, широко используя положение голодающей бедноты. Одним из боевых отрядов двора был легион священников. Духовенство, не присягнувшее конституции, в своих проповедях поносило новые порядки.

Максимилиан видел собственными глазами, как неприсяжные священники ловили крестьян на «чудеса исцеления». Он убеждался, что в Париже очень мало знали о власти провинциального духовенства и его подрывной деятельности.

«...Почти все ораторы Национального собрания, — писал он своему другу в столицу, — ошибались в вопросе о духовенстве. Они рассуждали, как риторы, о веротерпимости и о свободе религиозных культов. Они видели лишь вопросы философии и религии там, где дело касалось революции и политики. Они не замечали, что везде, где священник-аристократ находит слушателя, он проповедует деспотизм и контрреволюцию, делая вид, будто отстаивает религиозные взгляды...»

Не эти ли строки, опубликованные в парижской прессе, явились одним из толчков к принятию Законодательным собранием декрета против неприсяжных священников?

Но двор был не только естественным центром внутренней контрреволюции: от королевской семьи и ее окружения тянулись многие незримые нити к контрреволюции внешней, угроза которой начинала становиться все более реальной.

Французская революция произвела огромное впечатление на соседние страны. Передовые люди Англии, Испании, России, Италии, Германии, Соединенных Штатов восприняли ее с сочувствием и энтузиазмом. Она оказала непосредственное влияние на развитие национальной борьбы в Бельгии против гнета австрийских Габсбургов, борьбы, перешедшей затем в бельгийскую буржуазную революцию. Революционное движение развернулось в ряде областей Германии, в Северной Италии, в Венгрии, в Чехии, в Польше. Естественно, что реакционные правительства европейских государств, в первую очередь правительства Австрии, Пруссии, Англии и России, были обеспокоены событиями во Франции. Положение осложнял нескончаемый поток эмигрантов, обивавших пороги европейских монархов с призывами к выступлению против «взбунтовавшейся черни». К 1791 году местом скопления и наиболее активной деятельности беглых аристократов стал пограничный город Кобленц. Принцы и князья, возглавлявшие кобленцкую эмиграцию, вели себя вызывающе. Брат короля, граф Прованский, на основании того, что Людовик XVI находился якобы в плену у бунтовщиков, объявил себя регентом Франции. Принц Конде создал пятнадцатитысячную армию и грозил вторжением. Королевская семья и в особенности Мария Антуанетта после вареннской неудачи все свои чаяния и надежды возлагали на иностранную помощь. Для виду публично осуждая действия эмигрантов и их зарубежных покровителей, король и королева поддерживали с ними тайные связи и с нетерпением ждали их вступления в голодную, обескровленную страну.

Европейские державы готовились к интервенции. Они начали с подавления революции в Бельгии, и этот первый успех окрылил их. 27 августа 1791 года в замке Пильниц, в Саксонии, австрийский император подписал с прусским королем декларацию о совместных действиях в помощь французскому престолу. Этот акт подготовил складывание первой коалиции абсолютистских сил Европы. За Австрией и Пруссией стояли реакционные правительства Англии, России и других государств, согласных поддержать эмигрантов и принять участие в разгроме «мятежа».

Все это заставило нерешительное Собрание перейти в контратаку.

В то время когда Робеспьер все еще находился в деревне, в начале ноября 1791 года, левая Законодательного собрания подняла вопрос об эмигрантах. Главные лидеры жирондистов — Бриссо, Верньо, Инар — показали свое блестящее красноре-

чие при обсуждении этой проблемы. Они требовали от правительства решительных мер против эмигрантов. Несмотря на сопротивление фельянов, они добились декрета, объявлявшего всех злостных эмигрантов изменниками родины. Король наложил вето на этот декрет, как и на декрет против неприсяжных священников. Атмосфера сгущалась. На горизонте все явственнее вырисовывался призрак войны.

Максимилиан, с тревогой следивший за всем из глуши своего уединения, не мог более пребывать в бездействии. 17 ноября он пишет Морису Дюпле, что намерен вернуться в столицу, и действительно через одиннадцать дней спускается с подножки почтового дилижанса на парижскую мостовую. Днем 28 ноября он обедает в роскошном особняке нового мэра — Петиона и приходит к выводу, что душа его соратника «по-прежнему проста и чиста», а вечером вновь переступает после шестинедельного перерыва порог библиотеки якобинского монастыря. Якобинцы с восторгом встречают своего вождя.

Но овации никогда не опьяняли Неподкупного. Он присматривается и прислушивается к тому, что происходит вокруг. Что это? Повсюду бряцание оружием... Сабли! Пушки!.. Знамена!.. Победы!..

Робеспьер слушает и делает заметки в своем блокноте.

На следующий день с трибуны Ассамблеи жирондист Инар произносит речь, отозвавшуюся во многих сердцах, как призывный звук военного горна:

— Не думайте, будто наше положение не позволяет нам наносить сильные удары: народ, творящий революцию, непобедим; знамя свободы — победное знамя; минута, когда народ одушевляется страстью к нему, есть минута жертв, минута отречения от всех интересов, минута грозного взрыва воинственного восторга!

...Скажем Европе, что если правительства вовлекут государей в войну против народов, мы вовлечем народы в войну против государей!

...Скажем, что десять миллионов французов, пылающих огнем свободы, вооруженных мечом, пером, разумом, красноречием, могли бы — если их раздражить — одними собственными силами изменить лицо земли и заставить всех тиранов дрожать на их глиняных тронах!..

Аплодисменты прерывают голос оратора. Собрание решает напечатать речь и разослать ее по департаментам.

И вдруг среди гула воинственных восторгов, среди опьяненных призывов и победных прогнозов неожиданно раздается холодный и спокойный голос:

— Самая странная идея, которая может зародиться в голове политика, — это верить, что народу достаточно проникнуть с оружием в руках к соседнему народу, чтобы заставить его принять свои законы и свое государственное устройство. Никто не любит вооруженных миссионеров, и первый совет, который дают природа и благоразумие, — выгнать их, как врагов...

Прежде чем вторгаться в политику и во владения государей Европы, обратите ваши взгляды на внутреннее положение страны; приведите в порядок дела у себя, прежде чем нести свободу другим!..

Эти слова, выплеснутые, подобно ушату ледяной воды, на разгоряченные головы, принадлежали Максимилиану Робеспьеру. Ими Неподкупный начал свою долгую кровопролитную борьбу против Жиронды.

Глава 2

Война объявлена

Позиция, занятая Робеспьером, определялась весьма серьезными соображениями.

Война — Максимилиан понимал это — была неизбежна. Контрреволюционная коалиция складывалась; она была твердо намерена уничтожить ненавистный ей очаг революционной заразы. Весь вопрос заключался лишь в том, когда, при каких условиях война начнется и какой она будет.

Король и его окружение стремились развязать войну незамедлительно. Недооценивая патриотизм и решимость народа, роялисты смотрели на войну как на удобный предлог для окружения двора армией. Опираясь на офицерский состав, монарх смог бы, по их мнению, своим присутствием и ловкими щедротами завоевать симпатии солдат, и тогда исход войны был бы для него безразличен: если война окажется победоносной, то, опираясь на армию, он раздавит революцию, а если война будет неудачной, то он раздавит революцию, опираясь на интервентов!

Жирондисты также желали скорейшего начала войны, причем якобы мечтали о мировом пожаре. Они хотели потрясать троны и экспортировать революцию соседним народам. Их пропаганда могла разжечь — и действительно разожгла — воинственный

энтузиазм трудящихся масс. Однако под внешним блеском жирондистского красноречия скрывалась эгоистическая и тонко продуманная политика, толкавшая народ на авантюру. Заботясь на словах о низвержении деспотизма и расширении революционного движения, на деле жирондисты помышляли лишь о расширении своих экономических возможностей за счет захвата северо-восточных пограничных территорий. Призывая на словах к спасению нации, на деле они стремились лишь отвлечь массы от внутренних проблем и этим облегчить установление своего господства.

Робеспьер прекрасно понял и короля, и фельянов, и жирондистов. Он был далек от опьянения Инара и его друзей. Ему глубоко претила мысль о насильственном навязывании другим народам чуждого им строя. При этом, отнюдь не представляя себе войну в виде воскресной прогулки под звуки фанфар, Робеспьер считал крайне неразумным ее ускорение. Четырежды выступал Неподкупный в Якобинском клубе против войны. 18 декабря он особенно четко сформулировал свою точку зрения и вскрыл истинную подоплеку махинаций реакционеров.

— Я тоже хочу войны, — сказал он, — но войны такой, какую требуют интересы нации: укротим сперва наших внутренних врагов, а потом двинемся против врагов внешних...

— Существуют ли у нас враги внутри страны? — обращался он к жирондистам. — Вы их не признаете, вы признаете только Кобленц... Знайте же, что, по мнению всех осмотрительных французов, подлинный Кобленц находится во Франции...

Подчеркнув, что самого опасного врага следует искать поблизости, в центре Парижа, около трона, на самом троне, Неподкупный раскрыл картину заговора, составленного двором и фельянами. Он разоблачил военного министра Нарбонна, стремившегося создать армию в качестве силы для подавления революции. Он показал, как в сложившихся условиях, когда королевские вето поощряют реакционное духовенство и предателей-дворян, любая внешняя война неизбежно осложнится внутренней, междоусобной войной, а также войной религиозной, что сделает достижение победы весьма маловероятным. И он, возражая против объявления войны, требовал в первую очередь вооружения народа.

Это выступление Робеспьера привело жирондистов в ярость: оно не могло не ослабить эффекта их зажигательных призывов. Бриссо ответил Максимилиану руганью и клеветой; попут-

но он выгораживал Нарбонна и защищал двор. Тогда 11 января 1792 года Неподкупный выступил с новой речью. В ней не было ни брани, ни клеветы. Она была построена по принципам той железной логики, которую трибун пускал в ход всякий раз, когда занимался особенно серьезной проблемой.

Робеспьер заявил, что готов согласиться с требованиями жирондистов. Мало того, теперь он сам требует войны, если не как акта мудрости, то хотя бы как акта отчаяния. Но он ставит условие, совпадающее с тем, о чем неоднократно кричали их ораторы: он требует, чтобы войну объявил дух свободы и чтобы вел ее сам французский народ.

Такое вступление всех заставляет насторожиться: неужели Неподкупный сдает позиции? Неужели он действительно готов столковаться со своими вчерашними противниками? Эта мысль тотчас же отпадает, как только оратор начинает рассматривать пункт за пунктом реальность выполнения поставленного им условия.

Чтобы вести подлинную народно-освободительную войну, необходимо иметь армию и военачальника.

Но где же военачальник, который был бы неизменным охранителем прав народа и врагом тирании? Где полководец, чьи руки не были бы запятнаны кровью и придворными подачками? Оратор его не видит...

Сформировать армию нужно из преданных революции людей, победителей Бастилии, солдат, первыми перешедших на сторону свободы. Но где они? Их нет. Их развеяли голод, нищета, гонения, они расстреляны на Марсовом поле или томятся в оковах... Может быть, в таком случае собрать всех национальных гвардейцев? Но, оказывается, они не имеют ни обмундирования, ни оружия, их начальство сделало все для того, чтобы их обессилить...

Хорошо! Пусть все это так! Оратор верит в несгибаемую силу народного духа! Пусть соберутся все, кто есть, голые и голодные, третируемые и безоружные. Можно объединить все состояния и купить оружие, можно проявить нечеловеческие усилия и драться разутыми и раздетыми! Лишь бы только народ сам объявил и сам вел эту войну!..

Здесь Робеспьер вдруг замолкает и делает вид, будто прислушивается. На лице его написано удивление.

— Но что это? Оказывается, все ораторы за войну останавливают меня. Вот господин Бриссо говорит мне, что руководить нами должен граф Нарбонн, что поход надо совершить под начальством маркиза Лафайета, что вести нацию к победе подобает исполнительной власти...

О французы! Эти слова разбили все мои мечты, уничтожили все мои планы! Прощай, свобода народов!..

Говорю прямо: если война в том виде, в каком я ее представил, неосуществима, если нам следует согласиться на войну, ведомую двором, министрами, патрициями и интриганами, то я, ничуть не веря во всемирную свободу, не верю даже и в свободу вашу. Все, что мы можем сделать, — это защищать родину от вероломства внутренних врагов, которые убаюкивают вас сладкими песнями...

В Якобинском клубе, где Неподкупный опять одерживал победу, в Париже и повсюду в стране эта речь произвела глубокое впечатление. На миг затихли даже лидеры Жиронды. На следующем заседании клуба Бриссо, чувствуя двусмысленность своей позиции, в волнении сказал:

— Умоляю господина Робеспьера кончить столь скандальную борьбу, которая выгодна только для врагов общественного блага...

Тогда Максимилиан обнял Бриссо, и враги расцеловались.

Но, открывая объятия своему политическому противнику, Максимилиан хотел лишь показать, что не смешивает личных и партийных отношений.

— Пусть наш союз, — сказал он, — зиждется на священной основе патриотизма и добродетели; мы будем бороться, как свободные люди, энергично, с прямотой, но с уважением и чувством дружбы.

Неподкупный еще раз оказался триумфатором. И если в начале своей кампании против войны он был одинок, то теперь его поддерживали такие закаленные якобинцы, как Марат, Демулен, Сантер и Билло-Варен.

Однако реальная сила медленно, но верно сосредоточивалась в руках жирондистов. Их красноречие и, главное, направление их политики уже начинали пленять Собрание. В их руках были главные муниципальные должности в провинциях и в столице; сам парижский мэр проявлял к ним благоволение. Если в начале сессии новой Ассамблеи большинство их лидеров были малоизвестны, то теперь их голоса гремели и в Собрании и в Якобинском клубе. Двор, предвкушая скорое осуществление своей заветной мечты, для виду готов был расшаркаться перед теми, кто стремился претворить его мечту в действительность. В марте 1792 года король согласился сфор-

мировать министерство из жирондистов. Это была вершина их могущества! Главные роли в новом министерстве играли министр внутренних дел Ролан и министр иностранных дел Дюмурье. Впрочем, первый из них прославился преимущественно как муж госпожи Ролан. Деятель недалекий и ограниченный, он был креатурой Бриссо и своей жены. Иное дело — Дюмурье. Этот невысокий смуглый человек с лживым и мягким взором, вкрадчивой, но решительной речью и галантными манерами казался одаренным и, главное, умел произвести впечатление на окружающих. Конечно, новое министерство шокировало двор. Его прозвали «министерством санкюлотов». Когда долговязый Ролан с прилизанными волосами, в черном фраке и туфлях с тесемками первый раз появился на заседании совета министров, смущенный церемониймейстер подошел к Дюмурье и, указывая глазами на столь конфузное отступление от этикета, тихо сказал:

— Ах, даже нет пряжек на башмаках!

— О! — с полнейшей невозмутимостью ответил министр иностранных дел. — Все погибло!

Жирондисты упивались своей славой. Их политическим центром стал салон госпожи Ролан, умной, честолюбивой и красивой женщины, умевшей в непринужденной беседе за чашкой кофе организовать обсуждение вопросов, связанных с политикой и тактикой жирондистской партии. Манон Ролан давала частые обеды, на которых встречались новые министры и лидеры Собрания — ведущие депутаты Жиронды. Их влияние увеличивалось с каждым днем, и министерство чувствовало себя под охраной их красноречия как за каменной стеной.

Но если жирондисты были сильны своим влиянием в Ассамблее и ратуше, если в их руках сосредоточивались министерские должности, то главную мощь — мощь на час — им создавала поддержка народа, который был увлечен ими и который им пока безусловно верил.

Тяжелое экономическое положение, в котором уже давно находилась Франция, резко ухудшилось с начала нового, 1792 года. Эмиграция духовной и светской аристократии понизила спрос на предметы роскоши, производство которых прежде занимало одно из первых мест во французской промышленности. Мелкие и средние предприниматели начали разоряться. Одновременно сократился объем строительных работ. Тысячи рабочих потеряли грошовую заработную плату и оказались выброшенными на улицу. Неуклонно продолжал падать уровень

жизни сельского населения. Цены не переставали расти, хлеба не было, сахар исчезал.

Уже в январе 1792 года начались волнения рабочих и ремесленников. В ряде кварталов столицы голодные бедняки громили лавки и склады, добиваясь, чтобы торговцы продавали продукты по твердым ценам. Продовольственные волнения охватили многие районы страны. В Париже и в провинции сельская и городская беднота требовала нормированных цен на хлеб, зерно, сахар.

9 марта 1792 года мэр города Этампа Симоно отдал приказ стрелять по толпе. Возмутившиеся бедняки убили его. Дело Симоно на какой-то момент привлекло всеобщее внимание. Священник-якобинец Доливье отправил в Ассамблею послание от имени граждан Этампа, оправдывавшее и теоретически обосновывавшее движение бедноты. Он осуждал чрезмерное скопление богатств в руках частных лиц, призывал к нормировке цен и протестовал против неприкосновенности земельных владений крупных собственников.

Но Законодательное собрание осталось глухо к справедливым требованиям народа. Несмотря на протесты Робеспьера и Марата, оно увековечило память этампского мэра, но встретило молчанием адрес Доливье.

Только Робеспьер в газете «Защитник конституции», которую он начал издавать в это время, напечатал петицию этампского священника и снабдил ее своими комментариями.

Что касается жирондистов, то они решили использовать народные бедствия на свой манер. Они стали на путь откровенной демагогии. Не сделав ничего для облегчения повсеместной нужды, не предложив ни одной меры к ослаблению тисков голода, они начали пропаганду немедленной войны, считая ее могучим средством отвлечения масс от наболевших социальных вопросов. И здесь они попали в точку. Народ видел грубые провокации со стороны эмигрантов и поддерживавших их реакционных европейских правительств. Народ верил, что вся его нужда, все его бедствия — прямой результат этих провокаций. И разве трудно было доказать людям, охваченным патриотизмом и горячим желанием дать отпор вероломному врагу, что этот отпор следует дать немедленно, прежде чем будут разрешены внутренние проблемы?

Вместе с тем — и в этом заключалась другая сторона жирондистской демагогии — в отличие от фельянов, афишировавших свое пренебрежение к простому люду, жирондисты умели подделываться под настроения толпы.

Они выпустили своеобразный манифест в виде письма Пе-

тиона к Бюзо, в котором указывали на союз народа с буржуазией как на главное средство общественного спасения. Согласно этому манифесту «буржуазия и народ должны были слиться воедино». Если прежние господа — либеральная буржуазия и дворянство, расстреливая народ на Марсовом поле, вызвали раскол третьего сословия, то новые собственники — буржуазия, идущая под флагом жирондизма, — демагогически вновь пытались его скрепить.

И одно выражение, которое должно было насторожить внимательного читателя: «Буржуазия и народ, — писал Петион, — совершили революцию; только их единство может сохранить ее». Значит, сохранить, а не завершить! Ибо жирондисты, пробираясь к власти, уже начинали подумывать о сохранении достигнутого; пройдет время — Петион и Бриссо заявят об этом не менее решительно, чем некогда Барнав!

Призывая народ к единению с буржуазией, жирондисты развлекали и отвлекали его побрякушками.

Они ввели в моду слово «санкюлот», чтобы хвастаться своим «санкюлотизмом», своей демократичностью; они ввели в моду красный колпак, чтобы, надев этот головной убор на народ и на себя, показать, как они близки к народу! Бриссо стал расхваливать красный колпак в своей газете, «потому что он веселит, выделяет лицо, делает его более открытым, более уверенным, покрывает голову, не пряча ее, красиво оттеняет природное достоинство и поддается всякого рода украшениям...»

Истинный демократ, Робеспьер до глубины души возмущался всем этим шутовством и подлизыванием к народу. Он ясно видел: цель жирондистов была одна — развязать войну, и развязать как можно скорее.

Робеспьер понимал, что их призывы не более чем авантюра. Он знал, что войной не уменьшишь голода и спекуляции, а, напротив, лишь увеличишь их. Он видел, что народ к войне не готов, что внутри страны поднимает голову контрреволюция, что во главе армии ставят генералов-предателей. Он не сомневался, что в этих условиях война с самого начала ознаменуется поражениями, которые, взбодрив силы реакции, могут привести к гражданской войне и к удушению революции. Он чувствовал все это и своими бессмертными речами, написанными кровью сердца, предостерегал народ!

Но чего он не разглядел — а этого пока не разглядел никто, — так это всей силы народного воодушевления, всей глубины народного патриотизма, всего величия народного терпения и всей мощи народного гнева. Народу, воодушевленному ложным порывом, который зародили жирондисты, было суждено

перед достижением победы пройти гораздо более тяжелый, несравненно более опасный и значительно более кровавый путь, чем тот, на который звал его Неподкупный. Но народ этот путь прошел и победы достиг!

Война была объявлена 20 апреля 1792 года. Провозглашая войну австрийскому императору, Законодательное собрание приветствовало фразу оратора левой Мерлена из Тионвиля: «Объявим войну государям и мир народам».

Итак, война началась! Робеспьеру и его единомышленникам не удалось предотвратить ее слишком быстрый приход. Но раз дело сделано, не время жалеть о прошедшем. И теперь Неподкупный обращает всю энергию на воодушевление народа к мужественной борьбе с неприятелем, к достижению быстрой и полной победы. Теперь волею обстоятельств план был изменен: раз не удалось сокрушить врага внутреннего до столкновения с врагом внешним — осталось мобилизовать все силы против коалиции, грудью защитить свободу и затем повести революцию по пути к республике!

Глава 3

Отечество в опасности

Война! Сколько сокровенного смысла в этом коротком зловещем слове! Сколько ужаса, слез, крови, безнадежности! Разрушенные города, сожженные деревни, нескошенные поля, голодные семьи, лишенные кормильцев... Горе, смерть, уничтожение повсюду сопутствуют роковому призраку войны и остаются там, где этот призрак проходит.

Видел ли все это французский народ в день, когда был принят декрет о войне? Догадывался ли он, что, начиная с этого дня, война четверть века подряд будет потрясать Европу? Французский народ воспринял декрет с восторгом и воодушевлением. Патриоты, рукоплескавшие Собранию и жирондистам, ждали успешной и короткой войны, которая сокрушит троны и даст мир народам. Армия тиранов, согласно вещаниям Бриссо и его друзей, с первых же дней должна была дрогнуть и отступить. Но получилось иначе. Отступать начала французская армия, причем в ряде случаев отступать, не придя даже в соприкосновение с противником.

Робеспьер знал, что делает, когда говорил о «внутреннем

Кобленце», когда требовал отставки генералитета и вооружения народа. Худшие опасения Неподкупного не замедлили оправдаться.

Вопреки заверениям военного министра французская армия не была готова к войне. Ее даже полностью не отмобилизовали. Солдатам не хватало оружия и снаряжения. Роты добровольцев умышленно не обучались и не вводились в строй. Двор сумел тайно передать австрийцам план военной кампании. Генералы, командовавшие армиями, — Рошамбо, Лафайет и Люкнер — были предателями. Рошамбо — больной, апатичный старик, преклонявшийся перед австрийским генеральным штабом, писал королю, что следовало бы подождать несколько дней с началом военных действий, пока силы австрийцев полностью развернутся. Вскоре он подал в отставку. Лафайета многие называли Кромвелем; в действительности он готовился сыграть роль Монка[1], еще до начала операций он составил план «спасения» короля и разгона «бунтовщиков». Контрреволюционное офицерье помогало заговорщикам-генералам. Предаваемые своими командирами, не подготовленные к войне, солдаты отступали по всему фронту, и только отсутствие четкой согласованности между Австрией и Пруссией, которые не успели развернуть и сосредоточить военные силы на Рейне и в Нидерландах, спасло Францию от немедленной катастрофы.

Вести с фронта произвели ошеломляющее впечатление. Народ был беспредельно возмущен. Смутились и жирондисты. Подобного и, главное, в таком темпе они не ожидали! Теперь создавалась прямая угроза для их власти, для всего, чего они, наконец, добились! Оказывается, Неподкупный был прав, когда предсказывал измену! Оказывается, он не ошибался, когда требовал удаления Лафайета! Теперь жирондистов душила бешеная злоба. Сделав столь решительный шаг вперед, они не могли тотчас же податься назад. Восхвалявшие только что Лафайета не могли вдруг признать, что их предали, ибо, признай они это открыто, симпатии народа тотчас же бы их покинули. Но весь ужас положения Бриссо и его друзей заключался в том, что, как бы они теперь ни поступили, победителем все равно оказывался Робеспьер! В их руках сосредоточились Ассамблея, ратуша, печать; их ставленниками были министры и парижский мэр; они располагали первоклассными ораторами, политическими

[1] Реакционный английский генерал, содействовавший реставрации династии Стюартов (1660 г.).

умами, а его популярность все более возрастала. Он становился, следуя их выражению, кумиром народа.

Дальше терпеть этого нельзя... Неподкупный прав — тем хуже для него! Его надо стереть в порошок! И вот началась травля, перед которой померкли былые выпады Мирабо и Бомеца.

Повод для атаки был быстро найден. Когда в июне 1791 года Максимилиан согласился принять должность общественного обвинителя, он сделал оговорку, что может отказаться от места, если более священные обязанности заставят его это сделать. Теперь такой момент наступил. Теперь его энергия и ум нужны были на ином поприще. И он, не колеблясь, в том же апреле отказался от должности обвинителя, отказался, по его словам, так же, как бросают знамя, чтобы было удобнее сразиться с неприятелем.

Это ему сейчас же поставили в вину. Его обвинили в гордости и дезертирстве. На заседании Якобинского клуба 25 апреля Бриссо, который недавно лобызал Робеспьера, разразился истеричной тирадой. Он брал под защиту Лафайета и извергал хулу на Неподкупного. Более определенно высказался Гюаде:

— Я разоблачаю в Робеспьере человека, который из честолюбия или по несчастью стал кумиром народа. Я разоблачаю в нем человека, который из любви к свободе своего отечества, быть может, должен был бы сам подвергнуть себя остракизму, потому что устраниться от идолопоклонства со стороны народа — значит оказать ему услугу...

Трудно было выразиться яснее! Они предлагали ему уйти, не замечая дикого противоречия, рабами которого становились: обвиняя Максимилиана в дезертирстве, они требовали, чтобы он отказался от общественной деятельности!

Неподкупный ответил умно, великодушно и скромно:

— Пусть будет обеспечена свобода, пусть утвердится царство равенства, пусть исчезнут все интриганы; тогда вы увидите, с какою поспешностью я покину эту трибуну... Отечество можно покинуть, когда оно счастливо и торжествует; когда же оно истерзано, угнетено, его не покидают: его спасают или умирают... Я с восторгом принимаю эту участь. Или вы требуете от меня другой жертвы? Да, есть жертва, которой вы можете требовать от меня еще. Приношу ее отечеству: это моя репутация. Отдаю ее в ваши руки...

Его репутация! Именно она и была нужна ненасытным преследователям. И они вцепились в нее, принялись ее порочить,

кромсать, втаптывать в грязь. Бриссо, Гюаде и другие, стремясь перекричать друг друга, в своих газетах, брошюрах, речах подняли остервенелый вой. Его обвиняли в стремлении к тирании, ему приписывали кровожадность, жестокость, глупость, трусость, действия посредством клеветы и т. д. и т. п. Рекорд побил Бриссо, обвинивший Неподкупного ни много ни мало, как в том, что он продался двору.

Травили не только Робеспьера, но и его сторонников. Их всячески утесняли и старались дискредитировать. Напротив, противникам Максимилиана были широко раскрыты двери всех ведомств. «Произнесите-ка речь против Робеспьера, — говорил один наблюдатель, — и я ручаюсь, что раньше чем через неделю вам дадут хорошее место».

Как он реагировал на все это? Он долгое время сдерживал себя, долгое время верил, что можно биться по принципиальным вопросам, не становясь на личную почву.

И не он первый выступил со своей защитой. Выступил Демулен, подвергший едкому осмеянию клеветников в своей газете и в брошюре «Разоблаченный Бриссо», каждая страница которой была подобна удару кинжалом. Выступил Друг народа — Марат, снова загнанный жирондистами в подполье. Выступил Дантон. Возражая в Якобинском клубе на реплику, обвинявшую Робеспьера, Дантон сказал:

— Господин Робеспьер всегда проявлял здесь только деспотизм разума. Значит, противников его возбуждают против него не любовь к отечеству, а низкая зависть и все вреднейшие страсти... Быть может, наступит время — и оно уже недалеко, — когда придется метать громы в тех, кто уже три месяца нападает на освященного всею революцией добродетельного человека, которого прежние враги называли упрямым и честолюбцем, но никогда не осыпали такими клеветами, как враги нынешние!

Журналист Эбер в своей газете «Отец Дюшен» подметил характерную деталь. «Лица, так громко тявкающие на Робеспьера, — писал он, — очень похожи на ламетов и барнавов в ту пору, когда этот защитник народа срывал с них маски. Они называли его тогда бунтарем, республиканцем. Так же называют его и теперь, потому что он вскрывает всю подноготную...»

Решительно поддержал своего вождя Клуб якобинцев, издав постановление, осуждавшее выпады Бриссо и Гюаде; приня-

тое единогласно, оно было разослано по всем филиалам клуба.

Что же касается виновника этой кампании, то он проявлял себя гораздо сдержаннее, чем его враги и друзья. На страницах «Защитника конституции» Робеспьер подчеркивал, что чрезмерного внимания демагогам и интриганам уделять не следует. Они не смогут развратить народ, как невозможно отравить океан! Они сами разоблачат себя — пусть пройдет время. Сейчас гораздо более важно другое. Сейчас в центре внимания всех патриотов должны находиться война и связанные с ней проблемы. И Неподкупный говорит и пишет прежде всего об этих злободневных проблемах.

Да, без сомнения, война началась не вовремя. Но раз она началась, она должна быть только выиграна — иного выхода нет. Ее необходимо закончить решительной победой и в короткие сроки. Можно ли добиться этого, оставив во главе армии старый генералитет? Робеспьер по-прежнему утверждает, что самая большая опасность — в изменниках-генералах. Но не только в этом дело. Нынешняя война носит совершенно иной характер, чем любая из прежних: перед ней народные цели, а потому пусть вооруженный народ будет по-новому организован и дисциплинирован. И, развивая мысли, некогда высказанные с трибуны Учредительного собрания, Максимилиан доказывает, что без революционной дисциплины не может быть революционного солдата; если дисциплина устанавливается только палочной муштрой, солдат забывает о своем гражданском долге и превращается в простое орудие истребления.

Робеспьер предлагает ряд практических мер в целях укрепления армии. Он рекомендует создать особые легионы патриотов в количестве до шестидесяти тысяч человек, которые бы играли роль передовых отрядов революции и содействовали выковыванию нового духа в армии.

Он поддерживает даже своих противников всякий раз, когда считает их действия полезными для народа, для победы.

4 июня военный министр Серван внес в Ассамблею предложение созвать от каждого кантона Франции по пять обмундированных и снаряженных федератов. Явившись в Париж, они образовали бы внушительный лагерь в двадцать тысяч человек.

Этот проект был составлен жирондистами в своих целях. Рассчитывая на зажиточное население департаментов, они хотели создать из него силу, которая помогла бы им держать

в страхе всех своих врагов, оказывая давление и на короля и на демократические клубы. Так именно и расценил планы жирондистских лидеров Максимилиан и на первых порах оказал противодействие проекту. Однако вскоре он понял, какой важной революционной силой может стать лагерь федератов, воодушевленных патриотизмом и собранных воедино! И тотчас же Неподкупный меняет тактику. Вместо оппозиции проекту он становится одним из горячих его сторонников.

В эти дни под нажимом народа сильно смущенное положением на фронтах Законодательное собрание сделало крен влево. Чтобы как-либо оправдать себя в глазах избирателей, жирондистские лидеры настояли на трех декретах. Кроме указа о лагере федератов, было решено издать новый закон против неприсяжных священников и добиться роспуска королевской охраны, состоявшей из контрреволюционного сброда.

Но теперь король и двор не были склонны идти навстречу жирондистам. Поражения на фронтах окрылили заговорщиков. Казалось, ничто не помешает движению войск коалиции — оставалось спокойно ждать их прихода. Людовик XVI заговорил другим языком. Он и не собирался утверждать представленных законопроектов. А когда Ролан направил к нему укоряющее письмо — дал отставку жирондистским министрам. Это произошло 13 июня.

Дюмурье попытался сыграть на возникшем конфликте, что, однако, ему не удалось; через несколько дней он сам подал в отставку и уехал в северную армию. Фельяны, призванные к власти, вновь торжествовали.

Реакция перестала стесняться. Дюпор советовал Людовику XVI распустить Законодательное собрание и сосредоточить всю полноту власти в своих руках. Роялисты призывали к закрытию Якобинского клуба «как источника всех беспорядков». Лафайет прислал в Ассамблею полное угроз письмо, требуя «обуздать» якобинцев и «освободить отечество от внутренней тирании». Так «герой двух частей света» предстал, наконец, в своем подлинном виде! «Защитник конституции» Робеспьера подвел итог прежним разоблачениям. Он напоминал об интригах Лафайета против революционеров, о поддержке им врага свободы генерала Буйе, не забыл и о бойне на Марсовом поле... В заключение, кивая на Бриссо и его друзей, Неподкупный писал: «Я сто раз тщетно указывал на абсурдную непоследовательность вручения защиты государства самым опасным врагам свободы». Новая публичная пощечина главарям Жиронды!

Ничто им не удавалось, все уплывало между пальцами. Двурушническая политика показывала свою оборотную сторону! Они заигрывали с народом и старались прибрать к рукам монарха; в результате народ в них разочаровывался, а монарх оттолкнул! Они развязали войну под лозунгом «во имя нации», рассчитывая отвлечь бедноту от жгучих внутренних проблем и увеличить свои богатства и власть; в результате власть они теряли, богатства не увеличивались, а война шла неудачно, заставляя бедноту задумываться как раз над внутренними проблемами. Они сделали ставку на Лафайета, обласкали его, создали ему славу патриота, а он их предал, высмеял и выдал на поругание Неподкупному.

Было отчего прийти в ярость и уныние! Но самые горючие слезы жирондисты лили по случаю потери министерской власти; это было особенно досадно. Ассамблея выразила сожаление «министрам-патриотам», но что проку в сожалениях? Гораздо более заинтересовало жирондистов то, что отставка министров вызвала возбуждение в предместьях и некоторых секциях центра. Значит, народ их не совсем покинул! Значит, можно продолжить игру на демагогии и, распалив народ, нажать на короля, добиться возвращения министерских портфелей! Этот план, раз возникнув, не давал им покоя. Они решили организовать демонстрацию для устрашения двора, причем, временно забыв свои недавние атаки против Неподкупного, рассчитывали на его поддержку, как и на помощь других вождей демократии. Но Робеспьер не собирался таскать для них из огня каштаны. И что за дело было революционерам-демократам до жирондистских министров! Неподкупный и его соратники думали сейчас о другом. Они видели, что атмосфера накаляется, что возмущение растет, что близок час, когда можно будет поднять восстание против монархии! Поэтому незачем растрачивать энтузиазм народа на пустые демонстрации с игрушечными целями. Робеспьер был уверен, что подобная половинчатая мера не приведет к ощутимым результатам. «Частичные восстания только обессиливают народное дело», — заявил он в Якобинском клубе. Однако жирондисты думали о своем. И вот 19 июня мэр Петион устроил встречу с вожаками предместий. Манифестацию было решено провести на следующий день.

В ней приняло участие около двадцати пяти тысяч парижан. В колоннах, продефилировавших вдоль улицы Сент-Оноре, можно было видеть рабочих, вооруженных пиками, саблями, вилами, крючников и угольщиков, национальных гвардей-

цев, молодых девушек и матерей с оборванными детьми. Тут же были и музыканты, слышались напевы знаменитой песенки «Са ира» — «Все пойдет на лад».

Законодательное собрание было вынуждено впустить и выслушать депутацию. «Мы жалуемся, — заявил оратор депутации, — на бездействие наших армий. Мы требуем, чтобы была выяснена причина бездействия. Если она зависит от исполнительной власти, то пусть эта власть будет уничтожена! Кровь патриотов не должна проливаться для удовлетворения гордости и честолюбия дворца!.. Один человек не должен оказывать влияние на двадцать пять миллионов людей!..»

Затем толпа хлынула в Тюильрийский парк. Дворец охранялся национальной гвардией, но она не оказала сопротивления. Демонстрантам удалось проникнуть в королевское жилище. Придворные трепетали. Людовику XVI пришлось выйти к народу и около четырех часов подряд, обливаясь потом, с лицемерной улыбкой изображать удовольствие от лицезрения ненавистной «черни». Королю протянули красный колпак — он надел его; дали выпить вина из солдатской фляги — он выпил за здоровье парижан.

— Вы вероломны, — сказал монарху Лежандр. — Вы всегда нас обманывали, вы и теперь обманываете. Но берегитесь: чаша терпения переполнена, и народ устал видеть себя вашей игрушкой.

Король пробурчал в ответ, что ни в чем не нарушает конституцию.

Представление затягивалось, а результатов не было видно. Лидеры жирондистов, обеспокоенные, как бы народ не сделал худого королю, решили, что пора кончать. Во дворец срочно прибыли Инар и Верньо, следом за ними явился Петион. Все они стали уговаривать манифестантов оставить дворец и разойтись. Добиться этого было нетрудно, так как людям и без того надоело слоняться по анфиладам королевских покоев. К восьми часам вечера дворец опустел: демонстрация закончилась.

Как и ожидал Робеспьер, гора родила мышь. Чаяния жирондистов не сбылись; демонстрация не вернула к власти прогнанных министров. Напротив, она лишь разозлила двор. Король направил в Ассамблею резкий протест. Петион был уволен от должности мэра. Те, кто вызвал события 20 июня, на них же и обожглись. Но сама по себе народная демонстрация явилась знаменательным актом. Она показала мощь народа и его настроения; она явилась прологом к более серьезным

делам. Робеспьер и другие вожди демократии воочию убедились, что народ воодушевлен и полон решимости; нужно было лишь направить его движение по верному руслу!

В одну из своих бессонных ночей королева развлекалась беседой с любимой камеристкой. Тюильрийский дворец был объят тишиной. Бледный свет луны пробивался сквозь полуспущенные жалюзи.

— Всего через месяц, — прошептала Мария Антуанетта, щурясь на голубоватый луч, — мы вместе с королем будем смотреть на эту луну, освобожденные от наших цепей...

Считали дни и придворные. Прикидывали, когда враг овладеет Лиллем, когда падет Верден. Предатели-генералы прилагали все усилия, чтобы оправдать надежды двора. Армия Люкнера без видимых причин оставляла город за городом, Лафайет покинул войска, чтобы поднять мятеж национальной гвардии столицы и вывезти королевскую семью. Первый из этих планов провалился — генерал слишком понадеялся на свою утраченную популярность, но второй не был осуществлен лишь по вине королевы: Мария Антуанетта, питавшая личную антипатию к бывшему маркизу, не пожелала получать освобождение из его рук, тем более что желанные интервенты были так близко.

Законодательное собрание, дряблое, нерешительное, чувствовало себя между молотом и наковальней: депутаты буржуазии не могли не видеть планов и козней двора, но, подобно своим предшественникам, членам Учредительного собрания, они безумно боялись народа и перед угрозой восстания готовы были идти на любой сговор с монархией. Лидеры жирондистов больше всего жаждали вновь утвердиться у власти. После неудачи 20 июня они не прекращали своей двойственной игры. Не имея возможности более защищать Лафайета, они оставили его, чем косвенно признали справедливость оклеветанного ими Робеспьера. Они продолжали осторожно грозить монарху. 3 июля их главный оратор Верньо произнес сильную речь, обличавшую вероломство Людовика XVI. Однако каких-либо радикальных выводов оратор не делал. Напротив, Бриссо и его друзья, трепетавшие перед грядущими событиями, были готовы все простить двору, согласись тот с ними считаться.

Но патриотическое движение вопреки всему и всем ширилось день ото дня. Не случайно жирондисты так легко вызвали июньскую демонстрацию: возмущенный народ не собирался

уклоняться от борьбы. Правительство от него отрекалось, генералы ему изменяли; что ж, он был готов взять судьбу революции и страны в свои руки. И чем более измена и настроения в верхах становились очевидными, тем внимательнее массы прислушивались к разъяснениям Робеспьера и других идеологов-демократов, тем сильнее и могущественнее разливалась по Франции неудержимая волна гнева. Слова «революционер» и «патриот» сделались синонимами: любовь к родине, воля к победе над врагом отныне сливались воедино с представлениями о революции и республике. Теперь как нельзя более своевременным был лозунг, брошенный Неподкупным и услышанный массами: «В таких критических обстоятельствах обычных средств недостаточно. Французы, спасайте сами себя!»

Отечество в опасности! Этот клич, подобно вихрю, пронесся над встревоженной страной; он звучал и на равнинах Фландрии, и на полях Шампани, и на высотах Вогезов, и в цветущих долинах солнечного Прованса. Его услышали эльзасские горняки и лионские ткачи, моряки Нанта и Марселя, рабочие Лилля, Сент-Этьенна и Крезо.

Всеобщий патриотический подъем заставил колеблющееся Собрание принять 11 июля декрет о мобилизации. Еще раньше было решено собрать федератов в Париже ко дню 14 июля. Король не рискнул отвергнуть эти законопроекты, как и отказ Ассамблеи признать увольнение Петиона. Началась всеобщая мобилизация. Все мужчины, способные носить оружие, подлежали призыву. Новые формирования регулярной армии вместе с отрядами добровольцев — федератов двинулись к восточным границам. Внешний враг должен быть отброшен и будет отброшен! А внутренний?.. Как и предсказывал недавно Робеспьер, первого нельзя было отделять от второго, их связывали неразрывные узы.

Когда-то король рассчитывал, что война позволит ему опереться на армию для разгрома народа. Произошло обратное: армия слилась с народом для разгрома монархии. Долго сдерживаемое негодование теперь обрушивалось не только на интервентов, но и на тех, кто открывал им дорогу. Революционный инстинкт масс верно указывал им на Тюильрийский дворец. Неподкупный оказался прав: необходимо было прежде всего уничтожить «внутренний Кобленц», и раз не удалось сделать это до начала войны, нужно было торопиться теперь! Отечество в опасности! И эта опасность не исчезнет, пока не будет сломлен хребет монархии!

Глава 4

На пути к республике

К середине июля складываются два очага будущего восстания. Первым из них стало собрание комиссаров столичных секций, вторым — Центральный комитет федератов.

Секции давно уже заявили о себе. С 23 июня их комиссары стали регулярно встречаться в ратуше, явочным порядком присвоив себе права нового революционного органа столицы. С начала июля требования секций приобретают все более решительный характер. В Ассамблею направляется поток петиций, призывающих не только к отставке предателей-генералов, но и к свержению короля, нарушившего конституцию и подло изменившего родине.

Одновременно в Париже образуется лагерь вооруженных федератов. К 11 июля их было зарегистрировано свыше тысячи шестисот человек, к 24 июля — уже около четырех тысяч. Согласно воле Собрания федераты должны были праздновать в Париже день взятия Бастилии, а затем их надлежало перевести в Суассон. Но вожди демократии настаивали на том, чтобы сохранить лагерь федератов в столице. 16 июля необходимость этого убедительно доказывает Робеспьер. На следующий день он пишет от имени федератов адрес Законодательному собранию. Он требует отстранения исполнительной власти, смещения военных и административных должностных лиц, обновления состава судов.

Цель поставлена. Остается ее достигнуть.

Жирондисты дрогнули, и тяжелые, томительные думы овладели ими. Опять не то, чего они желали, не то, к чему так упорно стремились! Они хотели лишь припугнуть монархию, чтобы завладеть ею, а ее собираются уничтожать! Они призвали федератов в Париж, чтобы те защитили их от якобинцев, а федераты под руководством якобинцев готовятся брать приступом Тюильрийский дворец! Но если монархия будет низвергнута, кто же защитит буржуазию от народа? Где плотина, сдерживающая стихию потока? Где противовес, дающий возможность искусно лавировать? Нет, этого нельзя допустить! И жирондистские вожди в Ассамблее, в клубе, в печати начинают новую кампанию — кампанию за спасение королевской власти.

24 июня Верньо в ответ на призыв депутата крайней левой заняться вопросом о короле предлагает не поддаваться пустым страхам и бесцельным порывам.

День спустя Бриссо, который так недавно был одним из пионеров республиканского движения, призывает громы и молнии на «партию цареубийц, стремящуюся установить республику». «Если существуют люди, — кричит он, — желающие создать ныне республику на развалинах конституции, то их должен поразить меч правосудия точно так же, как и всех... кобленцких контрреволюционеров!» Яснее выразить свою мысль было невозможно: перед угрозой падения трона жирондисты заявляли, что слова «республиканец» и «контрреволюционер» синонимы! Это было плохо, но по крайней мере откровенно. Гораздо более мерзким было другое, о чем пока в деталях никто ничего не знал, что происходило в глубокой тайне.

Заручившись содействием придворного живописца Бозе, ведущие лидеры жирондистов Верньо, Гюаде и Жансоне секретно передали королю письмо. Они извещали Людовика XVI о готовящемся восстании, в ходе которого он потеряет корону, а быть может, и жизнь. Единственный путь к спасению, утверждали новые советники престола, дать отставку Лафайету, вернуть уволенных министров и согласиться на жирондистскую опеку. Так вчерашние революционеры становились на грязный путь антинародных заговоров, по которому шли до них конституционалисты и фельяны.

Двор гордо отверг их помощь, отверг, несмотря на повторное ее предложение. Король и его близкие все еще надеялись на интервентов; если они не захотели использовать услуг Лафайета, то еще менее приемлемым для них казался союз с жирондистами, которых они презирали и до переговоров с которыми не желали унизиться. Но, разумеется, сигнал был учтен. В то время как агенты Людовика XVI за рубежом торопили союзное командование, требуя издания угрожающего манифеста и одновременного наступления на всех фронтах, двор, извещенный жирондистами, принимал срочные меры. В Париж было вызвано до семи тысяч солдат привилегированных полков. В чердачном помещении Тюильрийского дворца размещали походные кровати, складывали оружие и мундиры. Отовсюду собирались дворяне, готовые сражаться и умереть за своего короля. Надеялись на некоторые батальоны национальной гвардии, создавали подразделения из авантюристов и провокаторов, которым предписывалось вносить смуту и раскол в ряды народной армии. Фельяны, со своей

стороны, накапливали силы, чтобы в нужный момент оказать поддержку двору.

Атмосфера страшного напряжения установилась над Парижем. Обе стороны готовились к решительному удару. Собрание, руководимое жирондистами, тщетно пытавшееся стать между борющимися сторонами, покатилось вправо и в своем падении опустилось до роли охвостья обреченной монархии. Чего же ждали? Каждая из сторон — своего. Монархия ожидала добрых для себя известий с фронтов и поощрительных сигналов от руководства интервентов, силы революции не хотели выступать, пока не соберутся в полном составе батальоны федератов; еще не прибыли добровольцы из Бреста, еще не было долгожданных марсельцев. Но всем было ясно: час скоро пробьет.

Это было ясно и Неподкупному, ясно до предела, до боли. Да, боль наполняет его душу в двадцатых числах июля. Он по-прежнему в авангарде движения, хотя никто его не видит в эти дни на улице; он не участвует в подготовке народных отрядов, не агитирует, подобно Дантону, в секциях. Большую часть времени, свободного от заседаний в клубе, он проводит сейчас в своей каморке, за письменным столом; он думает, взвешивает, пишет... Вот и сегодня, едва лишь закончились прения, Максимилиан спешит покинуть библиотеку Якобинского монастыря. Лицо его сосредоточенно. Он идет быстрым шагом.

Улица Сент-Оноре. Церковь Успения. Напротив — ворота. На растрескавшейся дощечке старательно выведен № 366. Это дом честного якобинца, почитателя и друга Максимилиана, столяра Мориса Дюпле. Пройден двор, скрипят ступени, ведущие на второй этаж. Вот он, скромный приют добродетели, обитель борца за народные права! Это комната Неподкупного, настоящая конура, с голыми стенами, единственным украшением которым служат сосновые полки с разбросанными на них книгами, газетами, рукописями. Простая кровать, покрытая грубым одеялом, кресло, набитое соломой, проглядывающей сквозь вытертую обивку, два цветочных горшка на окне.

Вот стол, за которым он думает и пишет в течение долгих вечеров и бессонных ночей. Здесь, за этим столом, родятся речи, которые потрясут Францию и Европу, и единственными свидетелями их рождения будут старая свинцовая чернильница и лампа, бросающая тусклый свет. Под полом

каморки — сарай, в котором спят работники, окно выходит во двор, где сушится белье, визжат пилы и стучат топоры. Таково жилище Неподкупного вместе со всем, что его окружает. Простота, скромность, бедность, достоинство — принципы, которые он проповедует в своем учении, которые сопутствуют всей его жизни, — здесь налицо.

Но это не просто рабочий кабинет, не просто угол для спанья. Это кусок жизни в доме, который является его домом, в семье, которая является его семьей. Здесь все его глубоко уважают и горячо любят; нигде больше он не нашел бы таких условий для работы, создаваемых заботливыми руками.

Госпожа Дюпле, дама передовых взглядов, радушная, гостеприимная, по четвергам собирала в своем маленьком «салоне» кружок людей, близких по взглядам к Робеспьеру, его друзей и соратников. Здесь можно было встретить Камилла Демулена с его молодой супругой; Паниса, исполнявшего роль доверенного лица при Неподкупном; Антуана, худощавого холодного человека, бывшего члена Учредительного собрания, которому Дюпле также давал приют. Сюда захаживал Дантон, здесь были завсегдатаями Сантерр и Лежандр. В непринужденной беседе обсуждались проблемы, волновавшие страну. Душой кружка был, разумеется, Максимилиан.

Но в эти дни он мало с кем делился своими впечатлениями и взглядами. Он выглядел мрачным, задумчивым, стремился к уединению. Всем было ясно, что его настойчиво преследуют какие-то невеселые мысли.

Так в действительности и было. Сидя за своим столом, Робеспьер напряженно думал, и чем больше он думал, тем страшнее ему становилось. Вновь ожили сомнения, подобные тем, которые тревожили его в дни после бойни на Марсовом поле.

Все ли подготовлено для победы?.. Справится ли народ с внутренней реакцией и внешним врагом одновременно? Хватит ли сил?.. А если нет?..

Лишь с двумя людьми он хочет поделиться своими сомнениями. Один из них — Жорж Кутон, депутат, его друг и соратник. Этот человек правильно поймет Неподкупного: он умен и проницателен, у него зоркий взгляд. Второй — старый аррасский корреспондент Максимилиана Бюиссар. Но Кутон болен. И Неподкупный пишет ему письмо, датированное 20 июля. Это письмо показывает всю глубину душевного смятения его автора.

«...Мы подошли к развязке конституционной драмы. Революция пойдет более быстрым темпом, если не свалится в бездну военного и диктаторского деспотизма.

В том положении, в котором мы находимся, друзья свободы не могут ни предвидеть событий, ни управлять ими. Судьба Франции, кажется, покидает ее на волю интриг и случайностей. Утешением для нас может служить сила общественного духа в Париже и во многих департаментах и справедливость нашего дела...»

Письмо Бюиссару отослано позднее. Оно не датировано, очень кратко, написано прерывистым почерком. В нем есть мысли, перекликающиеся с письмом к Кутону.

«...Пусть нам всем придется погибнуть в столице, но прежде мы испытаем самые отчаянные средства. Подготовляются события, характер которых трудно предвидеть.

До свидания, быть может, прощайте».

В этих скупых словах поразительное внутреннее противоречие.

С одной стороны, Робеспьер видит убежденность народа столицы и провинций, справедливость затеянного дела, верит в энергию и мудрость секций, говорит о крайних средствах, к которым демократы готовы прибегнуть, то есть как будто не сомневается в успехе.

С другой стороны, он заявляет, что характер грядущих событий трудно предвидеть, что вожди демократии не в силах руководить этими событиями, что нет гарантий от интриг и случайностей, что революция может свалиться «в бездну военного и диктаторского деспотизма».

Эти противоречия вполне объяснимы. Нельзя забывать, что Робеспьер исходил из невозможности одновременного ведения внутренней и внешней войны. В свое время он звал народ к разгрому внутреннего врага, с тем чтобы после победы над ним заняться внешним. Так не получилось. Война началась. Теперь, по мысли Неподкупного, надо было отдать все для скорейшего ее завершения, с тем чтобы потом, высвободив массы, нанести удар внутренней контрреволюции. По ходу действий следует убрать враждебный генералитет, укрепить армию, обезвредить исполнительную власть; все это в совокупности подготовит падение монархии и обеспечит решительную победу.

Но события развивались слишком быстро, опережая планы Робеспьера. Народ видел, что без свержения монархии он не добьется перелома на фронтах. Монархия, со своей стороны, торопясь с осуществлением своих планов, не соби-

ралась ждать, пока закончится война. И вот стороны стремились начать кровавую борьбу в то время, когда интервенты наступали, когда мятежники-генералы предавали родину, когда власть находилась в руках реакционных министров, а Ассамблея была под пятою двора. Все это и вызывало тяжкие сомнения Неподкупного. Он верил в народ, но плохо знал его. Он видел силы врага и не был до конца уверен в силах революции. Далекое он видел лучше, чем близкое, и, когда нужно было принимать немедленно решение, он не раз в смущении останавливался. В этом была его слабость. Именно эту слабость имел в виду Марат, когда писал о результате одной из бесед с Робеспьером.

«...Эта встреча утвердила меня во мнении, что с просвещенным умом мудрого законодателя в нем сочетались цельность и неподкупность истинного патриота, но что ему одинаково недоставало ни широты взглядов, ни отваги, необходимых для государственного деятеля».

Определение резкое, не вполне справедливое, но разве нет в нем доли истины? Не видел ли Друг народа чуть-чуть больше и глубже, чем остальные соратники Неподкупного?..

Робеспьер не участвовал в практической подготовке восстания. Этим занялись другие люди. Якобинцы берегли своего вождя для будущего и не хотели втягивать его в опасное, кровавое дело.

Но все же в этот период он сделал много. Смотря вперед, он думал о том, как надо поступить после победы. Этой проблеме была посвящена его речь в Якобинском клубе 29 июля.

Робеспьер указывал, что для завершения революции недостаточно свергнуть короля. Он обращал взоры своих слушателей на Законодательное собрание. Что это такое, как не политический атавизм? Оно избрано по цензовой системе активными гражданами при устранении основной массы народа. И вот результат: постоянные виляния, колебания, а в конечном итоге — полная измена народному делу. Ассамблея должна издавать законы, полезные для народа, в действительности же она занимается лавированием и демагогией. Выход один. После победы следует созвать народ, на этот раз *весь народ*, без деления на «активных» и «пассивных» граждан. Народ должен сам решить свою судьбу, избрав Национальный Конвент, который займется выработкой новой конституции, ибо

старая, составленная в период господства фельянов показала свою полную непригодность.

Такова была программа, намеченная вождем якобинцев. Она отличалась глубокой продуманностью; ее вызвали к жизни события всех предшествующих этапов революции.

3 августа был оглашен манифест командующего армией интервентов герцога Брауншвейгского. Манифест открывал истинные цели иностранного вторжения. От имени австрийского императора и прусского короля заявлялось, что соединенные армии намерены положить конец анархии во Франции, восстановить «законную власть» и расправиться с «бунтовщиками». Если королю и его семье будет причинено малейшее оскорбление, то Париж будет разгромлен и полностью разрушен... Именно подобного манифеста и ждал Людовик XVI. Двор торжествовал: теперь напуганный народ дрогнет и подчинится! Теперь парижане не посмеют противиться воле своего короля! Эти надежды были напрасными. Манифест вызвал взрыв народного гнева и лишь ускорил развязку.

В тот же день в зал Ассамблеи вошел Петион в сопровождении делегатов от Парижской коммуны. Мэр был смущен. В качестве должностного лица он был вынужден прочитать заявление сорока семи секций.

— «Глава исполнительной власти есть первое звено контрреволюционной цепи, — читал Петион. — Он участвует в заговорах, которые орудуют в Пильнице и о которых он так поздно довел до нашего сведения. Его имя служит яблоком раздора между народом и властями, между солдатами и генералами. Он отделяет свои интересы от интересов народа. До тех пор пока у нас будет подобный король, свобода не может быть упрочена, а мы хотим быть свободными... Людовик XVI всегда ссылается на конституцию; мы также сошлемся на нее; мы требуем его низложения».

Ассамблея постановила передать эту петицию в один из своих комитетов, то есть положить ее под сукно. Успокоенный мэр со вздохом решил, что как-нибудь обойдется. Но народ уже давно не возлагал надежд на законодателей; петиция была лишь демонстративным актом. Секции открыто готовились к восстанию.

А вечером и ночью того же 3 августа природа будто захотела исполнить прелюдию к делам, совершенным людьми несколько дней спустя.

Над Парижем неожиданно стали собираться медно-красные тучи. Духота была нестерпимой, небо выглядело столь зловеще, что обыватели спешили закрыть окна домов и лавок. Около полуночи вдруг поднялся ужасающий вихрь. Он сносил трубы, кровли, заборы. Молния разрывала небо, гром грохотал, подобно канонаде. Улицы мгновенно наполнились ревущими потоками, смывавшими запоздалых пешеходов. До двух десятков людей погибло в эту страшную ночь.

И вот в то время как небо смешалось с землей, а вода и огонь в диком единоборстве оспаривали друг у друга свои жертвы, послышался отдаленный звук пения. Он шел от Пале-Рояля. Постепенно он становился все громче. Свист ветра не в силах был заглушить мотива песни, грохот бури не мог перекричать нескольких десятков молодых голосов.

«Вперед, сыны отчизны милой! День вашей славы настает...»

Группа людей, взявшихся за руки и вооруженных морскими фонарями, шла наперерез потокам. Их отвага, казалось, бросала вызов ярости стихии. И парижане, забыв про бурю, слушали необычных певцов.

То был один из отрядов марсельских федератов, прибывших в Париж, и пел он «Марсельезу», сделавшуюся гимном революции.

Глава 5

Тираны мира, трепещите!

4 августа в доме Дюпле весь день было тревожно. Приходили и уходили какие-то люди, Панис то и дело поднимался к Неподкупному. Когда Максимилиан вышел к обеду, госпожа Дюпле своим опытным взглядом сразу обнаружила, что не все благополучно. Ее постоялец был необычно взволнован и отвечал на вопросы невпопад. После обеда на несколько часов все как будто утихло. А затем поднялся невообразимый шум. Хлопали двери, десятки ног стучали по коридору, несколько голосов говорили одновременно. Госпожа Дюпле, выбежав из своей комнаты, прислушалась. Да, это у ее второго жильца, бывшего депутата Учредительного собрания мсье Антуана. Госпожа Дюпле знала гораздо больше, нежели все они полагали. Ей было хорошо известно, что мсье Антуан играет важную роль среди организаторов готовящегося восстания. Неужели у него сегодня собирается весь повстанческий комитет? Это было бы ужасно. Ведь они могут скомпрометировать Неподкупного!

Женщина слушает. Дверь хлопнула последний раз. Но шум не стихает. Они кричат, стучат кулаками по столу. Уж не ломают ли они мебель? Боже мой, что будет!.. Какое страшное время! Уже несколько дней совершенно нет покоя. Сколько гаму приносит только один этот Демулен! Вот и сейчас она отчетливо слышит его голос.

Госпожа Дюпле поворачивает голову в противоположную сторону. А у того, другого, все тихо. Изредка слышен легкий скрип. Она знает: это Неподкупный прохаживается из угла в угол своей комнатушки. Но он не выходит. И не выйдет. И правильно сделает.

Страшный крик прерывает размышления почтенной дамы. Они совсем лишились рассудка! Они орут, как крючники в порту! Разве нельзя вести себя потише?

Хозяйка подбегает к двери мсье Антуана и стучит. Мгновенно все стихает, и сам Антуан приоткрывает дверь.

— Сумасшедшие! — шипит госпожа Дюпле. — Вы что, хотите совсем погубить Робеспьера?

Антуан смотрит отсутствующим взглядом. Затем понимает. Лицо его становится жестким.

— Робеспьер? Кто ему угрожает? Не волнуйтесь. Уж если и будет убит кто-либо, то, во всяком случае, не он!..

Дверь резко захлопывается перед носом заботливой охранительницы Неподкупного.

В этот вечер в доме № 366 по улице Сент-Оноре было вынесено важное решение. После горячих споров окончательно утвердили общий план действий. Восстание было назначено на 10 августа 1792 года.

Столица энергично готовилась к штурму вековых твердынь.

Собрания секций одно за другим заявляли, что не признают более Людовика XVI. 5 августа это решение было принято двумя третями секций. Все демократические клубы и организации Парижа открыто призывали к восстанию.

Готовились и федераты. Марсельцы чистили ружья и запасались порохом. Казармы превращались в крепости.

Тщетно метались жирондисты. Напрасно Собрание пыталось удержать могучий порыв. Впустую вопил Бриссо, требовавший привлечь к ответственности Антуана и Робеспьера.

Конец монархии приближался.

Жером Петион, мэр Парижа, переживал мучительные часы. Ведь, кажется, еще совсем недавно все было так хоро-

шо! Он переселился в роскошный особняк и стал жить, как порядочный человек, не отказывая себе ни в чем. У него была любящая жена, он имел прекрасных друзей. Народ его боготворил, а партия, с которой он связал свою судьбу, преуспевала. Все его считали прекраснейшим и порядочнейшим человеком.

И вдруг — конец всему...

Сегодня уже не радуют Петиона ни теплая ванна, ни лепные украшения на потолке гостиной, ни ласки жены. Ничто его больше не радует. Он видит перед собой зияющую пропасть.

Чего он только не делал, как не бился эти последние дни! Он ездил по секционным собраниям и доказывал неразумность спешки. Он разъяснял, уговаривал, заклинал, наконец, угрожал.

Бестолковый народ не желал его слушать. Его, которого так недавно осыпали цветами, которого носили на руках! Что это? Всеобщее бешенство? Или ослепление? Или агитация зловредных лиц?..

Агитация?.. И Петион внезапно вспоминает о своем старом соратнике, Максимилиане Робеспьере. Вот о ком он забыл, вот к кому надо идти! Робеспьер теперь прозван Неподкупным, и народ слушает каждое его слово. Робеспьер человек осторожный, разумный. Он может многое исправить. Он может спасти будущее Петиона, и его репутацию, и его состояние. Последнее время, правда, они несколько охладели друг к другу, но это ничего не значит. Робеспьер не может его не понять. Он, как здравый человек, разделит его взгляды. И он, конечно, приостановит этот проклятый бунт.

7 августа у Неподкупного было очень много работы. Он заканчивал большую статью для «Защитника конституции» и продумывал детали речи, которую собирался произнести у якобинцев. Глубоко погруженный в свои мысли, перебирал он стопу исписанной бумаги, когда ему сообщили, что пришел Петион. Робеспьер был рад старому другу. Он быстро вскочил из-за стола и порывисто обнял вошедшего.

Как давно они не виделись! А ведь было время, когда они казались неразлучными.

После первых приветствий мэр перешел к цели визита. Он пространно изложил свою точку зрения. Да, он действительно зачитывал в Собрании адрес сорока семи секций, хотя нельзя сказать, чтобы этот адрес ему особенно нравился. Однако теперь как будто не собираются ждать результатов. Это по меньшей мере неосторожно. Его друг Робеспьер всегда был на страже законности. Он, конечно, согласится с тем, как опасно и не-

своевременно вооруженное восстание. Он поможет добиться, чтобы восстание было отложено до тех пор, пока Ассамблея обсудит вопрос о короле.

Максимилиан внимательно слушал длинную тираду гостя. Он ни разу не перебил его. Он долго молчал после того, как Петион кончил. Наконец, подняв усталый взгляд на мэра, он тихо сказал:

— Друг мой, я не могу с вами согласиться. Народ мудр, добр и справедлив. Народ страдал очень долго. Народ принял решение. Неужели вы, старый республиканец, когда-то так умело разбивавший мои монархические иллюзии, неужели вы, ликовавший в дни бегства короля, теперь хотели бы остановить революцию?..

Петион покраснел и передернул бровью.

— Вы меня не поняли. Я хочу остановить не революцию, но бессмысленный и опасный бунт.

— Бунт?.. Бессмысленный и опасный? И это говорите вы, мой Петион, вы, столько лет боровшийся за права народа? Разве вы не видите, что теперь нет иного выхода? Разве вам не ясно, что Ассамблея, на которую вы возлагаете такие надежды, сгнила до основания и превратилась в придаток двора?

Петион терял терпение. Не для того пришел он в эту убогую квартиренку, не для того лез на темные антресоли, чтобы слушать всю эту белиберду о народе. Все это он и сам мог бы прекрасно изрекать на каком-нибудь собрании. Неужели Робеспьер настолько глуп, что не понимает главного? Или он притворяется?..

— Милый мой, — обратился он к Робеспьеру, едва сдерживая себя, — я не буду спорить с вами. Все это верно, все это хорошо: народ, права, справедливость и так далее и тому подобное... Но поймите вы, поймите непреложную истину: если не остановить это безумие немедленно, оно зальет все, ниспровергнет все... Начнется с низложения короля, а кончится уничтожением собственности... Подумайте, на что мы с вами будем нужны этой разнузданной черни, которая помышляет только о грабежах и пожарах! Подумайте вы, человек трезвый и здравый!

Робеспьер стоит, скрестив руки на груди, и внимательно смотрит на расходившегося Петиона. Так вот оно что! Неужели же это правда? Неужели все честные и порядочные люди теряют честность и порядочность, как только их охватывает боязнь за свой кошелек и свое положение? Где, где он слышал те же самые слова, которые сейчас произнес Петион?..

Вспомнил! С трибуны Учредительного собрания! Год назад

почти то же говорил Барнав, против которого тогда сражались они с Петионом!..

Стоит ли продолжать разговор? Ведь это борьба с ветряными мельницами! И, смотря в упор в глаза Петиону, Робеспьер медленно и отчетливо произносит:

— По-видимому, мы с вами придерживаемся сегодня разных точек зрения, мой друг, и едва ли возможно их примирить. Но хочу вам сказать лишь одно. Если бы я даже стремился помочь вам, я был бы бессилен...

Робеспьер подходит к окну.

— Взгляните на эту толпу. Каждый из них в отдельности — это клерк, поденщик, мастеровой, лавочник. Но все вместе они составляют державный народ. И это не пустые слова. Это разрушенная Бастилия, поникший деспотизм, это мы с вами и тысячи других, созданных революцией. И имейте в виду: тот, кто идет одной дорогой с народом и помогает ему, тот, кому народ верит и кого он делегирует, тот может быть депутатом Ассамблеи, парижским мэром, генералом или министром. Тот же, кто потеряет доверие народа, — лицо Неподкупного вдруг становится жестким, а в голосе его появляются стальные нотки, — тот будет смят и уничтожен, как бы его ни звали: Людовик, Робеспьер или Петион...

Изумленный Петион во все глаза смотрит на человека, который всегда казался ему таким понятным и которого он, как видно, никогда не понимал. Ему становится страшно. После непродолжительной паузы он вынимает часы.

...Старые соратники прощаются со всеми видимыми признаками дружелюбия, но, едва расставшись, погружаются каждый в свои мысли.

Наступило 9 августа. Мэр Парижа видел, что он не в силах что-либо предпринять. Все делалось помимо него и вопреки ему. Сегодня вечером истекал срок ультиматума секций. Как поступить? Может, попробовать нажать на клубы?.. Он вызвал нескольких вожаков, чтобы сделать им внушение. Когда пришли Шабо, Мерлен из Тионвиля и Базир, он встал, принял важный вид и строго официальным тоном спросил:

— Так что же? Вы все-таки намерены действовать безрассудно? Одумайтесь! Жирондисты через Бриссо обещали мне, что король будет низложен. Я не допущу бунта. Надо ждать, что скажет Собрание.

— Вас обманывают, — ответил Шабо. — Собрание не может спасти народ, да ваши друзья-жирондисты и не помышляют об этом. Сегодня вечером предместья ударят в набат.

— В таком случае я вас арестую, — сухо сказал Петион. Присутствующие весело переглянулись.

— Вы сами будете арестованы, — ответил Шабо и, насмешливо поклонившись мэру, вместе со своими спутниками вышел из комнаты.

Что было делать? Плакать от бессильной злости? Ехать в Собрание? Или во дворец?.. Куда ни поезжай, везде он теперь будет выступать лишь в роли зрителя, он, парижский мэр, еще несколько дней назад считавший себя наделенным такой властью...

Камилл Демулен пригласил на обед нескольких марсельцев. Было очень весело. Всего месяц назад Камилл стал счастливым отцом. Он назвал сына Горацием и отказался его крестить. Сегодня он желал обедать обязательно в обществе своего сына. Люсиль держала малютку на коленях, а Камилл, прежде чем отпить глоток вина, каждый раз, несмотря на возмущение молодой матери, подносил бокал к маленьким розовым губкам. Кончилось тем, что младенец громко заревел и его пришлось отнести в люльку.

После того как распили несколько бутылок, стало еще веселее. Камилл пытался что-то декламировать. Гости шумели. Люсиль хохотала как сумасшедшая и никак не могла остановиться. Когда немного отрезвели, решили всем скопом идти к Дантону.

Дантон становился новым кумиром Демулена. Это был человек с внешностью циклопа. Могучий, как дуб, страшный, как исчадие ада, он казался попеременно то грозным, то добродушным. Многие считали его пьяницей, забулдыгой, пропащим человеком. В действительности Дантон обладал недюжинным умом и тонким политическим чутьем. Он мало писал, но был непревзойденным оратором. После Мирабо Демулен не встречал такого оригинала. Мог ли он не влюбиться в него до потери сознания?..

Дантон встретил незваных гостей приветливо. Он казался исполненным решимости. Говорили о ночи и будущем дне. Скоро должен был загудеть набат.

Вечером пошли погулять. Встревоженная Люсиль во все глаза смотрела на кавалеристов, на простолюдинов, кричавших «Да здравствует народ!», на все увеличивавшуюся толпу. Ей стало страшно. Она вспомнила свой дневной смех и еще более испугалась: ведь говорят, что после слишком сильного смеха обязательно бывают слезы! И, прижимаясь к своему Камиллу, она действительно чуть не плакала.

Между 8 и 9 часами вечера начали собираться секции. Заседания были необычными. Впервые повсюду наряду с активными присутствовали и пассивные граждане. Огласили письмо Петиона, в котором мэр призывал к сохранению порядка. Письмо не имело успеха.

В 11 часов секция Кенз-Вен постановила начать восстание для «защиты общего дела». Секцию поддержало Сент-Антуанское предместье. Постепенно стали присоединяться и другие районы. Для руководства восстанием было решено выделить по три комиссара от каждой секции. В числе избранных оказались Билло-Варен, Эбер, Россиньоль и ряд других видных патриотов. Комиссары должны были собраться в здании ратуши.

Не дожидаясь приказа от комиссаров, граждане секции Французского театра около 12 часов ударили в набат. Тотчас же набат зазвучал по всему Сент-Антуанскому предместью.

В полночь на Гревской площади появились представители двадцати восьми секций. Пройдя между рядами национальных гвардейцев, они поднялись по ступеням ратуши. Старый муниципалитет оказался вынужденным уступить им место. Некоторые члены прежней Коммуны, в том числе Дантон, присоединились к вновь избранным. Так возникла революционная Парижская коммуна 10 августа.

В тот самый час, когда секция Кенз-Вен обратилась с призывом к народу, мэр Петион принял, наконец, решение. Он поедет во дворец и разнюхает, каковы настроения «в верхах», а там будет видно.

Подъезжая к Карусельной площади, мэр обратил внимание на огромное количество войск, расположившихся у моста и вдоль стен Тюильри. Здесь были национальные гвардейцы, пешие и конные жандармы, отборные швейцарские части. Везли одиннадцать орудий. Около ворот дворца толпились «бывшие»; атласные камзолы, белые шелковые чулки, трости непривычно мелькали там и тут, напоминая об ушедших временах.

Когда мэр проходил сквозь толпу офицеров и придворных, он почувствовал трепет. Его проводили свирепыми взглядами. Король встретил его сурово.

— Говорят, в городе большое волнение?

Подошел Манда — главнокомандующий национальной гвардии, конституционалист и приверженец двора.

— Ничего! У меня приняты все меры. Бунтовщиков ждет плачевная участь.

Сославшись на жару, Петион откланялся и спустился в парк. Лицо мэра действительно было покрыто потом, но это был холодный пот... Теперь он ясно почувствовал, что сидит между двумя стульями.

Было половина пятого утра. Революционная Коммуна не теряла времени. Она подвергла Петиона домашнему аресту и назначила Сантерра командующим повстанческой армией. С Нового моста быстро убирали орудия, поставленные там по приказанию двора. Затем был вызван для объяснений Манда. Вызов пришлось повторить дважды, но в конце концов, не имея возможности уклониться, главнокомандующий прибыл в ратушу. Он был поражен, увидя новые лица. И тотчас понял, что погиб. Его допросили. «Почему во дворце удвоена стража? Почему приказали выставить орудия? Что собирается предпринимать двор?» Он кое-как пытался оправдаться и сваливал всю вину на Петиона. Дантон потребовал смерти для изменника. В то время как Манда, сопровождаемый конвоем, спускался с крыльца ратуши, Россиньоль выстрелом в упор размозжил ему голову.

Во дворце никто не спал. Только его величество, сильно утомившись за день, прилег было на диван во всем своем облачении и в парике, чтобы часочек вздремнуть. Долго проспать ему не удалось. В половине шестого по настоянию королевы его разбудили. Король должен лично осмотреть караулы, уверяли придворные. Такой смотр подбодрит войска. Делать нечего, пришлось вставать. Костюм монарха помялся, ордена съехали на сторону, парик сбился комом, и пудра с одного боку совсем осыпалась. Кряхтя, он спустился во двор. Забили барабаны, и раздались крики: «Да здравствует король!»

Людовик пробормотал несколько бессвязных фраз.

— Говорят, они идут сюда... Я не знаю, чего они хотят... Мое дело — дело моих добрых граждан... Мы встретим их твердо, не правда ли?

По мере того как он проходил вдоль рядов, приветствия становились все более вялыми и под конец совсем смолкли. И вот вдруг раздались громкие крики: «Да здравствует народ!» Это кричали артиллеристы и батальон Красного Креста. Людовик остановился как вкопанный и часто заморгал глазами. За-

тем, почувствовав страх, он быстро пошел назад. В спину ему неслись громкие восклицания: «Долой вето! Долой изменника!»

Когда бледный, упавший духом король вернулся во дворец, королева, все видевшая из окна, пылая негодованием, обратилась к придворным:

— Все пропало, господа. Король не выказал ни малейшей энергии. Это жалкое подобие смотра принесло нам скорее вред, чем пользу.

Мария Антуанетта не ошиблась. Вскоре целые части национальной гвардии стали покидать свои места. Придворные, стараясь поправить дело, только содействовали расколу. Своей наглостью и раззолоченными костюмами благородные вызывали ненависть и злобу простых гвардейцев.

К одному из батальонов подошел раздушенный франт в атласном жилете и белых чулках.

— Ну-с, господа национальные гвардейцы, пришло время показать вашу доблесть!

— За этим дело не станет, — ответил взбешенный командир батальона, — но мы ее покажем, сражаясь не рядом с вами. — И, круто повернувшись, офицер повел своих солдат на Карусельную площадь.

В это время несколько членов муниципалитета уговаривали артиллеристов быть мужественными и стойко выполнять свой долг. Канониры отошли в сторону и стали смотреть на небо, делая вид, что ничего не слышат. Один из них громко вздохнул, подошел к орудию, вынул запал, вытряхнул из него порох и затоптал фитиль.

Только наемные швейцарские войска стояли нерушимой стеной, готовясь умереть за чуждое им дело.

Звуки «Марсельезы» плыли над площадью. Предшествуемые федератами, появились первые отряды народных бойцов. Они были плохо вооружены, но полны мужества. Их приветствовали национальные гвардейцы и канониры, покинувшие Тюильри. Подошли к воротам. Под ударами пик и прикладов ворота затрещали. Стражники вступили в переговоры с народом.

В это время представитель департаментской власти, бывший член Учредительного собрания Редерер уговаривал короля покинуть дворец и удалиться под защиту Законодательного собрания.

— Но я не вижу, — возражал король, — чтобы бунтовщиков было особенно много.

— Ваше величество, там выставлено двенадцать орудий, а из предместий движутся целые армии!

Король повернулся к Марии Антуанетте. Лицо ее было иссиня-бледным, а под глазами темнели круги. Она отрицательно покачала головой.

— Но, ваше величество, — настаивал Редерер, — имейте в виду: весь Париж вскоре придет сюда!

Людовик вдруг поднял голову, пристально посмотрел на Редерера и сказал, обращаясь к королеве:

— Идем!

В Тюильрийском парке было прохладно, но уже чувствовалось приближение душного летнего дня. Было 7 часов. Небольшая группа двигалась по аллее, от дворца к манежу. Впереди шел Людовик, покинувший своих верных дворян и швейцарцев. Королеву вел под руку один из министров. Маленький наследник престола, обрадовавшись, что вырвался на волю, собирал охапки листьев и кидал их всем под ноги. Король наблюдал за этой забавой.

— Как много листьев! — сказал он вдруг. — Как рано они начали падать в этом году!

Придя в манеж, королевская семья и министры заняли места рядом с председательским креслом. Король обратился к депутатам:

— Я пришел сюда, чтобы предотвратить ужасное преступление. Я полагаю, что могу быть в безопасности только среди вас, господа.

Ответил Верньо, председательствовавший в то утро:

— Вы можете положиться, ваше величество, на твердость Национального собрания; его члены поклялись умереть, защищая права народа и конституционные власти.

После ухода короля во дворце царила подавленность. Ушло еще несколько батальонов национальной гвардии. Дворяне плакали от бессильной злобы. Швейцарцы колебались. Кого было защищать, если монарх покинул дворец? Но их командиры горели желанием покончить с «грязной сволочью».

Теперь отряды повстанцев занимали всю площадь. Прибывали новые подкрепления. Национальные гвардейцы шагали рядом с людьми, вооруженными палками. Мещане и рабочие,

федераты из Марселя и Бреста, бедняки из пригородов и предместий — все были воодушевлены едиными помыслами. Это была непобедимая армия.

Но народ казался настроенным дружелюбно и, по-видимому, не хотел пролития крови. Когда привратник открыл ворота, осаждающие, высоко подняв свои пики и ружья, приветствовали швейцарцев, приглашая, чтобы те присоединились к ним. Несколько солдат ответили на приветствия и стали выбрасывать патроны. Четверо покинули свои ряды и решительно направились к повстанцам. Грянуло «ура». Но тут из верхних покоев, где засели дворяне, раздались выстрелы, и два швейцарца, перешедшие на сторону народа, упали мертвыми. Произошло секундное смятение. А затем по команде офицеров шеренга швейцарцев, стоявшая на крыльце, дала залп.

Мостовая покрылась трупами. Залпы следовали один за другим. Вскоре и двор и площадь опустели; только груды тел пестрели там и тут...

Защитники дворца торжествовали легкую победу. Но раздавленным оказался лишь авангард доверчивого народа. Основные силы предместий готовились к решительному штурму.

В манеже прислушивались к выстрелам... Всех тревожила одна и та же мысль: чем кончится?.. Какова будет судьба монархии? Только один человек оставался совершенно бесстрастным и равнодушным. Это был сам монарх. В разгар битвы, стоившей ему короны и жизни, он почувствовал голод и потребовал, чтобы ему принесли фруктов. Он выбрал спелый персик. И вот, несмотря на удивленные взоры, он спокойно ел этот персик, ел с видимым удовольствием и аппетитом.

А кровь лилась и лилась...

К Людовику стали обращаться с настойчивыми просьбами прекратить напрасную бойню. Приходили сообщения, из которых становилось ясно, что победы швейцарцам не одержать; их уже выбивали из дворца. Но они сопротивлялись, удваивая ярость осаждавших. Нужно было, чтобы король письменно приказал защитникам Тюильри сложить оружие. Король доел персик и подписал приказ. Но придворный, который должен был его передать, предупредил, что выполнит свою миссию, «...когда сочтет это наиболее удобным».

Надежда на победу еще не была полностью утрачена, и, пока она сохранялась, ни король, ни его окружение не беспокоились об излишнем пролитии крови.

Люди бежали, призывая к отмщению.

— Нас предали! Нас осыпали градом пуль в то время, когда мы говорили с ними дружески, когда мы считали их своими братьями!

На улицах, на набережных, на бульварах создавались новые отряды.

— Горе иноземцам, пришедшим убивать французов, чтобы защитить опустелый дворец!

Конные жандармы, стоявшие на дворе Лувра, спешно оставили свои посты и перешли на сторону народа. Прикатили пушку и жерло ее направили на дворец.

Атака возобновилась. Она была жестокой и кровавой, но закончилась полной победой повстанцев. Лишь немногим защитникам Тюильри удалось спасти свою жизнь.

Последняя твердыня монархии, Тюильрийский дворец был во власти народа. Какой-то человек, растерзанный и окровавленный, выйдя из покоев короля, погрозил кулаком в направлении манежа и сказал громким голосом:

— Будь проклят деспотизм, унесший столько пота и крови тружеников! Тиран пал! Пусть же трепещут все тираны, видя свою судьбу!

Грохот орудий полностью смолк в 11 часов утра.

Вожаки Жиронды, сменявшие друг друга на ораторской трибуне, чувствовали себя не очень-то хорошо. Они ждали до последнего момента. Когда народ взял Тюильри, они поняли, что старая песня окончена.

— Увы, ваше величество, мы ничего больше не можем сделать для вас!

Не глядя на короля, они провели декрет о его *временном* низложении. Затем королевскую семью вывели из зала. Ну что ж! Старого не воротишь! Нужно приспосабливаться к создавшемуся положению и выжать из него все, что можно.

И жирондисты занялись серьезными делами.

А следующей ночью Камилл Демулен и Фабр д'Эглантин, один из его новых приятелей, дружно тузили спящего Дантона.

— Несчастный! Ты проспишь все на свете, включая и свой министерский портфель!

Дантон мигом проснулся и сел на кровати.

— Ты должен назначить меня секретарем министерства, — заявил Фабр.

— А меня одним из твоих личных секретарей, — присовокупил Демулен.

— Да подождите ради бога, праздные болтуны! Уверены ли вы, что я избран министром?

— Это так же неоспоримо, как дважды два — четыре!

Дантон проснулся окончательно и, улыбаясь, поглаживал свой массивный подбородок. Да, черт возьми! Жизнь хороша! Милостью пушек он стал министром!

Это была правда.

В тот же день Робеспьер был избран членом революционной Коммуны.

Всем казалось, что после дурного кошмара начинается новая жизнь.

Глава 6

«Робеспьериада»

Отгрохали ружейные залпы, умолкли пушки. Победа над деспотизмом стоила трудящимся большой крови. Но кровь народа пролилась недаром. Монархия рухнула. Напуганная Ассамблея на первых порах была вынуждена не только отрешить короля от власти, но и провести ряд реформ, отвечавших насущным требованиям масс. Были отменены некоторые феодальные повинности; была утверждена программа, выдвинутая Робеспьером накануне восстания, провозглашен созыв Национального Конвента: прекращалось изжившее себя деление граждан на активных и пассивных.

На гребне событий оказалась революционная Коммуна. Образованная из стойких демократов-якобинцев, Коммуна руководила восстанием. И после победы, опираясь на секции, она продолжала оставаться главным очагом народовластия. Действия Коммуны были многообразны. Она закрывала роялистские газеты, арестовывала контрреволюционеров, производила обыски у подозрительных лиц. Она добилась создания Чрезвычайного трибунала для борьбы с врагами народа. Ей принадлежала заслуга организации первых успехов в боях против интервентов.

Когда 19 августа прусско-австрийская армия под командованием герцога Брауншвейгского вторглась на территорию Франции, а затем овладела важными крепостями Лонгви и Верденом, Коммуна приняла на себя руководство национальной обороной. И в то время как струсившие «законодатели»

упаковывали чемоданы, собираясь покинуть Париж и перенести свои заседания в глубь страны, Коммуна, бросив лозунг: «К оружию! Враг у ворот!», объявила поголовную мобилизацию, провела набор шестидесяти тысяч бойцов, двинула новую армию навстречу интервентам, и вот победа при Вальми 20 сентября остановила врага, передала инициативу в руки французов и вновь спасла родину и революцию.

В организации всех этих смелых актов Максимилиан Робеспьер принимал самое активное и непосредственное участие.

Наряду с Маратом, который также вошел в новый состав Коммуны, Робеспьер стал одним из наиболее влиятельных ее руководителей. Повседневно общаясь с рядовыми санкюлотами, усваивая их плебейские методы борьбы, Неподкупный отходил от своих прежних абстракций, лучше понимал живую действительность, становился подлинным революционером-практиком. Он много содействовал росту влияния и авторитета Коммуны.

Но, обладая авторитетом, Коммуна не располагала полнотой власти. Обстоятельства сложились так, что основная власть сосредоточилась в руках жирондистов.

Восстание 10 августа раздавило фельянов. Их вожди — Лафайет, Дюпор и другие бежали из Франции, чтобы пополнить ряды контрреволюционных эмигрантов. Однако место фельянов тотчас же заняли Бриссо и его друзья — все эти «государственные люди», как не без иронии окрестил их Марат.

В то время когда народ сражался на улицах и брал штурмом Тюильри, жирондисты, бывшие противниками переворота 10 августа, сумели его использовать, захватив министерские портфели и добившись своего преобладания сначала в Законодательном собрании, а затем и в Конвенте.

В результате в Париже установились две власти: буржуазные слои, представленные жирондистами, окопались в Ассамблее и действовали непосредственно через Исполнительный совет (совет министров); народные массы, сохранявшие в руках оружие, взятое 10 августа, группировались вокруг Якобинского клуба и революционной Коммуны.

Правительство жирондистов боялось и ненавидело Коммуну. Оно использовало каждый повод для того, чтобы подорвать ее авторитет. Всего через две недели после восстания Ассамблея поставила вопрос о роспуске Коммуны; был подготовлен соответствующий декрет, но утвердить его и привести в действие не рискнули. Опасаясь вооруженного народа, правительство не чувствовало также единства в собственной

среде. Хотя министерство было в руках «государственных людей», самым влиятельным в нем оказался министр юстиции Жорж Дантон, полностью поддерживавший Коммуну и сыгравший одну из ведущих ролей в деле национальной обороны.

Борьба между Собранием и Коммуной отражала дальнейшее развитие противоречий, которые вполне обнаружились в предшествующий период и достигли предела в Конвенте. Это была борьба Горы и Жиронды.

Выборы в Национальный Конвент проходили в сложной обстановке. Париж, кровью своих сыновей завоевавший республику, отдавал голоса демократам-якобинцам. Первым депутатом столицы прошел Максимилиан Робеспьер. Вслед за ним наибольшим количеством голосов был избран Дантон. Париж избрал также Марата, Демулена, Лежандра, Билло-Варена, Колло д'Эрбуа, Огюстена Робеспьера, художника Давида. В числе имен видных якобинцев, избранных провинциальными департаментами, значились имена Кутона и Сен-Жюста. Однако провинция в отличие от столицы все еще находилась под влиянием демагогии жирондистов.

В особенности позиции жирондистов были сильны в западных, юго-западных и некоторых южных департаментах. Торговая и промышленная буржуазия юга и юго-запада возлагала все свои упования на «государственных людей». Вследствие этого в Конвент прошли не только все прежние жирондистские лидеры, но и ряд новых, в том числе соратник Робеспьера по Учредительному собранию Бюзо и марселец Барбару.

Якобинцы-демократы на первых же заседаниях Конвента заняли верхние скамьи амфитеатра. Вследствие этого их стали называть партией Горы (монтаньярами). Эта партия состояла из старых закаленных членов Общества друзей конституции и тех, кто по пути борьбы шел под их знаменем. С социальной точки зрения якобинский блок Конвента был довольно пестрым. В состав монтаньяров входили представители средней и мелкой буржуазии, крестьянства, малоимущего люда города и деревни. Все эти разнородные слои не получили еще полного удовлетворения своих требований в ходе революции и поэтому стремились не только закрепить ее успехи, но и развивать ее дальше, вширь и вглубь.

Жиронда была значительно более однородной. Представляя крупнособственнические слои, жирондисты боялись возрастающего влияния демократов и больше всего желали, как

некогда конституционалисты и фельяны, преградить путь дальнейшему развитию революции. Численно они преобладали над монтаньярами, располагая ста шестьюдесятью пятью депутатскими мандатами против неполных ста, имевшихся в распоряжении их противников. Поначалу жирондисты увлекли за собой и ту аморфную, но многочисленную группу (их было около пятисот человек), которая получила характерное прозвище «болота» или «брюха».

Среди депутатов «болота» попадались незаурядные люди, вроде аббата Сиейса, проявившего себя в годы Учредительного собрания. Но подавляющее число «болотных жаб» были просто дельцами, ловкачами, стремившимися использовать самоотверженную борьбу народа в личных целях. Политические обыватели, больше всего дрожавшие за свою шкуру, «жабы», каждый раз пристраивались к наиболее сильной партии и ждали своего часа.

Конвент открыл заседания 21 сентября 1792 года. День этот был объявлен первой датой новой эры — эры республики.

Учитывая сложность внутреннего и внешнего положения страны, вожди монтаньяров не хотели сразу же возобновлять борьбу. Напротив, жирондисты, исходя из преимуществ своего формального большинства и зная, что за ними пойдет послушное «болото», первыми ринулись в атаку. Еще 15 сентября одна из жирондистских газет назвала якобинцев «остервенелой шайкой, которая не блещет ни талантами, ни заслугами, но, одинаково ловко владея и кинжалом мести и стилетом клеветы, хочет добиться господства путем террора». Вождям монтаньяров было брошено в лицо обвинение в том, что они якобы спровоцировали «сентябрьские убийства» [1], хотя ранее сами жирондисты одобряли этот акт народного правосудия. Робеспьера, Дантона и Марата называли дезорганизаторами, приписывая им стремление учредить триумвират, диктующий свою волю Конвенту и стране.

Вместе с тем, боясь и ненавидя основной оплот монтаньяров — трудящееся население Парижа, вожаки Жиронды продолжали подкапываться под Коммуну. Вопя о тирании Коммуны, они потребовали для себя «департаментской стражи» — специальных вооруженных сил из провинции, которые они хотели противопоставить революционному Парижу. И вот по

---

[1] Так называли стихийную расправу народа с роялистами, заключенными в парижских тюрьмах в дни острой опасности иностранного вторжения (2—5 сентября 1792 года).

улицам столицы уже расхаживают жирные молодчики, оглашая воздух криками: «На гильотину Марата, Дантона и Робеспьера! Да здравствует Ролан!»

Монтаньяры вынуждены были ответить. Не располагая большинством в Конвенте, но уверенно опираясь на Коммуну, первый бой они дали в стенах Якобинского клуба. 10 октября после бурных дебатов из клуба был исключен Бриссо. Затем клуб покинули и другие жирондисты.

— Они достойные люди и порядочные республиканцы, — иронически провожал Неподкупный своих врагов. — Мы же санкюлоты и сволочь!..

Уход жирондистов содействовал превращению клуба в боевую политическую организацию революционной демократии.

Чувствуя руку Робеспьера и зная его популярность, вожди жирондистов решили сосредоточить огонь на нем. Стали вспоминать все старые наветы, собирать воедино всю прежнюю грязь, которую щедро расточали против Неподкупного в мае — июне. В салоне мадам Ролан, прежней поклонницы Максимилиана, которая еще так недавно предсказывала ему блистательный взлет на пути революции, из всего этого состряпали «Робеспьериаду» — лживейший клубок обвинений. Ее решено было бросить прямо с трибуны Конвента. Орудием избрали автора любовной истории кавалера Фоблаза романиста Луве.

29 октября на трибуну поднялся маленький тщедушный блондин с плешивой головой. Речь свою он начал так:

— Над городом Парижем долго тяготел крупный заговор; был момент, когда он едва не охватил всю Францию...

Конвент слушал. Наконец оратор дошел до знаменательных слов:

— Робеспьер, я обвиняю тебя! — И дальше каждый период своей длинной речи он вновь начинал этими же словами.

В чем жирондисты обвиняли Неподкупного?

В том, что он был самым популярным оратором Якобинского клуба; в том, что якобинцы боготворили его, объявляя единственным во Франции добродетельным человеком; в том, что он согласился войти в состав руководства Коммуны; в том, что он угрожал Законодательному собранию и отдельным его членам; в том, наконец, что он был в числе «провокаторов», призывавших Францию к «сентябрьским убийствам».

Речь Луве, слабая по существу, была произнесена в очень повышенном тоне, с яростью и запальчивостью. Она была благосклонно принята значительной частью Конвента.

Робеспьер мог бы тут же без большого труда опровергнуть своего обвинителя. Верный обычной осмотрительности, он поступил иначе. Он попросил недельной отсрочки для ответа. Враги торжествовали, считая, что их жертва растерянна и уничтожена. В действительности Неподкупный прекрасно знал, что делает. Он сразу разглядел слабое место противника. Речь, построенная на внешних эффектах, могла произвести минутное впечатление. Надо было дать время, чтобы это впечатление рассеялось. Пусть выскажется общество, выступят якобинцы, определят свои взгляды секции. Все это само по себе решит исход дела. А он пока спокойно подготовится к тщательному расследованию всех аргументов и тезисов своих противников. Жирондисты пытались донять его клеветой и раньше; тогда он, поглощенный другим, предоставил свою защиту друзьям и единомышленникам; клеветники оскандалились и временно отстали. Но это не сделало их благоразумными. Ну что ж, он ответит им сам. Он постарается дать такую отповедь, чтобы больше к этой теме не приходилось возвращаться.

С утра 5 ноября здание Конвента было оцеплено патрулями. Манеж окружала несметная толпа. И друзья и враги нетерпеливо ожидали.

Робеспьер явился лишь к полудню. Все его движения были подчеркнуто-спокойны. С галерей раздались крики:

— Неподкупный, на трибуну!

Неподкупный не спешил. Он ждал, пока напряжение достигнет предела. Наконец по знаку председателя он поднялся и медленно, с нахмуренным челом направился к трибуне. С самого начала своей речи он взял тот же размеренно-спокойный тон.

С легкостью показав лживость всех обвинений, направленных лично против него, оратор взял под защиту революционную Коммуну и патриотическую деятельность народа. При этом свою собственную роль он охарактеризовал с большой скромностью.

— Я горжусь тем, что мне приходится защищать здесь дело Коммуны и свое собственное, — сказал он. — Нет, я должен только радоваться тому, что многие граждане послужили общественному делу лучше меня. Я отнюдь не претендую на славу, не принадлежащую мне. Я был избран только

десятого числа; те же, кто был избран раньше, собрались в ратуше в ту грозную ночь — они-то и есть настоящие герои, боровшиеся за свободу...

Я видел здесь граждан, которые в напыщенных словах изобличали поведение совета Парижской коммуны. Незаконные аресты? Да разве возможно оценивать со сводом законов в руках те благодетельные меры, к которым приходится прибегать ради общественного спасения в критические моменты, вызванные бессилием самого закона?.. Все это было так же незаконно, как революция, как ниспровержение трона, как разрушение Бастилии, как незаконна сама свобода...

Граждане, неужели вы желали революцию без революции?..

Объясняя и оправдывая народное правосудие в дни 2—5 сентября, оратор напомнил, что тогда сам жирондистский министр Ролан одобрял действия народа, называя их предусмотрительными и справедливыми.

И тут Робеспьер, обращая взор прямо на своих врагов, бросает им предостережение, всей значимости которого они пока что не хотели да и не могли понять.

— Но подумайте о самих себе; взгляните, как вы запутываетесь в своих собственных сетях. Вы уже давно стараетесь вырвать у Собрания закон против подстрекателей к убийству — пусть он будет издан. Кто же окажется первой его жертвой? Не вы ли, так смешно клеветавшие на меня, будто я стремлюсь к тирании? Не вы ли, клявшиеся Брутом, что умертвите тиранов? Итак, ваше собственное признание изобличает вас в том, что вы призываете всех граждан убить меня. Разве я не слышал с этой самой трибуны криков ярости в ответ на ваши поучения? А эти прогулки вооруженных людей, которые свидетельствуют о неуважении к закону и авторитету властей? А эти крики, требующие голов некоторых народных представителей, в которых к проклятиям по моему адресу присоединяются похвалы вам и апология Людовику XVI? Кем они вызваны? Кто вводит народ в заблуждение? Кто возбуждает его? И вы еще говорите о законах, о добродетели, об агитаторах!..

Однако, сделав этот намек на будущее, оратор подчеркивает, что сам он далек от низменного чувства мести. Нет, он не собирается отвечать преследователям их презренным оружием. Он хочет лишь мира и свободы и во имя этих принципов готов пожертвовать не только своей репутацией, но и жизнью.

Речь Робеспьера была выслушана при всеобщем внимании. Ни один противник не рискнул прервать его. Вот сидят они — Верньо, Бриссо, Жансоне, хмурые, задумчивые, с опущенными головами. Их тактика опять потерпела поражение, Неподкупный опять победил их, и не только победил: он их унизил, не прибегая к ругани, и устрашил, не прибегая к угрозам.

Клеветник Луве — недавний триумфатор, к которому Робеспьер отнесся с полнейшим презрением, — пытался взять слово, но сделать этого ему не удалось. Тогда вскочил горячий Барбару, ярый ненавистник Максимилиана. Он требует, он вопит, стремясь перекричать аплодисменты галерей, он задыхается от злобы. Но его не хотят слушать. Взбешенный марселец сбегает вниз к решетке Конвента. Слушайте! Он собирается сделать новые разоблачения! Он готов подписать свои слова, он готов высечь их на мраморе! Но его все же не слушают: одни делают жесты удивления, другие возмущаются, третьи смеются... Какой позор! Барбару, иссушенный порывом, сникший, возвращается на место. Победа полная! Большинство собрания — пускай ненадолго — на стороне Неподкупного!

Подлинный триумф, однако, ждал Робеспьера вне стен Конвента. У входа его ожидала толпа. Тысячи простых людей с пением «Марсельезы» и «Карманьолы» провожали его до дверей Якобинского клуба. Таков был ответ «санкюлотов и сволочи» «порядочным республиканцам» и «достойным людям» Жиронды.

Капля горечи отравляет радость победы. Старый друг Робеспьера, его соратник в течение почти трех лет, бывший мэр Парижа Жером Петион подготовил речь к заседанию 5 ноября. Он не смог ее произнести из-за возбужденного состояния Конвента. Он ее напечатал.

До этого Петион, давно уже склонявшийся к жирондистам, крепился; в бурные дни мая — июня он старался примирить Бриссо и Робеспьера. Теперь, наконец, его прорвало. В своей речи он прежде всего стремился снять с себя всякую ответственность за 20 июня, 10 августа, 2—5 сентября. Он восхвалял Бриссо и оплевывал Марата. Что же касается Неподкупного, то бывший друг не поскупился на черные краски, давая ему характеристику. Он изобразил Робеспьера подозрительным и вместе с тем не прощающим ни малейшего подозрения, слишком склонным превозносить свои заслуги, не тер-

пящим противоречия, жаждущим аплодисментов и гоняющимся за преклонением народа. Отсюда мысль о диктатуре вне зависимости от того, желал или не желал таковую сам Максимилиан.

«...Как непостоянны дела человеческие, дорогой Петион, — отвечал Неподкупный своему прежнему единомышленнику, — коль скоро вы, недавно мой собрат по оружию и самый мирный человек, являетесь неожиданно самым ярым из моих обвинителей?..

...Своим новым друзьям, жирондистам, вы пожертвовали своей славою; дай бог, чтобы вы сохранили по крайней мере добродетель!..»

Но добродетель в подобных условиях сохранить трудно.

И Максимилиан с удивительной тонкостью намечает разницу в главном, отделяющем его, тоже осторожного и осмотрительного, от его бывшего соратника, которого народ когда-то называл «неподкупным законодателем».

«...Случается, что человек, казавшийся республиканцем в то время, когда не было республики, перестает быть им, когда республика существует. Он готов был принизить то, что стояло выше его, но сам не хочет спуститься с той высоты, на которую он вознесен. Он любит лишь те революции, в которых является героем, и не видит ничего, кроме анархии и беспорядка там, где он сам не управляет. Народ считается им бунтовщиком, если народ победил без него...»

«...Избавимся, дорогой Петион, от этих позорных слабостей...»

Да, печально разочаровываться в близком человеке, еще печальнее, когда покидает старый друг. Сколько еще раз придется пережить Максимилиану боль разрыва с теми, кто казался ему самым близким, самым дорогим, связанным с ним самыми неразрывными узами!..

В эти дни, когда разрываются прежние связи, он все более и более привязывается к своей новой семье, к своему новому дому. Правда, и здесь не обходится без конфликтов, подчас неприятных и тягостных. Он живет в семье Мориса Дюпле вместе со своим младшим братом, тоже членом Конвента. Сюда еще раньше, покинув родной Аррас, приезжает их сестра Шарлотта. Она видит, какой любовью окружен ее великий брат. Она наблюдает, с какой заботой опекает его домовитая мадам Дюпле, с каким вниманием прислушиваются к каждому его слову дочери столяра. А старшая, Элеонора, не питает

ли она к Максимилиану чувств более нежных и глубоких, чем остальные? Трибун, погруженный в свои дела и думы, быть может, и не замечает этого. Но ревнивый глаз Шарлотты улавливает каждую мелочь. Ах, вот оно что! Ее дорогого брата, который теперь стал одним из самых знаменитых людей в стране, они, эти глупые Дюпле, хотят прибрать к рукам! Они держат его нахлебником и готовят приманку в лице своей старшей дочери! Пропусти момент — и все! Ловушку захлопнут! Но нет. Она-то видит и понимает достаточно хорошо, она не допустит подобного конфуза.

Начинается домашняя женская война, объектом которой становится человек, сотрясающий троны и партии. Как известно, от великого до смешного один шаг. Непреклонный и непоколебимый в большой политике, в семье, среди женщин Максимилиан хуже малого ребенка. Он робок и покорен, он не хочет обидеть никого из тех, кто его любит. Шарлотта с жаром доказывает, что Максимилиану при его положении просто неприлично находиться в роли приживальщика. Занимаемый им высокий пост обязывает его иметь собственную квартиру, и найдет ли он себе лучшую домоправительницу, чем она, его любящая Шарлотта, которая ради него готова отказаться от личной жизни и всю себя посвятить заботам о его очаге!

Максимилиан признавал справедливость подобных доводов, но поддавался им нехотя. Однако его настойчивая сестрица действовала с таким жаром и упорством, что в конце концов добилась своего. Была снята квартира на улице Сен-Флорантен, и Робеспьеры не замедлили в ней водвориться. Шарлотта приложила все старания, чтобы обеспечить Максимилиану надлежащий уход. Тщетно! Трибун скучал и тосковал о том, что было им так неблагодарно оставлено. В конце концов он даже прихворнул.

Когда мадам Дюпле узнала об этом, она, подобно разъяренной фурии, нагрянула на улицу Сен-Флорантен. Вот как! Здесь много говорят, а охранить покой и здоровье великого человека не могут! Разгневанная дама пускает множество злобно отточенных стрел в сердце своей соперницы. Новая ожесточенная борьба — и виновник ее вновь оказывается в своей каморке на улице Сент-Оноре. Надо ли говорить, что теперь его окружили еще бóльшими заботами и любовью, чем прежде? Надо ли говорить, что теперь он отсюда никогда и никуда уже больше не уедет? Да, в горькие дни и часы, когда его обливает грязью Луве, когда предает Петион, когда звено за звеном разматывается ржавая цепь «Робеспьериады»,

здесь, в этой дружной семье, среди преданных сердец он найдет забвение и покой, столь необходимые для напряженной работы.

Но ничто не проходит бесследно. Вода, падающая по капле, долбит камень. Судорожная злоба и клевета в течение трех лет, впивавшиеся в мозг и сердце, незримо делали свое дело, а последние кампании подвели роковой итог. К концу этого столь богатого событиями 1792 года Максимилиан Робеспьер был уже не тем, каким видели его современники в начале революции. Внутренне в отношении своих принципов и идеалов он оставался, правда, по-прежнему Неподкупным, Непреклонным, Непоколебимым — здесь ничто не могло его изменить. Но взгляните на его внешность, попробуйте присмотреться повнимательнее к его характеру.

Вот он идет между рядами депутатских мест, пробираясь к трибуне. Он бледен до синевы, его светлые глаза полузакрыты, лицо нервно подергивается. На лбу — две пары очков: зрение непоправимо ослаблено. Его улыбка, если она изредка появляется, кажется принужденной, мягкое от природы выражение лица испорчено налетом озлобленности.

Когда-то он был добродушен, доверчив, общителен. А как заразительно он смеялся! Теперь никто не слышал его смеха. Враги корили его подозрительностью. Да, он стал подозрительным до болезненности, но кто же был тому виной?

Он не строил иллюзий относительно своей судьбы. Он знал, что погибнет смертью мученика, и, казалось, жаждал этой смерти. Подобная мысль, во всяком случае, проскальзывает в некоторых его письмах и речах. Но о чем он не помышлял никогда — это об отступлении. Биться до конца, если нужно для дела, погибнуть, но добиваться осуществления своих идеалов. Жить свободным или умереть! Этот девиз революции был и его девизом.

И вот теперь, измученный, но не отступивший, только что одержав победу, он готовился к новой, еще более трудной и жестокой борьбе.

Глава 7

Людовик должен умереть

Болезнь Робеспьера, в ходе которой соперничество женщин, его опекавших, достигло апогея, была продолжительной. Свалившись сразу после заседания 5 ноября, он проле-

жал до конца месяца. Но недуг не ослабил зоркости и энергии народного трибуна. С пристальным вниманием следил он за тем, что происходило в Конвенте, в Париже, в стране. И готовил слово, чтобы произнести его в нужный момент.

Момент приближался. На очереди был процесс короля.

Восстание, решившее судьбу монархии, не решило судьбы монарха. По требованию народа Людовик XVI был низложен и вместе с семейством заключен в Тампльскую башню. А дальше?.. Жирондисты, находившиеся у власти, хотели уйти от этого вопроса. Боясь как огня дальнейшего развития революции, не веря в прочность и длительность существования республики, соратники Бриссо и Ролана старались оттянуть решение участи Людовика и в конечном итоге спасти его. Законодательный комитет, которому было поручено изучить и подготовить дело, тратил время на обсуждение тонкостей судебной процедуры и выслушивание бесконечно длинных докладов. Жирондисты надеялись упрятать короля за конституцию 1791 года, доказывая, что он неприкосновенен, а следовательно, не может быть и судим.

В дни, когда Робеспьер все еще был прикован к постели, на планы «государственных людей» один за другим обрушились два удара.

Первым из них оказалась речь депутата-монтаньяра Сен-Жюста. 14 ноября этот строгий, холодный юноша доказал беспочвенность юридических потуг жирондистов. Короля, утверждал Сен-Жюст, следует судить вовсе не с точки зрения норм обычного права. В данном случае дело идет не о судебном решении, а о политическом акте: Людовик — враг целой нации, и к нему применим только один закон — закон военного времени.

Конвент дрогнул.

Лидеры Жиронды пытались увернуться. Они выдвинули тезис о том, что для деспота низложение страшнее смерти. Оставить тирана в живых, вырвав у него когти, не худшая ли это из кар? Унижение и позор бывшего короля, обреченного влачить жалкое существование среди свободного народа, — не живой ли это урок народам и правителям?

Но шесть дней спустя после речи Сен-Жюста защитников монарха постигло новое бедствие. В Тюильрийском дворце был обнаружен вделанный в стену железный шкаф. В нем ока-

залась тайная переписка Людовика XVI и ряд других секретных документов. Эти документы удостоверили измену Мирабо и Лафайета, открыли сношения короля с его братьями-эмигрантами, выявили многочисленные подкупы и тайную организацию бегства в Варенн. Беда жирондистов усугублялась и тем, что в народе жила уверенность, будто министр внутренних дел Ролан утаил часть найденных документов.

Стремясь выиграть время, а также направить гнев и ярость парижских санкюлотов в другую сторону, мужи Жиронды сделали отчаянный ход. Они постарались приковать внимание законодателей к продовольственному вопросу. В плане помощи голодающему народу? Отнюдь нет. В плане усиления репрессий против недовольных.

Давно уже в адресах, которыми провинция забрасывала Конвент, наряду с требованиями суда над королем слышались жалобы на нужду, на дороговизну, на отсутствие продуктов. В ряде департаментов начинались волнения. И вот теперь, отвлекая общественность от особы короля, бриссотинцы начали вновь вопить о «мятежниках», «дезорганизаторах», «смутьянах», требуя суровых ответных мер.

Робеспьер понял ход и поспешил его разоблачить.

30 ноября он впервые после болезни появился на трибуне Конвента. В своей короткой речи с обычной прозорливостью и логикой он вернул внимание депутатов к главной политической проблеме.

Репрессии против голодающих? Меры пресечения? Существуют более общие меры, несравненно более действенные и спасительные для отечества. Ибо козни и смуты идут от приспешников тирана, а тиран все еще не осужден!

Последние слова оратора звучали как внушение:

— Пока Конвент будет откладывать этот процесс, до тех пор он будет поддерживать заговоры и питать надежды роялистов. Вы перейдете к вопросу о съестных припасах лишь по завершении дела короля.

Проблема была поставлена. Могли ли жирондисты от нее отмахнуться? Неподкупный не дал им этого сделать. Через два дня он выступил с новой речью. Использовав и развив главную мысль Сен-Жюста, Робеспьер дал глубокий и всесторонний анализ разбираемого вопроса. Эта бесстрастная по форме, спокойно произнесенная речь должна была зазвучать для планов Жиронды звоном погребального колокола.

— Собрание незаметно уклонилось от существа вопроса. Здесь незачем возбуждать процесс. Людовик не обвиняемый, вы не судьи, вы государственные деятели, представители нации, и не можете быть ничем иным. Вам предстоит не произнести приговор «за» или «против» известной личности, а принять меру общественного спасения, сыграть роль защитников нации.

Пресловутый вопрос, занимающий вас, решается в нескольких словах. Людовик лишен престола за свои преступления; он объявил мятежным французский народ и в наказание призвал против него своих собратьев-тиранов. Победа и народ решили, что мятежником был он. Следовательно, Людовик не может быть судим: он уже осужден или республика не оправдана. Привлекать к суду Людовика XVI в какой бы то ни было форме — это значит возвращаться вспять к монархическому и конституционному деспотизму; эта идея контрреволюционная, ибо она ставит под сомнение самоё революцию.

Оратор указывает, что даже вне зависимости от того, будет Людовик оправдан или осужден, само воскрешение короля, уничтоженного народом, сама организация процесса — это новый предлог для смут и мятежей; процесс дает оружие в руки поборников Людовика XVI, разрешает хулить республику и народ, ибо право защищать деспота есть право пропагандировать роялистские взгляды. Длительный процесс, таким образом, не может привести ни к чему иному, кроме как к оживлению реакции, к возвращению надежд на восстановление монархии, к ажиотажу всех темных, контрреволюционных сил.

Людовика хотят упрятать за конституцию 1791 года, прикрывая его пресловутой неприкосновенностью.

Но как можно ссылаться на конституцию, желая защищать короля, если король сам эту конституцию уничтожил?

Взор оратора останавливается на жирондистских лидерах. В голосе его появляется злая ирония.

— Но конституция запрещала вам все, что вы сделали с ним! Если он мог быть наказан только низложением, то вы не имели права принимать эту меру без суда; вы не имели никакого права держать его в тюрьме; мало того, он имеет полное право требовать от вас своего освобождения и вознаграждения за потери. Конституция вас осуждает. Бросайтесь же к ногам Людовика, чтобы вымолить его прощение!..

В зале слышатся смех и аплодисменты. Он добился эффекта, на который рассчитывал. Его мысль предельно ясна. Что можно ей противопоставить?..

Остается вопрос о мере наказания.

Оратор напоминает, как некогда, еще в первой Ассамблее, он сам требовал отмены и запрещения смертной казни. Но данный случай — случай особого рода. Даже если бы смертная казнь была отменена для всех, ее пришлось бы сохранить для тирана.

— Когда речь идет о короле, сброшенном с трона ураганом революции, которая далеко еще не упрочена справедливыми законами, о короле, одно имя которого навлекает бич войны на восставшую нацию, тогда ни тюрьма, ни изгнание не могут обезвредить его. И это жестокое исключение из обычных законов, которое допускается справедливостью, обусловливается самой природой его преступлений. С прискорбием высказываю роковую истину: пусть лучше погибнет Людовик, чем сто тысяч добродетельных граждан. Людовик должен умереть, если родина хочет жить!..

...Оратор кончил. Он спокойно собирает листы речи, не спеша складывает их в папку, спускается с трибуны. Зал молчит.

И вдруг раздается гром рукоплесканий. Аплодируют все — и друзья и враги, аплодируют вожди жирондистов и «болотные жабы». Почему они с таким энтузиазмом бьют в ладоши? Неужели порыв так велик, что захватил и их вопреки тому, что именно они должны были почувствовать всю силу удара? Или, понимая, что их карта бита, они стремятся спасти себя лицемерием?.. Во всяком случае, депутаты «брюха» теперь поостерегутся бездумно следовать за жирондистами.

В этот день жирондисты снова потеряли большинство в Конвенте.

Робеспьер знал, что делает: требуя казни, он добился суда. Под непосредственным впечатлением от его речи немедленно принимается декрет: «Национальный Конвент будет судить Людовика XVI».

Его бывшее величество, теперь называемый просто Людовиком Капетом, жил со своей семьей в унылой Тампльской башне. Узники Тампля находились под строгим надзором Коммуны. Впрочем, им не чинили никаких утеснений. К услугам Людовика была обширная библиотека. В то время как люди, совершившие революцию, питались отрубями, к столу низложенного короля подавали белый хлеб особой выпечки, вина нескольких сортов, фрукты, пирожные и печенья.

Одежда и пропитание королевской семьи обходились Коммуне до двадцати тысяч ливров в месяц.

11 декабря однообразие жизни Тампля было нарушено. С утра забили тревогу, и кавалерийский отряд, предшествуемый несколькими орудиями, вступил во двор башни. В этот день Людовика должны были отвезти в Конвент для допроса.

И вот он стоит перед решеткой Конвента. Ничто не выдает в нем бывшего короля: нет ни орденов, ни золотого шитья, щеки обросли волосами, взгляд тускл и апатичен.

Собрание молчит. Депутаты смотрят на человека, перед которым они еще так недавно снимали шляпы, которому многие из них восторженно рукоплескали как своему повелителю. Уж не чувство ли жалости к поверженному прокрадывается в их души?..

Но едва он заговорил, и всякое подобие жалости должно было безвозвратно рассеяться.

Из всех способов защиты Людовик выбрал самый неудачный. Он стал на путь огульного отрицания, на путь прямой, неприкрытой лжи.

Все его ответы носили одну и ту же форму: «Это было до принятия конституции»; «Я имел в то время на это право»; «Это касается министров»; «Я не помню»; «Я не имею об этом ни малейшего понятия».

Когда ему предъявили компрометирующие документы, Людовик отверг их подлинность. Когда его спросили о железном сейфе, он ответил, что ничего о нем не знал.

Ложь была очевидна. Это должно было ожесточить депутатов, враждебно относившихся к королю, и увеличить затруднения тех, кто хотел его спасти.

При выходе из Конвента Людовик увидел прокурора Коммуны, который ел черный хлеб. Король, как обычно чувствовавший голод, попросил кусочек.

— Пожалуйста, — ответил Шомет, — отломите, это спартанский завтрак...

Когда король сел в карету мэра, чтобы отправиться в Тампль, он все еще держал в руках кусок народного хлеба. Несмотря на желание поесть, этот темный мякиш, напоминавший замазку, не лез ему в горло!.. Заместитель мэра, видя, что хлеб стесняет бывшего монарха, взял его из рук Людовика и выбросил на улицу.

Уверенность жирондистов была сильно поколеблена. Но они не хотели признать себя побежденными. Время между 10 и 26 декабря, пока составляли и зачитывали длинный

обвинительный акт, допрашивали Людовика и выслушивали речь адвоката, они использовали для того, чтобы собраться с силами и выработать новый план действий. Не имея больше возможности настаивать на неприкосновенности короля и на отказе от суда, лидеры жирондистов выдвинули тезис об апелляции к народу. Члены Конвента — утверждали они — не могут быть одновременно и обвинителями и судьями; для окончательного решения судьбы короля нужна более высокая инстанция. Такой инстанцией может быть только сам народ. Предлагая Конвенту высказаться лишь по вопросу о виновности Людовика, жирондист Салль указывал, что этому органу одинаково опасно и приговорить короля к казни и оставить его в живых: в первом случае народы окружат Людовика ореолом мученика, а монархи Европы используют казнь как предлог для новой войны с Францией; во втором — останутся безнаказанными чудовищные преступления. Поэтому, заключал Салль, Конвенту остается только признать себя некомпетентным в вынесении приговора и обратиться к народу. Народ должен высказаться по секциям и департаментам на первичных собраниях, а результаты голосования будут подсчитаны в Конвенте.

Салля горячо поддержал Бюзо.

Это предложение представляло весьма остроумный трюк, предпринятый с целью — буквально в последний момент — сорвать вынесение приговора, который был уже у всех на устах.

На этот раз Неподкупный гневен. Теперь он не только объясняет, теперь он обвиняет, причем обвиняет прямо в упор. Но вся сила гнева оратора обнаруживается не сразу, она нарастает по мере того, как раскрывается перед слушателями пункт за пунктом существо нового плана жирондистов.

Робеспьер начинает свою речь с удивления, что вопрос, ясный сам по себе, обсужденный со всех точек зрения, вдруг вызвал новые споры.

Суд окончен. Обвиняемый сам признал, что все формальности выполнены, что ему нечего больше сказать. Ряд депутатов пожелал отсрочки, дабы иметь возможность свободно обменяться мнениями, и эта отсрочка была дана.

Казалось бы, все. Но нет, именно теперь вносится предложение, которое грозит продолжить процесс до бесконечности, а республику привести к гибели.

Судьба короля согласно новому проекту должна обсуждаться в сорока четырех тысячах первичных собраний. Каждое из них станет ареной ожесточенной борьбы. Туда неминуемо проникнут фельяны, которые напрягут все силы, чтобы разжалобить в пользу тирана наивных простаков. Истинные же представители народа на эти собрания не попадут. Захочет ли земледелец покинуть свое поле, решится ли ремесленник бросить свою работу, дающую ему хлеб насущный, чтобы углубиться в дебри уголовного кодекса и изыскивать род наказания для Людовика Капета? Очевидно, нет. А если так, то слабость этих собраний послужит лишь для консолидации всех роялистских сил. Апелляция к народу превратится в апелляцию против народа, ко всем врагам народа.

Напряженное внимание в зале усиливается. Оратор еще только анализирует, холодный и сдержанный, он еще только взвешивает свои положения, но уже чувствуется, как с каждой новой фразой приближается гроза. Вот он, наконец, формулирует и бросает страшное обвинение, от которого не уйти тем, против кого оно направлено.

— Таков ужасающий план, который дерзко предлагают нам — будем называть вещи их именами — глубочайшее лицемерие и наглейшее мошенничество, прикрываясь флагом ненавистного им народного самодержавия!

И эту безрассудную меру вам предлагают во имя общественного спокойствия, ее прикрывают желанием избежать гражданской войны!

Оратор преображается. Теперь это уже не холодный исследователь истины, это пламенный обличитель.

— Не очевидно ли, в самом деле, что здесь ведется процесс не столько против Людовика XVI, сколько против самых горячих защитников свободы? Разве здесь восстают против тирании Людовика? Вовсе нет! Здесь возмущаются тиранией маленькой кучки угнетенных патриотов. Разве здесь страшатся заговоров аристократии? Ничуть! Нас пугают диктатурой каких-то представителей народа, которые будто бы хотят узурпировать его власть. Здесь хотят сохранить тирана, чтобы выставить его против обезоруженных патриотов. Предатели! В их распоряжении вся военная сила, вся государственная казна — и они обвиняют нас в деспотизме! В республике нет ни одной деревушки, где они не закидали бы нас грязью; они растрачивают общественное достояние на свои пасквили; они осмеливаются изменять общественному доверию, нарушая тайну корреспонденции, чтобы пере-

хватывать депеши патриотов и заглушать крик истины, и они же кричат о клевете! Они отнимают у нас даже право голоса и нас же клеймят именем тиранов! Они видят бунт в скорбных порывах патриотизма, оскорбленного неслыханной изменой, они оглашают это святилище воплями ярости и мести!..

Но вот Неподкупный вновь спокоен. Он подводит итоги. Он констатирует. И эта холодная констатация для многих сидящих здесь страшнее самых пламенных призывов.

— Да, это несомненно: авторы проекта хотят унизить Конвент, а может быть, и уничтожить его, пользуясь этим бесконечным процессом. И не в тех людях гнездится измена, которые стойко защищают принципы свободы, не в народе, который пожертвовал для нее всем, не в Национальном Конвенте, который стремится к добру и истине, и даже не в тех личностях, которые являются лишь игрушками злополучной интриги и слепым орудием чужих страстей: она гнездится в дюжине-другой плутов, которые держат в своих руках все нити заговора. Храня молчание, когда обсуждаются важнейшие вопросы дня, они втихомолку возбуждают смуты, раздирающие нас теперь, и готовят бедствия, ожидающие нас в будущем...

Оратор заканчивает призывом к бдительности и повторяет требование о смертном приговоре Людовику.

После этой речи нет такого единодушия в аплодисментах, как прошлый раз. Часть депутатов точно окостенела. Страх сковал члены, немота парализовала языки. «Государственные люди» раздавлены. Их истинные планы разоблачены. Напрасно думали они, что можно спрятаться за апелляцию к народу, за самое слово «народ». Неподкупный, не оставивший камня на камне в фундаменте их постройки, убедительно доказал, насколько они враждебны народу. И самое страшное было в том, что оратор якобинцев говорил не от себя, не от своей партии, а от лица того народа, именем которого жирондисты пытались так неудачно спекулировать и которого, по существу, они боялись больше всего на свете. И поэтому не только речь их поражает. Их окончательно добивает то, свидетелями чего они становятся в ближайшие дни после заседания 28 декабря.

Народ услышал Робеспьера. Его речь была напечатана на общественный счет, по подписке, распространенной среди парижан. Она нашла отклик даже в департаментах, где жирон-

дисты еще сохраняли свои позиции. Из разных концов страны вновь стали приходить петиции с требованием смертного приговора Людовику XVI. Наконец 30 декабря Конвенту пришлось стать свидетелем внушительного и печального зрелища. Явилась делегация от восемнадцати парижских секций. В ее рядах находились ветераны революции, получившие увечья 10 августа, вдовы и сироты граждан, павших в этот день. После короткого гневного слова их оратора посланцы секций прошли через зал, обойдя его по кругу. Страшная это была картина! Женщины, поднимающие к депутатам своих осиротевших малюток, юноши на костылях, безногие обрубки на тележках... Некоторых совершенно искалеченных людей проносили на носилках, других, потерявших зрение, вели поводыри...

Депутаты на нижних скамьях старались не смотреть на проходивших, не встречаться глазами с отыскивающими их пламенными взглядами.

Теперь уже ничто не могло спасти позиции жирондистов. Тщетно было красноречие Верньо, речь которого, запоздало выдвинутая в качестве тяжелой артиллерии, поглотила все заседание 31 декабря, тщетны были строго продуманное выступление Бриссо и полная ядовитой клеветы короткая, но злобная речь Жансоне. Красноречие не могло изменить хода событий.

Опасаясь возрастающего народного гнева, жирондисты после этих последних взлетов смолкли и сникли: кампания была проиграна. Боясь обвинений в роялизме, которые действительно раздавались тут и там, «государственные люди» должны были пожертвовать Людовиком в интересах самосохранения.

16 января началось поименное голосование приговора. Оно продолжалось тридцать шесть часов подряд.

Как и можно было предвидеть, трепещущие жирондисты предали короля, за жизнь которого перед этим так отчаянно боролись: большинство их не рискнуло выступить против казни. Людовик был осужден на смерть большинством в 387 голосов при 721 голосовавшем депутате.

Робеспьеру было суждено сорвать и последнюю слабую попытку группы двадцати шести жирондистов во главе

с Бриссо добиться оттяжки если не приговора — приговор был уже вынесен, — то хотя бы самой казни.

Два дня подряд, на заседаниях 18 и 19 января, Бриссо, Бюзо, Кондорсе, сменяя друг друга на трибуне, с жаром доказывали, что приговор не следует приводить в исполнение тотчас же. Поспешность исполнения приговора, уверяли они, вооружит против Франции всю Европу и навлечет на головы французов неслыханные бедствия; она восстановит не только королей, но и нации, которые припишут ее жажде мести и давлению кучки интриганов; для внутреннего спокойствия страны также было бы лучше отложить казнь до принятия новой конституции.

В своем коротком выступлении Робеспьер с обычной логикой показал слабость всех этих аргументов. Приговор выносится для того, чтобы быть исполненным. Действительно, стоило ли так горячо дебатировать, так спешить с судом, наконец, стоило ли в течение двух последних месяцев заниматься исключительно делом короля для того, чтобы, вынеся, наконец, приговор, спрятать его под сукно? Откладыванием казни нельзя улучшить ни внутреннее, ни внешнее положение страны. Напротив, это будет вселять преступные и гибельные надежды и будить чувство малодушной жалости, что может привести к волнениям, не ослабляя ненависти и злобы внешних врагов. Тираны примут этот факт как проявление трусости и лишь еще более укрепятся в своей надежде поработить французский народ.

Большинство депутатов отклонило предложение группы Бриссо.

Утром 21 января Морис Дюпле наглухо запер ворота своего дома и закрыл ставнями окна, выходившие на улицу.

— Зачем вы делаете это? — спросила его Элеонора.

— Ваш отец поступил правильно, — ответил вместо столяра Робеспьер, — здесь вскоре произойдет кое-что, чего вам не следует видеть.

Действительно, около десяти часов утра обитатели дома № 366 услышали стук колес и топот лошадей: это бывший король проезжал по улице Сент-Оноре, совершая свой последний путь из Тампля на эшафот.

В 10 часов 20 минут палач показал народу отрубленную голову под единодушный крик: «Да здравствует республика! Да здравствует нация!»

Так закончился этот процесс между целой нацией и одним человеком, как назвал его защитник Людовика XVI, или, точнее, процесс между двумя главными партиями на решающем этапе революции.

Благодаря упорству и твердости Максимилиана Робеспьера монтаньяры приблизились еще на шаг к победе, жирондисты — к падению.

Глава 8

Падение Жиронды

Неподкупный действовал с редкой методичностью. Сначала он только оборонялся. 5 ноября он предупредил. 3 декабря — объяснил ситуацию. 28-го — нанес решающий удар. Планомерно наступая на врага, он при поддержке Марата, Сен-Жюста и других демократов сжимал кольцо осады. Но затем ярость его атак временно ослабела. Конец зимы и начало весны 1793 года обозначили интервал в наступательном марше Горы против Жиронды. Причиной тому была активизация «бешеных».

«Бешеными» жирондисты окрестили группу народных агитаторов, представлявших самое левое крыло в лагере демократов. Главное место среди них занимал Жак Ру. Священник, некогда проповедовавший на юге Франции, Жак Ру был хорошо знаком с беспросветной нуждой городской и сельской бедноты. Став видным членом Клуба кордельеров, он близко сошелся с Маратом и одно время укрывал его даже на своей квартире. Секция Гравилье выдвинула Ру в члены Генерального совета Коммуны. «Красный священник» беспощадно обличал экономическую политику жирондистов. «Нет большего преступления, — говорил он, — чем наживаться за счет народных бедствий и производить ростовщические сделки, вызывая слезы и разорение народа. Нация, сбросившая с себя иго тирана, должна обрушиться на жестокие происки аристократии богатства».

Ру не был одинок. Рядом с ним выступали Жан Варле, Теофиль Леклер, актриса Клэр Лакомб. «Бешеные» требовали смертной казни для спекулянтов, строгих законов в отношении хлебной торговли, установления максимума (предельных твердых цен) на продукты и предметы первой необходимости. Не ставя вопроса об уничтожении частной собст-

венности, «бешеные» вместе с тем гораздо последовательнее всех других демократических группировок боролись за социальное равенство. Агитация «бешеных» зимой — весной 1793 года отвечала борьбе и чаяниям широких народных масс, в первую очередь беднейших слоев населения Парижа. Требование максимума стало главным лозунгом санкюлотов столицы.

Все это осложнило борьбу, кипевшую в Конвенте. Поскольку Ру и его товарищи своими призывами били прямо по жирондистам, мысль о союзе монтаньяров с «бешеными», казалось бы, напрашивалась сама собой. Но к этой мысли лидеры монтаньяров пришли не сразу. Правда, они не разделяли жирондистской теории невмешательства государства в экономические отношения. В равной мере они не поддерживали и социальных мероприятий жирондистов. Еще в декабре 1792 года Сен-Жюст обрушивался на правительственные махинации с необеспеченными выпусками бумажных денег. Тогда же Робеспьер в сильной речи осудил теоретические построения «государственных людей». Критикуя экономический либерализм жирондистов, Неподкупный утверждал, что защитники ничем не ограниченной свободы торговли доводят страну до голода. «Необходимая для человека пища, — указывал Робеспьер, — так же священна, как и его жизнь. Все нужное для сохранения этой последней составляет достояние всего общества; только излишек является частной собственностью, только его можно отдавать коммерсантам. Всякая спекуляция, производимая в ущерб жизни себе подобных, есть не торговля, а разбой. Никто не имеет права собирать у себя груды хлеба, когда рядом люди умирают с голоду. Первое из прав есть право на существование, первый закон общежития есть обеспечение за всеми членами общества средств существования». Однако выводы, делаемые вождем якобинцев, были слабее, чем можно было бы ожидать, исходя из его речи. Робеспьер требовал, чтобы Конвент произвел учет имеющихся налицо запасов зерна, позаботился об обеспечении им рынков и определил строгие наказания за спекуляцию; до идеи установления твердых цен Неподкупный не доходил. Ученик Руссо, он опасался, что пропаганда «бешеных» может нанести непоправимый удар принципу частной собственности, которую он считал одной из основ общества. Требования социального равенства наводили Максимилиана на мысль о ненавистном ему «аграрном законе» — полном

переделе земли, который, на его взгляд, находился в вопиющем противоречии с принципами законности и естественного права. Под влиянием всех этих соображений Робеспьер не только осудил Жака Ру и его соратников, но в феврале — марте умерил остроту своих выступлений против жирондистов. Позиции Неподкупного разделяли другие демократы-якобинцы. Марат сожалел, что на дверях разгромленных парижских лавок не повесили для примера нескольких скупщиков, однако он также не принимал в полной мере требований «бешеных». Что же касается Дантона, то он теперь был не прочь пойти даже на примирение «с государственными людьми», и не его вина была в том, что это примирение не удалось.

Жирондисты не сумели использовать передышку. Напротив, словно забыв недавние удары, они наглели ото дня на день. Особенно ободрило их то, что якобинцы не поддержали попытку народного восстания, предпринятую 9—10 марта, под руководством «бешеных».

Однако вскоре все изменилось. В том же марте внезапно произошли непредвиденные события, которые заставили монтаньяров переосмыслить свою стратегию и тактику. Этими событиями были восстание в Вандее и измена Дюмурье.

Вандея и соседние с ней области представляли экономически отсталые провинции страны. Патриархальное крестьянство, основное их население, было связано крепкими узами со своими помещиками. Почти изолированные от идей революции, слабо проникавших в эти окраинные районы, завидовавшие быстро богатевшей буржуазии и подстрекаемые кулацкой прослойкой, забитые крестьяне Вандеи оказались весьма восприимчивыми к контрреволюционной пропаганде дворянства и духовенства. Орудовавших здесь роялистов-эмигрантов щедро субсидировала Англия. В первые же дни мятежа повстанцы захватили Нант и устроили резню, в которой погибло более пятисот сторонников революции. Вскоре восстание перекинулось в Нормандию и Бретань.

С Дюмурье дело обстояло и того хуже. Этот кумир жирондистов давно уже вел двойную игру. Не выполнив приказа Конвента о занятии Голландии, бывший военный министр бездействовал всю зиму, дав возможность австрийцам реорганизовать и усилить свою армию. Затем он вступил в тайные

переговоры с врагом, а в Париж отправил наглое письмо, в котором называл Конвент «сборищем дураков» и требовал уничтожения Якобинского клуба. Авантюрист мечтал о военной диктатуре. Но он просчитался, переоценив свое влияние на солдат. Пойдя по стопам Лафайета, он вынужден был разделить и его судьбу. Когда измена стала явной, армия покинула Дюмурье, и в конце марта он с небольшой группой приближенных бежал к австрийцам. Французам пришлось оставить Бельгию. Войска интервентов вновь оказались у порога республики.

И вандейский мятеж и в особенности измена Дюмурье сильно дискредитировали жирондистов.

Господа эти не предприняли каких-либо действенных шагов, чтобы подавить мятеж в зародышевой стадии. Напротив, ему дали окрепнуть и переброситься в соседние районы. В этом не было ничего удивительного: многие из «государственных людей» втайне сочувствовали контрреволюционному восстанию. В равной мере не могла смутить жирондистов измена Дюмурье, отнюдь не являвшаяся случайным делом: она символизировала настроения крупной буржуазии, окончательно отошедшей от революции и стремившейся объединиться с роялистами. Да, теперь лидеры Жиронды видели единственное спасение для себя и тех слоев, которые они представляли, в поражении республики. Это было очевидно. И очевидность этого проявилась в первую очередь в стремительном росте влияния «бешеных». Отныне их поддерживали не только плебейские массы, но и значительная часть мелкой буржуазии. Отныне их социальная и политическая программа стала казаться единственно пригодной для спасения независимости и завоеваний революции.

Левые якобинцы во главе с Шометом уже давно находили точки соприкосновения с Жаком Ру. Теперь, в начале апреля, Коммуна решительно поддержала требование максимума и тем самым подала руку «бешеным».

Очнулся и Дантон. Как бы стыдясь за свою недавнюю слабость, он начал действовать с порывистой горячностью, тем более что лидеры жирондистов, сваливая с больной головы на здоровую, пытались обвинить его в предательских махинациях с Дюмурье. Выступая в Конвенте 1 апреля, он потребовал, чтобы монтаньяры отказались от каких-либо соглашений с «государственными людьми». Он был одним из инициаторов восстановления Чрезвычайного трибунала для борь-

бы с контрреволюцией, переименованного вскоре в Революционный трибунал. Наконец, Дантон сделался самым влиятельным членом образованного 6 апреля Комитета общественного спасения — нового органа, получившего весьма широкие полномочия, вплоть до права контроля над Исполнительным советом.

Очередь была за Неподкупным.

Неподкупный, казалось, выжидал. Он молча наблюдал за всем происходившим. После выступления Дантона он еще помедлил два дня. Затем 3 апреля поднялся на трибуну с видом мрачной решимости.

— Пора кончать комедию! Необходимо, чтобы Конвент принял революционные меры — свобода под угрозой!..

Оратор разнес жирондистский Комитет обороны, назвав его советом Дюмурье. Он набросился на сообщников мятежного генерала и потребовал возбуждения дела против Бриссо.

Это была прелюдия. Полный текст обвинительного акта — подлинного обвинительного акта, который составлялся в течение многих дней и ночей, — «государственные люди» получили 10 апреля.

Свою длинную речь Робеспьер начал словами:

— Сильная партия ведет вместе с европейскими тиранами заговор с целью дать нам короля и аристократическую конституцию.

И далее оратор показал всю деятельность этой «сильной партии» от первых шагов Законодательного собрания до измены Дюмурье. Он вспомнил им все: и пресмыкательство перед троном в охоте за министерскими портфелями, и многократную травлю патриотов, и покровительство реакционным генералам, и недостойную игру во время суда над королем, и старинную дружбу с нынешними мятежниками. Он не забыл ни одного факта, не упустил ни одной важной подробности. Добрых два часа подряд терпели пытку лидеры Жиронды. Монтаньяры с нетерпением ожидали резолютивной части.

Вывод как будто напрашивался сам собой: он должен совпасть с тем, чего требуют «бешеные». Но Максимилиан не делает окончательного вывода, он лишь намекает на него.

Потребовав наказания всех сообщников Дюмурье, оратор вдруг останавливается. Его взор становится насмешливым.

С ироническим вниманием осматривает он из-под очков депутатов, притихших на нижних скамьях.

— Смею ли я назвать таких заслуженных патриотов, как господа Верньо, Гюаде и другие?.. Я убежден в бесплодности моих усилий во всем касающемся этих «славных» членов. Я полагаюсь на мудрость Конвента...

Конечно, о «мудрости Конвента» в эти дни можно было говорить лишь в ироническом смысле. При робком, нерешительном молчании «болота» Жиронда и Гора с остервенением набрасывались друг на друга.

— Мы умрем, но не одни! — кричат несколько голосов. — За нашу смерть отомстят наши дети!

— Вы злодеи! — отвечает им Дантон голосом, напоминающим рычанье льва.

— Диктатура будет твоим последним преступлением! — бросает Дантону жирондист Бирото. — Я умру республиканцем, а ты умрешь тираном!

Вот зловеще бормочет что-то Гюаде. Он сравнивает общественное мнение с кваканьем жаб.

— Молчи, поганая птица, — не выдерживает Марат.

На обвинения Робеспьера пытается ответить Верньо. Но чем? Старыми, избитыми, давно изжившими себя и разоблаченными клеветническими выпадами.

Луве, Гюаде, Лекуантр и другие орут, стараясь перекричать друг друга. В воздух поднимаются кулаки. Жирондист Дюперре выхватывает шпагу. Петион, сам респектабельный Петион, всегда спокойный и старающийся всех примирить, доходит чуть ли не до белой горячки. «Парень был в течение часа с четвертью в конвульсиях, — пишет, вспоминая об этом, Марат. — Подхожу к нему, а у него глаза блуждают, лицо мертвенно-бледно, у рта пена...»

Да, не «мудрость Конвента», а сила и мужество народа должны были решить исторический спор, вот уже больше года раздиравший страну. «Бешеные» были правы. Робеспьер, взирая со своего места на хаос, царивший в зале заседаний, не мог этого не понимать. И тем не менее он считал, что нужно подождать еще немного. Еще не обсуждались проекты новой конституции. Пусть жирондисты представят и защитят свой проект! Пусть народ увидит, что борьба, кипящая в Конвенте, — это не только борьба страстей, но и борьба идей!..

Всю силу ответного удара жирондисты решили сосредоточить на Марате. Друга народа особенно ненавидели «государственные люди», которых он безжалостно обличал и выставлял на позор. Он был самым яростным из триумвиров, его больше других боялось покорное «болото». На нем сейчас и следует отыграться! Дантон хотел примирения — его можно оставить в резерве. Свалить Робеспьера — дело безнадежное, практика прошлого тому порукой; сейчас, сразу после обвинительного акта, об этом нечего и думать. Другое дело — Марат! С ним, казалось, расправиться тем легче, что ни Дантон, ни Робеспьер не испытывали к нему личных симпатий. Как всегда, жирондисты не учли лишь того, кто был главной силой: простого народа, трудящихся столицы.

Удар был нанесен 12 апреля. В этот день Гюаде прочитал тенденциозно подобранные выдержки из письма Якобинского клуба в провинцию, подписанного Маратом. Письмо призывало к удалению жирондистов из Конвента. Оратор цитировал фразу, в которой Конвент назывался местопребыванием... «продавшейся английскому двору интриги».

Несмотря на то, что Друг народа спокойно оправдался от всех обвинений, несмотря на то, что на следующий день его горячо защищали другие монтаньяры, заявляя, что все они готовы подписаться под пресловутым письмом, большинство Конвента послушно проштамповало декрет об аресте и предании суду ненавистного им глашатая правды.

Суд над Маратом, состоявшийся 24 апреля, стал его апофеозом. Революционный трибунал оправдал Друга народа. Народ, занявший все подступы к зданию суда, подхватил на руки своего защитника, украсил его лавровым венком и осыпал цветами. Во главе стотысячной толпы, выражавшей свои чувства криками «Да здравствуют республика, свобода, Марат!», Друг народа был внесен в Конвент, где в это время шло обсуждение проекта конституции. Среди жирондистов началась паника. Многие из них поспешили оставить зал заседаний. Торжествующий Марат занял свое место. Он заявил, что по-прежнему со всей энергией, на какую только способен, будет защищать права народа. Так и это «мероприятие» жирондистов решительным образом обернулось против них. «В этот день, — говорил позднее Марат, — я набросил им веревку на шею...»

Действительно, в ответ на угрозы своему любимцу тридцать пять секций потребовали очищения Конвента от руководителей жирондистской партии.

24 апреля в Конвенте начались прения о конституции, прения, которых так нетерпеливо ожидал Робеспьер. Во время обсуждения проекта конституции он рассчитывал с предельной ясностью показать всему народу истинную природу политических и социальных идей жирондистов. Вместе с тем именно теперь с такой же ясностью он должен открыть свое кредо, свои взгляды на собственность и право. Когда-то он развивал эти темы с трибуны Учредительного собрания, но в то время еще не все было ясно, и как тогда было трудно говорить ему, безвестному новичку, над которым смеялись и которого не хотели слушать! Теперь он все додумал до конца. Теперь его кредо будет также символом веры всей его партии, а его партия, опирающаяся на поддержку народа, ныне является той силой, которой суждено завоевать арену истории.

Отправным пунктом выступления Робеспьера была Декларация прав, написанная им и обсужденная в Якобинском клубе за два дня до начала прений в Конвенте. Прежде всего он поспешил успокоить всех тех, кто боялся «аграрного закона» и посягательств на собственность со стороны якобинцев.

— Грязные души, уважающие только золото! Я отнюдь не хочу касаться ваших сокровищ, как бы ни был нечист их источник... Что касается меня, то для личного счастья я считаю равенство имуществ еще менее необходимым, чем для общественного благосостояния. Гораздо важнее заставить уважать бедность, чем уничтожить богатство...

Однако после этого «успокоительного» введения Неподкупный сосредоточивает весь огонь своей речи на Декларации прав жирондистов, составленной Кондорсе. Главным объектом внимания оратора становится формулировка понятия собственности. И здесь он высказывает взгляды, обнаруживающие всю глубину расхождений между Горой и Жирондой в плане социальных и экономических идей.

Жирондистский проект заявлял, что право собственности заключается в праве каждого гражданина располагать без ограничений своим имуществом, капиталом, доходом, производством.

Робеспьер показывает, что термин «собственность» есть понятие условное, что каждый социальный слой вкладывает в него свой смысл. Принять формулировку жирондистов — значит дать неограниченный простор обогащению немногих в ущерб основной массе граждан, ибо жирондистский проект не ставит никаких границ собственности, ибо в этом проекте интересы всего общества приносятся в жертву отдельным

его членам. Формулировка жирондистов фактически гарантирует и собственность работорговцев, и собственность феодала, и даже собственность наследственного монарха!..

— Ваша декларация, — указывает Робеспьер, — по-видимому, написана не для всех людей, а только для богачей, скупщиков, тиранов и спекулянтов...

Что же противопоставляет Неподкупный декларации жирондистов? Если они на первое место ставят право собственности, то он основными правами человека считает право на существование и свободу. Говоря же о собственности, он обусловливает ее определенными границами, за которые она выходить не может.

— ...Право собственности есть право каждого гражданина пользоваться и распоряжаться той частью имущества, которая гарантируется ему законом.

Право собственности, как и все другие права, ограничено необходимостью уважать права других людей.

Оно не может наносить ущерб ни безопасности, ни свободе, ни существованию, ни собственности наших ближних.

Всякая собственность и сделка, нарушающие этот принцип, являются безнравственными и беззаконными...

Эта формулировка Робеспьера давала, по существу, конституционное обоснование для преследования скупщиков и ажиотеров — всех тех, чьи сделки и махинации нарушали основной, установленный им принцип.

Что еще можно к этому прибавить? Декларация Робеспьера провозглашала право на труд и на средства к существованию для тех, кто не мог найти работы, необходимость обложения прогрессивным налогом зажиточных граждан, содействие прогрессу разума и общедоступному образованию, верховный суверенитет народа и право любого гражданина на занятие любой государственной должности, гласность всех мероприятий правительства и должностных лиц.

Заключительные положения декларации подчеркивали солидарность всех народов в борьбе за свое лучшее будущее.

Декларация Робеспьера, как и вся речь от 24 апреля, говорила сама за себя. Все демократы приняли новую декларацию с воодушевлением, а Франсуа Бабеф, будущий организатор «Заговора равных», рассматривал ее как свой идейный манифест. Народу ясно показали, кто его друзья и кто враги. Неподкупный и его соратники стремились возможно более полно обеспечить демократические завоевания народных масс.

Борьба вокруг жирондистского и якобинского проектов конституции ускорила формирование единого фронта всех демократических сил против жирондистов.

Столько поражений за такой короткий срок привели их в состояние страшной ярости. «Государственные люди» схватились за оружие.

18 мая по инициативе двуличного Барера они создали Комиссию двенадцати. Комиссия начала терроризировать Конвент, пугая его несуществующими заговорами и наводняя доносами. 23 мая под предлогом раскрытия большого заговора она предложила Конвенту принять чрезвычайные меры и усилить охрану, порученную буржуазным секциям. В тот же день ею были арестованы «бешеный» Варле и член Коммуны, заместитель Шомета журналист Эбер. Арест Эбера заставил насторожиться Коммуну и революционные секции: после случая с Маратом неприкосновенность народных представителей нарушалась уже второй раз! Кроме того, арест журналиста, которому вменяли в вину его статью, являлся прямым покушением на свободу печати.

25 мая депутация Коммуны потребовала немедленного освобождения Эбера.

Председатель Конвента Инар, один из наиболее горячих и злобных лидеров жирондистской партии, ответил отказом. Голосом, дрожавшим от сдержанной ярости, он провозгласил:

— Слушайте истину, которую я скажу вам. Франция избрала нашим местопребыванием Париж... Если бы на нас попытались покуситься, то заявляю вам именем всей Франции, что Париж был бы... уничтожен!

На мгновение Конвент оцепенел. Потом с верхних скамей раздались гневные крики протеста. Марат воскликнул:

— Председатель! Оставьте ваше место! Вы позорите Собрание!

Но Инар мрачно продолжал при бешеных рукоплесканиях жирондистов:

— Скоро пришлось бы искать на берегах Сены то место, где стоял Париж...

В это же время в Якобинском клубе было оглашено письмо Верньо, в котором говорилось: «Мужи департамента Жиронды! Будьте наготове: если меня к тому вынудят, я призову с трибуны, чтобы вы шли защищать нас и отомстить за свободу истреблением тиранов. Нельзя терять ни минуты».

Итак, жирондисты откровенно развязывали гражданскую

войну. По их сигналу в Париж летели многочисленные адреса из Марселя, Версаля, Авиньона, Нанта, Бордо, адреса, угрожавшие монтаньярам и парижскому плебсу; их комиссары в Вандее не столько боролись с мятежом, сколько ему потворствовали; их друзья в Лионе, Тулоне и других городах юга готовились кровью патриотов залить ненавистную им революцию! А в Париже их агенты формировали отряды из населения буржуазных секций, чтобы окружить Конвент лесом штыков!

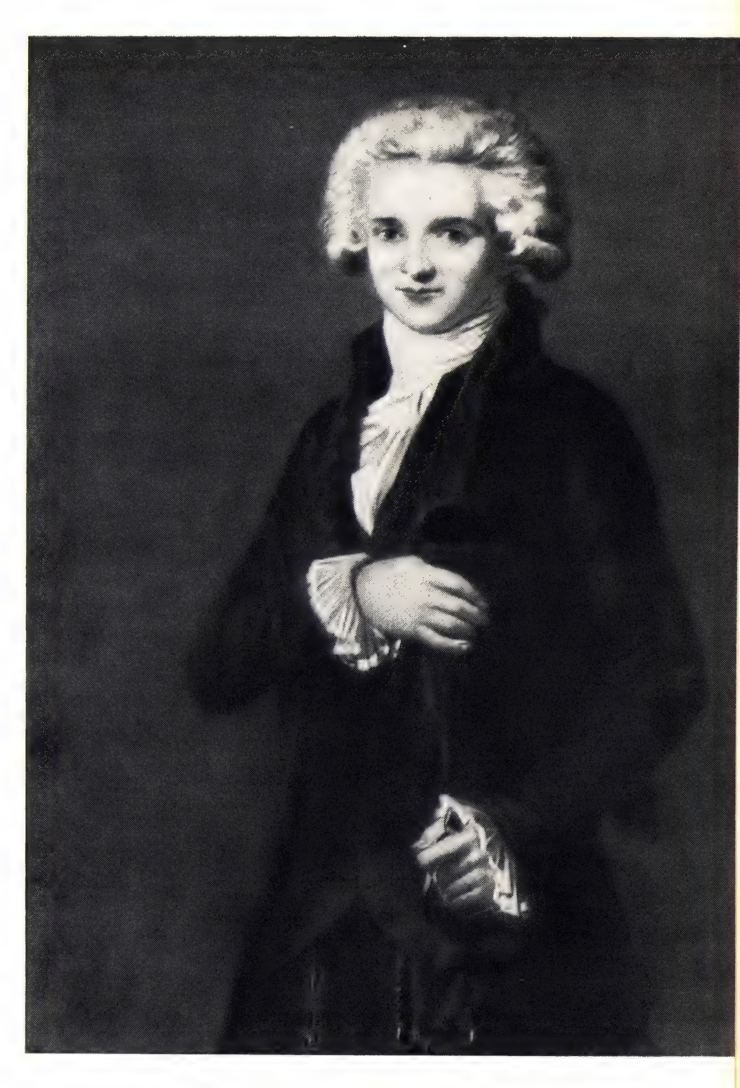
Все это привело к тому, к чему и должно было привести. Поднялся народ. Простые люди Парижа не желали оставаться зрителями борьбы, готовившей им новые цепи. Державный сюзерен, разрубивший гордиев узел 14 июля и 10 августа, снова поднимался во весь свой богатырский рост и брал инициативу в свои руки.

Первым очагом восстания стал епископский дворец, в котором собирались «бешеные». Большинство секций прислало во дворец своих уполномоченных. После бурного совещания было решено прибегнуть к «чрезвычайным мерам». Сло́ва «восстание» старались избегать, но всем было понятно, о чем идет речь.

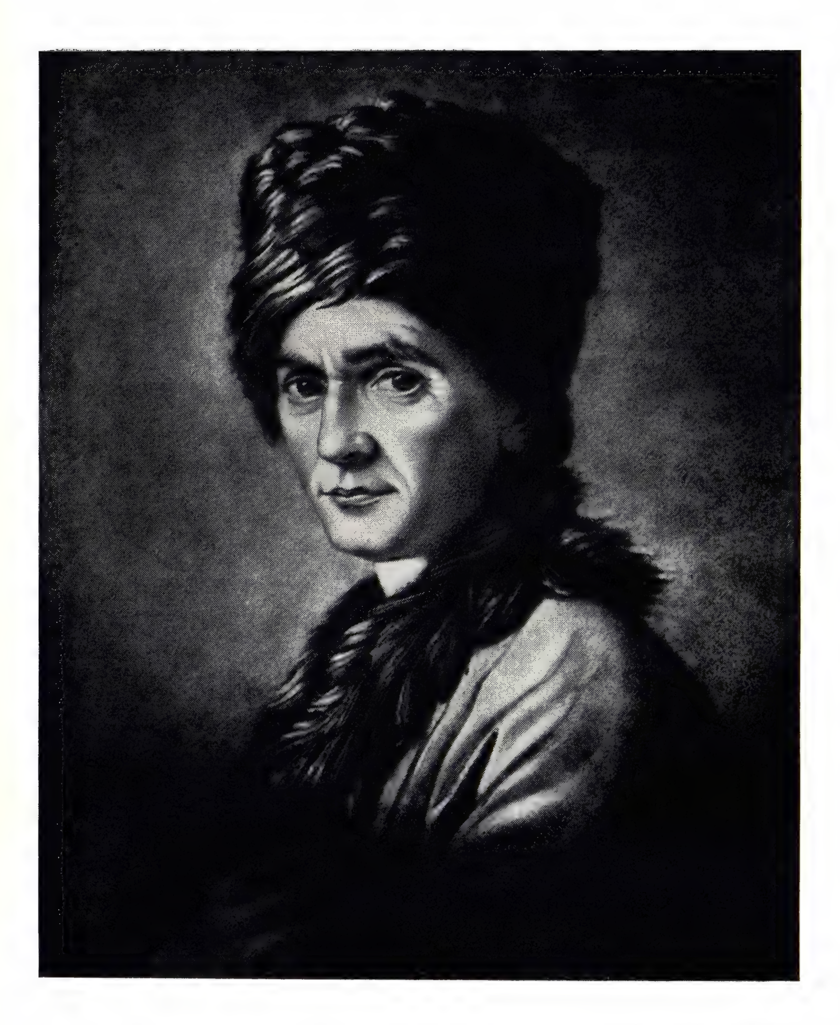
Был сформирован новый организационный центр — Революционный комитет. Комитет поспешил наладить связь с Парижской коммуной. Начались переговоры об установлении единства действий.

Такие вожаки Коммуны, как Шомет, были настроены очень решительно. Однако, соглашаясь с «бешеными», что жирондисты стали опасны для революции, Коммуна так же, как и Якобинский клуб, вначале сомневалась в целесообразности немедленного применения «чрезвычайных мер». Демократы-якобинцы не хотели нарушить неприкосновенность депутатов, полагая, что путем мобилизации революционных сил и морального давления можно мирным путем лишить жирондистов руководящей роли в Конвенте. Одним из вдохновителей этого плана был Робеспьер.

Неподкупный оставался верен себе. Он, которому давно уже стало ясно, что жирондистские лидеры должны быть устранены, он, столько раз их изобличавший, а в апреле поставивший на них крест своим обвинительным актом и разгромом их идейной программы, он все еще продолжал со-



Робеспьер в юности.



Жан Жак Руссо.

мневаться и в своих выступлениях 8 и 12 мая в Якобинском клубе предостерегал народ от решительного шага.

Не любивший без нужды выходить за рамки закона, Максимилиан всегда считал восстание самым крайним средством, к которому нужно прибегать, когда все другие возможности полностью исчерпаны. Исчерпаны ли они сейчас? В этом он не был уверен. Податливость Конвента, согласившегося утвердить вопреки жирондистам единый для всей Франции максимум твердых цен на зерно, а также принудительный заем у богачей, казалось, намекали на возможность освободиться от «государственных людей» легальным путем. К тому же, по мнению Робеспьера, восстание следовало начинать лишь тогда, когда можно было с наибольшим вероятием рассчитывать на успех. В свое время он протестовал против демонстрации 20 июня, считая, что накануне восстания, низвергнувшего монархию, не следует даром растрачивать народные силы. Точно так же и теперь он не хотел половинчатых выступлений, способных остановиться на полдороге. А до тех пор пока жирондисты ориентировались на серьезную поддержку со стороны части парижан, не говоря уже о провинциалах, до тех пор, пока ненависть к ним не дошла до предела, можно было опасаться именно незавершенности восстания. Свергнуть партию, прочно утвердившуюся у власти и опирающуюся на изрядные силы парижской и провинциальной буржуазии, а также на значительную часть обманутого народа в департаментах, было не таким уж простым и легким делом. Быть может, это окажется не менее трудным, чем свергнуть монархию! И Максимилиан, колебавшийся накануне 10 августа, естественно, колебался и теперь.

Однако в последние дни мая этим сомнениям приходил конец. Вождь якобинцев видел, как зрело народное возмущение, увеличиваясь буквально с каждым часом. Вместе с тем поведение лидеров Жиронды и в особенности их демарш в Конвенте 25 мая делали легальные методы борьбы совершенно невозможными. «Государственные люди» рвались в бой, закусив удила.

Довольно! Хватит сомнений и колебаний, решительный час близок. Жирондисты хотят войны не на живот, а на смерть; что ж, пусть получают ее! Он долго ждал. Он сделает сейчас все для того, чтобы ускорить развязку.

26 мая, выступая в Якобинском клубе, Робеспьер призывает народ к восстанию. Все законы нарушены, деспотизм

дошел до предела, и нет уже ни грана добросовестности или стыда. Лучше умереть с республиканцами, чем праздновать победу со злодеями! Пусть Коммуна, если не хочет нарушить свой долг, соединится с народом! Когда становится очевидным, что отечеству угрожает величайшая опасность, народные представители должны либо погибнуть за свободу, либо добиться ее торжества!.. Этими же настроениями проникнута и речь Неподкупного от 29 мая.

Взгляды Робеспьера вполне совпадали с практической деятельностью Коммуны и Якобинского клуба. К концу мая все организационные центры объединились. Восстание готовилось почти открыто. Как и перед 10 августа, народ вооружался. Кипучую деятельность развивал Марат.

Комиссия двенадцати ничем не могла помешать назревавшим событиям.

31 мая в 6 часов утра с Собора Парижской богоматери раздались первые звуки набата. Революционный комитет по согласованию с Коммуной назначил начальником национальной гвардии левого якобинца Анрио, быстро организовавшего патриотов столицы. Конвент был окружен.

Депутации повстанцев, сменявшие одна другую в зале заседаний, требовали ареста жирондистских лидеров, обуздания контрреволюционеров в южных департаментах, понижения цен на хлеб. Барер внес от имени Комитета общественного спасения иезуитский проект, имевший целью обезглавить восстание. Он предложил ликвидировать Комиссию двенадцати и предоставить национальную гвардию в распоряжение Конвента. Упразднением Комиссии двенадцати, которая и так уже фактически пала, Барер рассчитывал предотвратить арест главарей Жиронды; требуя передачи вооруженных сил столицы в руки Конвента, он рассчитывал обессилить повстанцев и сделать хозяином положения большинство Конвента, то есть «болото» и тех самых жирондистов, против которых было поднято восстание. Этот план тотчас же разгадал Неподкупный и в своем коротком выступлении раскрыл его Конвенту.

В тоске застыли жирондисты на своих скамьях. Они молча слушают и ждут. Верньо, который незадолго перед этим тщетно пытался увлечь Собрание, следит воспаленным взглядом за оратором. Когда Неподкупный доходит до последних слов, Верньо не выдерживает.

— Делайте же ваш вывод! — раздраженно кричит он.

— Да, я сделаю сейчас свой вывод, — спокойно отвечает

Робеспьер, — и он будет направлен против вас! Мой вывод — это обвинительный декрет против всех сообщников Дюмурье и против всех тех, кто только что был здесь изобличен.

Стараниями Барера и других соглашателей в день 31 мая восстание было остановлено на полпути. Конвент отказался выполнить требование народа и Робеспьера: распустив Комиссию двенадцати, он сохранил жирондистских депутатов в своем составе.

Монтаньяры прекрасно понимали, что останавливаться на достигнутом невозможно.

— Сделана только половина дела, — говорил в клубе Билло-Варен. — Не надо давать народу успокоиться.

Но народ и не собирался успокаиваться. Повстанцы не сложили оружия. Храбрый Анрио держал свои войска наготове. Сохраняя строгую дисциплину и порядок, продолжая свой ежедневный труд, рабочие предместий были готовы по первому сигналу возобновить борьбу.

1 июня Революционный комитет выпустил прокламацию, в которой призвал граждан Парижа к бдительности. Марат произнес в Коммуне зажигательную речь, после которой среди восторженных рукоплесканий поднялся на башню ратуши и ударил в набат. Во всех секциях дали сигнал к сбору.

Набат не переставал гудеть. С раннего утра 2 июня национальная гвардия снова окружила Конвент. Сто шестьдесят три орудия были наведены на манеж, стотысячная народная армия заняла все прилегающие улицы и переулки. Что ж, если граждане депутаты не в силах сами вынести нужное решение, народ готов оказать им помощь.

В этот день Робеспьер в Конвенте не выступал. И однако все закончилось исполнением требования, выдвинутого им на заседании 31 мая. По предложению Кутона Конвент декретировал арест двадцати девяти депутатов-жирондистов, в том числе Верньо, Бриссо, Гюаде, Петиона, Инара, Жансоне, Бюзо, Луве, Ланжюне и Барбару.

Это был конец Жиронды.

Это была прелюдия апофеоза Горы и ее вождя — Максимилиана Робеспьера.

Часть III

НА ВЕРШИНЕ ГОРЫ

Глава 1

Под грохот сражений

— Умер Марат!.. Друга народа нет больше с нами! Они убили его!..

Страшная весть передавалась из уст в уста. Тысячи людей с разных концов Парижа тянулись к улице Кордельеров. Против дома № 18 толпа была настолько густой, что отряд жандармов во главе с полицейским комиссаром едва смог пробиться к подъезду. На всех лицах, этих усталых, изможденных лицах простых людей, были написаны скорбь, отчаяние, гнев. Вновь прибывавшим рассказывали то, что удалось узнать.

...Она приехала из Нормандии, гнезда жирондистского мятежа... Ее подослали изменники, бежавшие после 2 июня из Парижа... Она обманом пробралась к больному Другу народа, доверчиво принимавшему просителей, и нанесла ему смертельный удар ножом...

Кто-то закричал: «Ее ведут!» Из дверей показалась группа во главе с комиссаром, который придерживал за связанные руки стройную девушку с нежным овалом лица и длинными каштановыми волосами. Глаза ее были широко раскрыты. При виде толпы она отпрянула.

— Смерть убийце!.. Голову злодейки!.. Пусть она немедленно ответит за свое преступление!..

Многоголосый рев захлестнул улицу. Арестованная была близка к обмороку. Но комиссар, подняв руку, стал увещевать разъяренных, смятенных людей:

— Из уважения к памяти Друга народа никто не посмеет нарушить закон! Кто любил Марата, должен вести себя с достоинством! Правосудие будет скорым и справедливым!..

И толпа, вдруг притихшая, послушно расступилась, чтобы пропустить тюремную карету.

Тело Марата выставили в церкви Кордельеров на помосте, украшенном трехцветной драпировкой. Голову увенчали лавро-

вым венком. Два человека, стоя у изголовья, увлажняли тело и покров ароматическим уксусом. Жгли благовония.

Смертное ложе Марата осыпали цветами. Секции одна за другой шли, чтобы проститься со своим вождем. Час убегал за часом, но людской поток не иссякал, — казалось, ему не будет конца. Скорбь застилала все. Страшная рана зияла в груди. Клинок убийцы, темный от крови, был тут же. Святая кровь Марата! Люди клялись идти по его стопам. И отомстить за него. Клятвы давали на почерневшем ноже, как на евангелии.

Художник Давид заканчивал набросок головы Марата. Этот эскиз лег в основу картины, выставленной для всенародного обозрения во дворе Лувра. «О, этого человека я писал сердцем!» — говорил Давид. Выполненная в светлых тонах, лишенная театральных эффектов, картина поражала античной суровостью и простотой. И люди шли снова, чтобы увидеть своего друга, воплощенного в полотне Давида. Он жив! Он будет жить вечно! Его убийцы просчитались. Марат так же бессмертен, как неистребима идея свободы.

Похороны Друга народа происходили ночью 16 июля. На скорбной процессии присутствовал Конвент в полном составе. Прах Марата был временно погребен в особом склепе в саду церкви Кордельеров. Факелы ярко пылали. Председатель Конвента произносил последнее слово над открытой могилой. Присутствующие с обнаженными головами внимали оратору.

Лицо Робеспьера при необычном освещении казалось восковым. Он полузакрыл глаза. Мысли проносились с необычайной быстротой...

Итак, удар нанесен. Удар из-за угла, достойный Иуды... Он щадил их, он считал, что можно бороться с поднятым забралом. Даже после народного восстания 2 июня дело ограничилось нестрогим домашним арестом для вожаков. Сен-Жюст в своей речи, выражая мысль Неподкупного, говорил о прощении для большинства, о нежелании Горы смешивать ошибку с преступлением. Он щадил их, несмотря на все прошлое, он слишком долго верил, что можно обойтись без пролития крови. И вот результат. Кровь все же пролилась, но чья?..

Председатель продолжал говорить. Но Максимилиан не слушал его. Он думал о недавнем прошлом. Сколько зла принесли жирондисты своей демагогией, как замедляли они победный ход революции! Вот яркое тому доказательство: едва отстранили их лидеров, и за полтора месяца якобинцы сумели сделать для народа больше, чем жирондисты и фельяны за все годы

своей власти! В две недели был обсужден и утвержден текст новой конституции, вдохновленной учением великого Руссо и проникнутой искренним стремлением к широкой политической свободе. Робеспьер не считал новую конституцию совершенной. Он сам согласился на некоторые уступки имущим элементам и пошел на смягчение в их пользу ряда статей своей Декларации прав. Это было необходимо, чтобы не оттолкнуть от монтаньяров в столь трудное время буржуазные слои, которые иначе могли быть увлечены мятежниками-жирондистами. Но и в ее настоящем виде новая конституция была несравнима ни с цензовой конституцией 1791 года, ни с проектом жирондистов. Она была встречена с восторгом и получила единодушное одобрение; за нее проголосовали даже в тех департаментах, где хозяйничали жирондисты. Но якобинцы не ограничились конституцией. Они смело принялись за коренной вопрос, от которого отмахивались все предшествующие им партии и группировки: вопрос аграрный. Уже на следующий день после падения Жиронды Конвент предписал разделить на мелкие доли все поместья эмигрантов. Образовавшиеся участки надлежало пустить в продажу на льготных условиях, с длительной рассрочкой. Через неделю был принят новый закон, передававший общинные земли крестьянам. Наконец, завтра собирались провести уже вполне подготовленный и обсужденный декрет о полной и окончательной отмене всех феодальных повинностей. Эти смелые акты должны были сплотить вокруг Горы широкие массы крестьян. Крестьянство становилось мощной опорой новой республики в ее борьбе с армиями иностранцев и внутренним врагом.

Да, это были замечательные дела. И нельзя забывать, что все они проходили под грохот сражений, в период трудностей поистине беспримерных. В то время как пять иностранных армий теснили обескровленные французские войска, вандейское восстание расширялось, охватывая весь запад, англичане усиливали блокаду и высаживали десанты, а в шестидесяти департаментах разгорались организованные жирондистами контрреволюционные мятежи. Огненное кольцо сжимало якобинскую республику...

...Председатель закончил речь. Многие факелы догорели, их заменяли новыми. Высокие силуэты домов, чуть заметные сквозь деревья на фоне черного неба, казались фантастичными. Раздался отдаленный раскат грома. Прощай, Друг народа, прощай, старый соратник!.. Дело, за которое ты погиб, продолжим мы; мы доведем его до полной победы...

Неподкупный следил за движением бесконечной ленты. Вот

идут они, члены Коммуны, представители клубов, трибунала, революционных комитетов, рядовые санкюлоты. Их поток не исчерпает себя до утра. Они, видимо, очень любили покойного. А вот Максимилиан его не любил. Слишком разные люди, слишком разные темпераменты. Они различно смотрели на многое и никогда до конца не могли понять один другого. Но они были бойцами из одного отряда, они боролись плечом к плечу за общее дело, и много ли еще оставалось революционеров такой закалки, как Друг народа? О, жирондисты знали, в чье сердце вонзали нож рукою Шарлотты Корде! Они устранили Марата в тот час, когда его бурная энергия была особенно нужна. Когда-то они окрестили трех боровшихся против них вождей Горы триумвирами. Марат, Дантон, Робеспьер — вот три имени, вызывавших ужас и ненависть большинства на первых заседаниях Конвента. Триумвират, облеченный доверием народа, бесстрашно делал свое дело. Три вождя, если иногда и расходились в частностях, в основном неизменно сохраняли единодушие. Они защищали Парижскую коммуну от нападок «государственных людей», они добились нужной линии в продовольственном вопросе, они были едины в дни сокрушения Жиронды.

И вот теперь триумвирата больше не существует. Марат ушел навсегда. А Дантон...

Неподкупный искоса оглядывает огромную фигуру Дантона. Какая у него отталкивающая внешность! Какое ужасное лицо, изрытое оспой, с перебитым носом! Недаром его называют циклопом! При свете факелов глазные впадины кажутся черными ямами — маленьких запавших глазок не видно вовсе. Зато преувеличенно большими представляются челюсти, страшные челюсти бульдога.

Казалось бы, эти челюсти должны брать мертвой хваткой. Но нет! Бульдог не так страшен, как можно подумать. Робеспьер хорошо знал, что он бывает очень добродушным. Добродушным? Нет, это не то слово. Правильнее сказать — слабым, нерешительным, склонным к компромиссу. Он любил жизнь, но жизнь только для себя. Максимилиан не может без отвращения вспоминать то, что он слышал недавно о Дантоне. Обедая в кругу друзей и будучи под хмельком, циклоп разоткровенничался. Он заявил, что наступил его черед пользоваться жизнью. Роскошные отели, тонкие блюда, расшитые золотом шелковые ткани, шикарные женщины — вот что должно наградить его за преданность революции! Робеспьер не желал верить такому цинизму. Не верилось и разговорам о продажности Дантона, о его склонности к казнокрадству. Хотя факт остается фактом:

Дантон не смог дать отчета в денежных средствах, находившихся в его ведении, когда он был министром юстиции. Состояние Дантона за годы революции выросло во много раз, в то время как Марат умер нищим. А постоянное якшание Дантона с политическими проходимцами? А его деятельность совместно с Барером в первом Комитете общественного спасения, который Марат называл Комитетом общественной погибели? Всем известно, что этот Комитет не обнаружил ни воли, ни способности преодолеть опасности, угрожавшие стране, дал бежать многим вождям Жиронды и проморгал возникновение цепи мятежей в департаментах. Как объяснить все это? Дантон в свое время сделал много для республики. Но не хочет ли он теперь сказать роковое слово «Остановись!», то самое слово, которое произнесли некогда Барнав и Бриссо?

Нет, Неподкупный не в силах по-прежнему относиться к Дантону. Пусть кое-что и преувеличено, но... Но его революционная совесть, его щепетильность, его гражданское целомудрие не позволяли причислять к своим соратникам и друзьям подобного человека. Робеспьера считают склонным к подозрительности. Да, он подозрителен по отношению к тем, кто скомпрометировал себя на службе народу, кто думает о себе больше, чем о благе родины... Посмотрим... Время покажет. Его суд, как говаривала некогда мадам Ролан, не скор, но справедлив. А пока якобинцы настояли на переизбрании неустойчивого Комитета общественного спасения. Незадолго до смерти Марата, 10 июля, Дантон был исключен из Комитета, и туда вошли близкие политические друзья Робеспьера — Кутон и Сен-Жюст.

Вот они, рядом. Оба молодые, оба беззаветно преданные делу революции. Это люди иного склада, чем Дантон. Они мало дорожат личным благополучием. Их не купить щедрым подарком или хорошим обедом. Кутон, старый друг, настоящий рыцарь революции. Как проницателен его взгляд, как утонченно выражение лица!.. Он истинный гуманист, он любит народ глубокой любовью. Он может быть мягким и великодушным, но, когда это необходимо, он становится беспощадным. Его сильный дух не сломило личное горе. Кутон тяжело болен. Болезнь парализовала ноги, он передвигался в кресле на колесах. Но это не делает его слабым. Больное тело содержит неукротимый дух борца. Кутон всегда на своем посту и останется на нем до последнего дня жизни.

А Сен-Жюст? О, на него Максимилиан не может смотреть без легкого трепета. Сен-Жюст — это необычайное, неповторимое явление природы. Вот он стоит в первом ряду членов Кон-

вента. Ему двадцать шесть лет. Он строен, изящен, его прекрасные длинные волосы спадают на плечи. В правом ухе серьга. Тонкий батистовый галстук доходит до подбородка. Костюм превосходно сшит. Лицо греческого бога: красивое, холодное, строгое. Кто это? Представитель золотой молодежи? Дамский угодник? Иль, быть может, просто мраморное изваяние? Нет, это страстный борец, даровитый, упрямый, непреклонный. Сын кавалера ордена святого Людовика, Антуан Сен-Жюст с юности посвятил себя делу революции. Однажды, положив руку на горящие уголья, он дал клятву победить или погибнуть. Его идеалом стал Робеспьер. У Максимилиана хранилось письмо, датированное августом 1790 года, в котором безвестный тогда Сен-Жюст называл его богом, творящим чудеса. Двадцати трех лет он был избран в Конвент. «В жизни силен только тот, кто не боится смерти», — говорил Сен-Жюст. «Дерзать — в этом вся революционная политика». И он не боялся смерти. Он дерзал. Его смелость была спокойной, обдуманной. Он наносил удары, не предупреждая. «Его доклады рубят, как топор», — свидетельствовали те, кто слышал молодого трибуна. Сен-Жюст, как и Робеспьер, весь принадлежал общественному делу. Как и Робеспьер, он не знал семьи и личной жизни. Когда-то на заре юности он страстно любил. Но возлюбленная не стала невестой. Родители девушки, не посчитавшись с взаимностью чувства, отдали дочь за другого. С тех пор все женщины умерли для Сен-Жюста... Замкнутый и строгий, он действовал только во имя высших принципов. Его непоколебимость по временам пугала даже Неподкупного...

...Максимилиан очнулся от мыслей. Предрассветная сырость неприятно щекотала спину. Все кончено. Могильный вход завален. Лента прощающихся продолжает двигаться. Жизнь идет своим чередом. Новый день ставит новые задачи.

Убийство Марата было лишь частью плана, задуманного «государственными людьми». В тот день, когда в Париже хоронили Друга народа, в мятежном Лионе был казнен вождь местных якобинцев Жозеф Шалье. Патриотов убивали повсюду. Точились ножи против Робеспьера и Дантона. Поверженная Жиронда вступала на путь откровенного белого террора.

Все это потребовало энергичных ответных мер. И меры были приняты. Под натиском масс, ясно сознавая колоссальные трудности борьбы, якобинцы пошли на быструю и радикальную перестройку государственной власти.

Уже в июле — августе резко возросла роль Комитета об-

щественного спасения. Ему было предоставлено право арестовывать подозрительных лиц и направлять деятельность министров. В его ведение Конвент отпустил сумму в пятьдесят миллионов ливров. Наконец, в его состав был введен Неподкупный, ставший душой Комитета, превратившегося вскоре в подлинное «министерство Робеспьера».

Одновременно с этим, считая, что в обстановке грозящих республике заговоров простое выполнение законов, предназначенных для мирного времени, было бы недостаточным, Конвент принял отсрочку вступления в силу новой конституции.

Решающую роль в формировании революционного правительства сыграли события 4—5 сентября.

4 сентября в Сент-Антуанском предместье началось волнение рабочих, охватившее затем всю парижскую бедноту. Это движение, подготовленное «бешеными», шло под лозунгом революционного террора и всеобщего максимума. Шомет сумел придать выступлению легальный характер, убедив вооруженных демонстрантов довериться «священной Горе».

5 сентября в Конвент явились представители сорока восьми секций во главе с Шометом. В своей речи прокурор Коммуны призвал Конвент к решительной борьбе с богачами, наживающимися на народной нужде. Он указывал, что единственный метод борьбы — это террор. Он предлагал организовать специальную армию, которая занималась бы выкорчевыванием заговоров и экономического саботажа в департаментах. Ораторы секций поддержали Шомета. Всеобщее требование выступавших сводилось к словам: «Поставьте террор в порядок дня. Будем на страже революции, ибо контрреволюция царит в стане наших врагов». Многие голоса требовали быстрого суда над арестованными жирондистами. По предложению Робеспьера делегаты Парижа были приглашены на заседание Конвента. Неподкупный заверил приглашенных, что Конвент примет во внимание их адреса и удовлетворит законные требования народа.

Действительно, Конвент провел ряд важных мер, направленных на углубление революции. Прежде всего реорганизовали Революционный трибунал, судопроизводство которого было упрощено и ускорено. При каждой секции учредили особые революционные комитеты, избираемые населением. Эти комитеты, созданные также на местах, должны были наблюдать за всеми тайными врагами народа и проводить в жизнь директивы Кон-

вента. Деятельность комитетов облегчалась изданием декрета о «подозрительных», согласно которому подлежали аресту все лица, «своим поведением, речами или сочинениями проявившие себя как сторонники тирании». Была создана особая революционная армия для борьбы с виновными в укрывательстве товаров широкого потребления. Левые якобинцы добились того, что вошли в состав правительства; уже 6 сентября Комитет общественного спасения пополнился близкими к Шомету и Эберу деятелями — Билло-Вареном и Колло д'Эрбуа. Вместе с тем из Комитета вышел последний остававшийся в нем дантонист — Тюрио. Комитет вступил в более тесный контакт с Клубом кордельеров и секционными организациями. Новое правительство было призвано осуществить волю масс, на которые опиралось, в которых черпало всю свою силу. Максимилиан Робеспьер, крепко сжав тонкие губы, стоял у руля.

— Теория революционного правительства, — говорил он в Якобинском клубе, — так же нова, как и сама революция, которая ее выдвинула. Было бы бесполезно искать ее в трудах политических писателей, которые совсем не предвидели нашей революции, или в законах, с помощью которых управляют тираны. Задача конституционного правительства — охранять республику; задача правительства революционного — заложить ее основы...

Революция — это борьба за завоевание свободы, борьба против всех ее врагов, конституция — мирный режим свободы, уже одержавшей победу. Революционное правительство должно проявить чрезвычайную активность именно потому, что оно находится как бы на военном положении. Для него непригодны строго однообразные правила ввиду тех бурных, постоянно меняющихся обстоятельств, среди которых оно действует, и особенно потому, что при наличии все новых и грозных опасностей оно вынуждено беспрестанно пускать в ход все новые и новые ресурсы.

Революционное правительство обязано обеспечивать всем гражданам полную национальную охрану; врагов народа оно должно присуждать только к смерти...

Эта теория, однако, с такой четкостью и остротой была сформулирована Робеспьером лишь в конце декабря 1793 года. Был ли он столь же решителен и прямолинеен в начале сентября? В этом можно усомниться. В те дни, когда меч революционного закона уже был занесен и террор по настоянию

народа стал в порядок дня, Неподкупный колебался. Он покинул бурное заседание Конвента 5 сентября, не дожидаясь голосования по вопросам, выдвинутым делегатами секций. Приняв программу санкюлотов, он постарался отделить их от их вождей — «бешеных», которые были разгромлены монтаньярами именно в эти дни[1]. Согласившись поддержать Шомета, Робеспьер вместе с тем в вопросе о терроре держался более умеренных взглядов, чем левые якобинцы. Ему удалось уберечь от Революционного трибунала семьдесят пять жирондистов — членов Конвента, подписавших протест по поводу ареста лидеров Жиронды. «Нечего обрушиваться на рядовых членов партии: достаточно уничтожить ее вождей», — так аргументировал Неподкупный этот поступок, не задумываясь над тем, что спасает от гильотины своих злейших врагов. По инициативе Робеспьера было проведено постановление о необходимости каждый раз объяснять арестованным точные причины их ареста. Такое пожелание в устах Робеспьера-законника вполне объяснимо, но претворить его в жизнь в период жесточайшей борьбы, когда удары наносились тысячам явных и тайных мятежников, практически оказалось невозможным. Это ясно видели революционные комитеты. Разъяснения комитетов и, главное, сама жизнь постепенно открывали глаза Неподкупному. Он все понял и сам добился отмены декрета, принятого по его почину.

— Теперь не время ослаблять революционную энергию, — заявил он, мотивируя свой демарш.

24 октября декрет был отменен. В этот же день начался процесс жирондистов.

Так история совершала свой путь. Им, всем этим Бриссо, Верньо, Гюаде, которые еще так недавно упивались полнотой власти, предстояло сложить головы на эшафоте: а он, некогда третируемый и презираемый ими, входил в зенит славы и могущества.

Глава 2

Дело жизни

Да, теперь он был у кормила правления. С ним рядом находились его непоколебимые друзья и единомышленники — Кутон и Сен-Жюст. Он не занимал высоких должностей, юри-

[1] Робеспьер разошелся с «бешеными» еще в период утверждения якобинской конституции. Он неоднократно выступал против Ру и Варле в Конвенте и Якобинском клубе. 5 сентября Жак Ру был вторично арестован и позднее покончил с собой в тюрьме.

дически его власть не была большей, чем власть его коллег. Но он имел страшную силу, которая заставляла трепетать. Эта сила проистекала из уверенности в правоте своего дела. Когда-то, в то время как гордые депутаты Учредительного собрания смеялись над маленьким аррасским адвокатом, нашелся пророк, который правильно его оценил. Мирабо, оратор незаурядного таланта, заглянул в будущее и предсказал Робеспьеру успех; ничему не веривший Мирабо понял превосходство человека, который верил всему, что говорил. Эта сила нравственной убежденности завораживала слушателей Неподкупного, она придавала громадный моральный вес его словам и действиям. В Якобинском клубе его уже давно боготворили и встречали овациями каждое его появление. Теперь его незримая власть распространилась и на Конвент. Но основной цитаделью его, его «министерством» стал главный орган революционного правительства — Комитет общественного спасения. В Комитете Робеспьер в отличие от своих коллег не имел определенных функций; он взял на себя общее руководство, разработку направляющей, генеральной линии.

Он был прежде всего идеологом якобинской партии. Его уму и перу принадлежали главные документы, которые легли в основу якобинской диктатуры. Он разработал Декларацию прав, ставшую канвой конституции 1793 года, он же вместе с Сен-Жюстом создал теорию революционного правительства. Каждый раз в решающий момент, когда необходимо было обосновать тот или иной важный шаг правительства, выступал Робеспьер или же по договоренности с ним один из его ближайших соратников.

Но он вовсе не был теоретиком, оторванным от жизни. Его теория имела самое непосредственное отношение к практике, к жизни, она была действенна, а отсюда проистекали и его нравственная убежденность и любовь к нему со стороны простого народа. Откроем одну из его записных книжек этого периода.

«Четыре существенных для правительства пункта, — писал Робеспьер, — 1) продовольствие и снабжение; 2) война; 3) общественное мнение и заговоры; 4) дипломатия. Нужно каждый день проверять, в каком положении находятся эти четыре вещи».

Перед нами директива Комитету общественного спасения. Не это ли сама жизнь? Пункты, перечисленные Неподкупным, не были ли они в действительности важнейшими вопросами времени? И директива осуществлялась. Под руководством своего вождя якобинцы неуклонно разрешали проблемы дня.

Продовольствие и снабжение — первоочередный пункт в записи Робеспьера. Действительно, продовольственный вопрос был самым трудным, самым мучительным, и без его разрешения революция не могла осуществить ни одной из стоявших перед нею задач.

Робеспьер и возглавляемая им группа якобинцев до мая 1793 года были противниками ограничения торговли и таксации цен. Между тем, только идя этим путем, можно было добиться результатов: сломить спекуляцию и саботаж, организовать снабжение армии, привлечь на свою сторону голодающую бедноту. И правительство это поняло. 11 сентября Конвент утвердил единые цены на зерно, муку и фураж. Администрация получала право реквизировать зерно и муку. За нарушение закона налагалась суровая ответственность. 29 сентября Конвент издал декрет о твердых ценах на главные предметы потребления в пределах всей страны. Так был установлен всеобщий максимум.

В развитие нового закона был принят ряд экономических и организационных мер, направленных на борьбу с голодом. В Париже и других городах ввели продовольственные карточки на хлеб, мясо, масло, мыло, соль. Булочникам было предписано выпекать единый для всех «хлеб равенства». Для упорядочения и централизации снабжения по всей стране, для контроля за проведением всеобщего максимума была создана Центральная продовольственная комиссия, наделенная широкими полномочиями и опиравшаяся на революционную армию.

Так действительность опрокинула доктрину о свободе торговли. Робеспьер и его единомышленники, осознав железную необходимость временного отказа от своего социального кредо, пошли на ограничение частной собственности. И, раз приняв решение, они не побоялись проводить его в жизнь плебейскими методами, со всей строгостью революционных законов.

Война — второй пункт записи Робеспьера. Второй по порядку, но не по важности, ибо война была делом не менее значимым, чем продовольственный вопрос. Вряд ли кто понимал это лучше, чем Неподкупный: ведь исход борьбы, которую он возглавлял, решался в конечном итоге на полях сражений с европейской коалицией. Жирондисты много кричали о войне и были ее инициаторами, но задача обороны республики оказалась им не по плечу. Только победа якобинского блока изменила положение. И опять-таки решительный перелом стал

возможным потому, что якобинцы сумели чутко прислушаться к требованиям масс и поддержать их почин.

Так, снизу, по инициативе первичных собраний возникла идея всеобщей мобилизации. Идея была поддержана Комитетом. Народ с энтузиазмом приветствовал решение правительства. В короткий срок провели первый набор, давший республике четыреста двадцать тысяч бойцов, а к началу 1794 года армия уже насчитывала миллион двести тысяч человек. Новая армия была по-новому организована; она обладала революционным воинским духом, сознательной дисциплиной. Правда, солдатам не всегда хватало обуви и обмундирования, правда, они не всегда были сыты, но правительство и его комиссары постоянно приходили на помощь бойцам, не останавливаясь перед самыми решительными мерами. Вот, например, один из приказов Сен-Жюста в бытность его комиссаром Эльзаса:

«Десять тысяч солдат ходят босиком; разуйте всех аристократов Страсбурга, и завтра в десять часов утра десять тысяч пар сапог должны быть отправлены в главную квартиру».

Новая армия имела новых генералов и офицеров. Многие из них вышли из простого народа. Так революционный генерал Россиньоль был рабочим-серебряником, талантливый Клебер происходил из семьи каменщика, родителями Ланна и Гоша были крестьяне. Якобинское правительство смело разрешило проблему создания командных кадров: оно открыло к высшим воинским должностям доступ всякому, кто мог практически доказать преданность революции и умение побеждать.

Теперь, наконец, республика начала одерживать решающие победы на фронтах. После сражений при Гондсхооте и Ваттиньи (сентябрь — октябрь) французские войска взяли инициативу в свои руки. К зиме 1793/94 года восточная граница была восстановлена. В декабре был освобожден от англичан Тулон. Территория Франции полностью очистилась от врага. Дорога славы была открыта.

Третьей из наиболее существенных проблем Робеспьер считал общественное мнение и заговоры. Действительно, до тех пор, пока внутренняя контрреволюция охватывала страну, до тех пор, пока белый террор тормозил все мероприятия якобинской диктатуры и угрожал самому ее сердцу, никакие внешние победы не могли спасти республику. И здесь решающее слово сказал народ.

Робеспьер поддержал народный призыв и стал одним

из организаторов системы революционного террора. В дальнейшем история свяжет эту систему как раз с его именем.

Общественное мнение создавалось жизнью и выправлялось Якобинским клубом. Народ поддерживал якобинцев и служил им опорой, собственники их ненавидели, но вынуждены были действовать тайно. Вот эту тайну и было необходимо вскрыть, с тем чтобы обезвредить врага. Проверкой общественного мнения занимались революционные комитеты и секции. Главную роль в подавлении внутренних заговоров играл Комитет общественной безопасности, руководивший полицией и наблюдательной агентурой; деятельность этого Комитета протекала в тесном сотрудничестве с Комитетом общественного спасения. Судебные функции по делам политического характера были возложены на Революционный трибунал.

Осенью 1793 года меч революционного закона стал опускаться с большой быстротой и силой. Он безжалостно падал на головы врагов народа. После убийцы Марата Шарлотты Корде на эшафот вступила другая женщина — вдова Людовика XVI, бывшая королева Мария Антуанетта. За ней настал черед вождей Жиронды.

На суде жирондисты держались плохо. Всю вину они валили на отсутствовавших либо друг на друга. Некоторые из них пытались подкупить зрителей, бросая им деньги. Но народ топтал ассигнации. Все подсудимые — Бриссо, Верньо, Жансоне и их восемнадцать соратников — были приговорены к смертной казни. Казнь состоялась 31 октября. Смерть осужденные встретили мужественно. Что сказать об их друзьях, переживших этот день? Почти всех их ждала та же участь. В начале ноября гильотина снесла голову бывшему герцогу Орлеанскому. Через два дня после него наступил черед Манон Ролан. Ее муж, скрывавшийся в мятежной Нормандии, не смог перенести известия о ее казни и покончил с собой. В декабре погибли его коллеги, бывшие жирондистские министры Лебрен и Клавьер. Весной следующего, 1794 года принял яд философ Кондорсе. Что касается жирондистов, бежавших в департаменты, то из них уцелели, пережив якобинскую диктатуру, лишь оскорбитель Робеспьера Луве да многоликий Инар. Гюаде и Барбару были гильотинированы в Бордо летом 1794 года; соратники Робеспьера по Учредительному собранию Петион и Бюзо неудачно пытались скрыться после разгрома контрреволюции на юге; они погибли на пути бегства, и их трупы были обглоданы волками.

Отправляя на эшафот вожаков Жиронды, якобинцы не де-

лали скидки и для их предшественников — конституционалистов и фельянов.

В дни, когда падали головы герцога Орлеанского и госпожи Ролан, Революционный трибунал вспомнил об одном видном деятеле, теперь пытавшемся уйти в тень забвения, о герое побоища на Марсовом поле Жане Байи. Можно ли было забыть о нем, если кровь невинных жертв требовала отмщения? Престарелый Байи был привлечен трибуналом 10 ноября; через два дня его обезглавили во рву, близ места, где некогда по его приказу были расстреляны сотни патриотов. Две недели спустя дошла очередь и до предателя Барнава. Он разделил участь Байи, с которым некогда делил лавры.

Так действовала Немезида революции. Ее рука карала без промаха. Те, кто изменил общему делу, кто интриговал, старался повернуть вспять или ослабить победный марш свободы, теперь несли на эшафот свои головы. На белый террор освобожденный народ отвечал революционным красным террором. И первые спасительные результаты не заставили себя ждать. Уже 25 августа республиканские войска вошли в Марсель. В начале октября был взят Лион. В октябре подчинился власти Конвента Бордо. Благоприятные вести шли из Вандеи. Жирондистский мятеж в провинции подходил к концу. Огненное кольцо врагов было прорвано. К зиме власть Конвента восстановилась в большинстве департаментов. Контрреволюция уползала в подполье.

Дипломатия — четвертый и последний пункт записи Робеспьера. Продуманная внешняя политика должна была увенчать военные успехи якобинцев и их победу над внутренней контрреволюцией. Внешнеполитические проблемы особенно волновали Неподкупного в конце осени и начале зимы 1793 года, в дни решающего перелома на фронтах. В своих докладах Максимилиан с предельной ясностью наметил те принципы, которые следовало положить в основу взаимоотношений Франции с соседними государствами.

Эти принципы — терпимость, невмешательство во внутренние дела, взаимное уважение государственной независимости и суверенитета.

Призывая французов к разгрому интервентов, к изгнанию их войск за пределы страны, Робеспьер подчеркивал, что эта национальная задача французского народа отвечает интересам всего человечества.

«Погибни свобода во Франции, — говорил он, — и при-

рода покроется погребальным покрывалом, а человеческий разум отойдет назад ко временам невежества и варварства. Деспотизм, подобно безбрежному морю, зальет земной шар... Мы боремся за людей живущих и за тех, которые будут жить...»

Эти слова, перекликающиеся с Декларацией прав, составленной Неподкупным, показывают, с какой замечательной прозорливостью он разглядел всемирно-историческое значение Великой французской революции. И однако, подчеркивая ее роль для других стран не только в настоящем, но и в будущем, Робеспьер с враждебностью относился к программе эбертиста Клоотса, проповедовавшего революционную войну за создание всемирного союза республик. Вождь якобинцев считал эту программу вредной и бессмысленной утопией. Полагая, что революция не приносится извне народам, у которых еще не созрели для нее условия, Робеспьер был уверен, что подобная война, непрерывно увеличивая число врагов республики, может затянуться до бесконечности. При этом, возражая Клоотсу, Неподкупный не хотел согласиться и с друзьями Дантона, склонявшимися к заключению компромиссного мира. Когда в декабре 1793 года Пруссия и Австрия стали прощупывать почву для переговоров, якобинское правительство им не ответило. Время для выгодного республике мира еще не настало; компромиссный же мир мог привести лишь к капитуляции.

Таковы были основы дипломатии Робеспьера и его единомышленников в сложных условиях войны с интервентами. Они стремились установить дружественные отношения с теми, кто на миролюбие отвечал миролюбием, но исключали всякую возможность переговоров с врагами, посягавшими на целостность Франции и на ее революционную независимость.

Но жизнь республики не ограничивалась всем этим. Под грохот сражений и стук гильотины шел непрерывный созидательный процесс. Никогда и нигде еще в мире до этой революции не было пересмотрено и сделано так много, как за несколько месяцев якобинской диктатуры. И в этом потоке творчества свободная инициатива народа сыграла также ведущую роль. Комитет общественного спасения во главе с Робеспьером и Сен-Жюстом чутко прислушивался к нуждам страны и с якобинской смелостью реагировал на них. Многочисленные постановления, лично составленные или отредактированные Робеспьером, касались почти всех сторон общественной и культурной жизни революционной Франции.

Много забот уделяли якобинцы проблеме народного образования. 13 июля 1793 года Робеспьер выступил с планом, предопределявшим широкое общее образование в сочетании с производственным трудом, с физическим и моральным развитием, необходимым для всех подрастающих граждан республики. Неподкупный предложил, чтобы дети с пяти до одиннадцати-двенадцати лет воспитывались совместно, без всяких различий и исключений, в особых интернатах за счет государства. Такое воспитание, по мысли докладчика, содействовало бы победе идеи равенства. Конвент с энтузиазмом поддержал проект. И хотя после многодневных дебатов он был сильно урезан — в буржуазном обществе реализация подобного плана была невозможна, — тем не менее в конце того же года законодатели декретировали обязательное и бесплатное трехлетнее начальное образование по единой программе, что было также большой победой.

Значительной перестройке подверглось высшее и среднее специальное образование. Старые университеты, находившиеся в материальной и идейной зависимости от церкви, были упразднены. Ликвидации подлежали и королевские академии — научные учреждения, проникнутые корпоративным духом и неспособные пойти за революцией. Вместо этого было запроектировано создание в Париже Центрального лицея для высшего народного образования с наглядными методами обучения на объектах хранилищ и музеев. Конвент утвердил организацию высшей Политехнической школы, которая должна была выпускать инженеров и специалистов по точным наукам, а также Нормальной школы, готовившей новые преподавательские кадры. Учреждались специальные школы и курсы: военные, навигационные, медицинские. Заботясь о политическом просвещении, о борьбе с религиозными предрассудками, о распространении научных знаний, Конвент содействовал новой организации библиотек, архивов и музеев, делавшей сокровища науки и искусства доступными народу.

Целая плеяда ученых оказалась связанной с трудами революции. Математики Монж и Лагранж, астроном и физик Лаплас, химики Лавуазье, Бертолле, Леблан, биологи Ламарк и Сент-Илер, а также десятки других ведущих деятелей науки были и исследователями, и педагогами, и практиками — организаторами научных учреждений и предприятий оборонной промышленности. Комитет общественного спасения и Конвент сохраняли тесный контакт с учеными, поддерживая всякое открытие и изобретение, будь то новый метод дубления кож или воз-

духоплавание на аэростате, способ переливания колоколов на пушки или оптический телеграф.

Одним из бессмертных деяний якобинской республики было введение метрической системы мер. Декрет о метрической системе прошел 1 августа — в том самом заседании Конвента, которое постановило предать суду Марию Антуанетту, конфисковать имущество эмигрантов и мобилизовать все силы на покорение Вандеи. И недаром позднее на эталоне метра был выгравирован гордый девиз: «На все времена всем народам». Новая система осталась жить в веках и сделалась достоянием всего человечества.

Значительное воздействие оказало революционное правительство на развитие театра, литературы, музыки, живописи. Из литературы и искусства безжалостно изгонялись легкомысленные, фривольные мотивы, их заменили суровая тематика гражданской доблести, политический водевиль, патриотический гимн. Борясь со всем старым и реакционным в области культуры, якобинцы с чуткостью и вниманием относились к подлинным памятникам искусства, беря их под охрану и защиту. На этой стезе особенно много сделал монтаньяр, человек, близкий Робеспьеру, — Жак Луи Давид, замечательный художник и выдающийся организатор. Давид и другие деятели искусства, сотрудничая с Конвентом, принимали участие в устройстве художественных выставок, конкурсов на лучшие произведения живописи, скульптуры и архитектуры, оформление революционных праздников.

Огромная работа была проведена в области революционного права. Уделяя главное внимание конституции и проблемам, связанным с теорией революционного правительства, Робеспьер и его коллеги не забывали и гражданского права. Конвент обсудил и ввел в действие ряд статей нового гражданского кодекса, устанавливавшего свободу развода, равноправие супругов, свободу брачных договоров, отмену родительской власти. В обиход были пущены совершенно новые юридические категории, некоторые из которых — наименее радикальные — прочно вошли затем в фонд буржуазного законодательства позднейшего времени.

Якобинцы стремились изменить быт и нравы родной страны в соответствии со своими республиканско-демократическими идеалами. Считая свое время началом новой эры, открывающей путь к счастливому будущему, они рисовали это будущее

в покровах строгой античной простоты. Увлечение героическими образами и гражданской добродетелью античности наложило отпечаток на внешние формы жизни республики. Конвент утвердил замену обращения на «вы» обращением на «ты». Многие деятели меняли свои имена на имена любимых героев древности. Так, Шомет называл себя Анаксагором, Клоотс — Анахарсисом, Бабеф — Гракхом.

В целях увековечения новой эры был введен революционный календарь. Год делился на 12 месяцев по 30 дней в каждом, пять дополнительных дней назывались санкюлотидами. День провозглашения республики, 22 сентября, считался первым днем первого месяца — вандемьера, за ним, с 22 октября шел брюмер, затем последовательно: фример, нивоз, плювиоз, вантоз, жерминаль, флореаль, прериаль, мессидор, термидор, фрюктидор. Каждый месяц делился на три декады, дни которых обозначались названиями растений, овощей и животных.

Новый календарь приобрел обязательную силу. Однако он далеко не везде был встречен с одинаковым энтузиазмом. Крестьянство, религиозное и неграмотное в своей массе, держалось за традиционные названия дней и месяцев, не желая отказываться от христианских праздников.

Робеспьер, чутко прислушивавшийся к настроениям масс, сомневался в целесообразности революционного календаря и даже отметил в своей записной книжке, что следует затормозить его введение в жизнь. Это мнение Неподкупного было связано с его отношением к так называемой «дехристианизации», распространявшейся по стране осенью 1793 года.

«Дехристианизаторское» движение, возникшее в ходе борьбы против контрреволюционного духовенства, ставило своей целью полное уничтожение религии и церкви. Его возглавили левые якобинцы и эбертисты (Шомет, Клоотс, Эбер, Фуше). В городах и сельских местностях «дехристианизаторы» стали закрывать церкви, превращая их в места празднований «культа Разума»; многие священнослужители, в том числе и высшие, как парижский епископ Гобель, торжественно отреклись от сана.

Хотя «дехристианизация» не была официально санкционирована, Робеспьер и его соратники вначале не препятствовали ее проведению, желая узнать, как она будет принята в народе. Вскоре стало ясно, что движение это было несвоевременным: оно вызвало недовольство среди городского и в особенно-

сти сельского населения. Секретные агенты Комитета общественной безопасности доносили, что «огонь тлел под пеплом» и можно было опасаться серьезных эксцессов. На религиозных настроениях народа готовы были сыграть и интервенты и роялисты. Учитывая это, Робеспьер в конце ноября выступил против «дехристианизации», осудив ее с государственной и политической точек зрения. Тогда Шомет, бывший одним из инициаторов движения, первым отказался от него; за прокурором Коммуны последовали и другие. 5—8 декабря Конвент по докладу Робеспьера принял декрет о свободе культов.

Так, в религиозном вопросе революционное правительство действовало с трезвым учетом реального положения, верно оценивая настроения народа и идя им навстречу.

Влияние общественного мнения увеличивалось соответственно небывалому до той поры размаху общественной жизни, последняя же, особенно в столице, била ключом. Санкюлоты принимали деятельное участие в работе клубов, секций, революционных комитетов, заполняли галереи для публики на заседаниях Конвента, толпились в здании Революционного трибунала. Женщины стремились не отставать от мужчин. Политические страсти зачастую разгорались настолько, что посетители галерей заставляли законодателей прерывать заседание. Человек, не аплодирующий выступлению Робеспьера, немедленно слышал угрозы и обидные клички. На улицах, в кафе, у газетных киосков — повсюду с жаром обсуждали события дня: известия с фронта, очередной декрет Конвента, приговор Революционного трибунала, выдающуюся речь в Якобинском клубе. На газеты набрасывались с жадностью. Толпились у пестрых афиш и многоцветных плакатов, расклеенных на стенах центральных кварталов столицы. У дверей домов можно было видеть большие столы, за которыми обедали и ужинали граждане данного квартала. Это было новое явление: братская трапеза. Мужчины, женщины, дети, люди разного положения и достатка собирались за этими трапезами, каждый внеся предварительно свой продуктовый пай. За едой вели оживленные политические споры, пели патриотические песни, дети читали наизусть статьи конституции...

Да, сделано было много, и все переменилось радикально. Революция переворошила жизнь сверху донизу. Большими были дела, еще большими — планы.

А между тем уже назревали события, которые должны были расколоть якобинское правительство и поломать кажущееся

единство, которое не имело под собой достаточно твердой основы.

Неподкупный не мог этого не чувствовать.

Но пока он не хотел думать о неизбежном. Так было отрадно верить в добродетель и счастье народа! Неподкупный сроднился с этой мыслью. Сам он жил по-прежнему бедно. Та же крохотная каморка в доме Дюпле служила ему убежищем и рабочим кабинетом. Та же тусклая лампа была единственной свидетельницей его ночных бдений. С теми же людьми он встречался в «салоне» госпожи Дюпле. Нет, впрочем, кое-кто не появлялся здесь больше. Исчез Дантон. Лишь изредка заходил Демулен. Он теперь бывал постоянно с Дантоном, который таскал его по трактирам Пале-Рояля. Максимилиан не мог забыть Камиллу одной дурацкой выходки. Как-то, когда его не было дома, Камилл пришел с книгой под мышкой. Он таинственно передал ее младшей дочери Дюпле, попросив спрятать и сохранить. Елизавета с любопытством раскрыла книгу: это оказались сочинения Аретино с гравюрами самого непристойного содержания. Бедная девочка сильно смутилась, что сразу заметил вернувшийся Максимилиан. Когда он узнал о происшедшем, его охватило возмущение.

— Забудь об этом, — сказал он взволнованно Елизавете. — Целомудрие грязнится не тем, что случается невольно увидеть, а имеющимися в сердце дурными мыслями.

Демулену он сделал строжайший выговор. Впрочем, что были выговоры этому шалопаю! Дрянной мальчишка, которого надо высечь. Хотя по летам не такой уж и мальчишка: Камилл был всего лишь на два года моложе Робеспьера, и сейчас ему исполнилось тридцать три. Что и говорить, пылкий и неустойчивый Камилл был уже совсем не тем Камиллом, который ораторствовал когда-то перед народом накануне взятия Бастилии. Все знали, как он опозорился недавно в Конвенте, защищая одного изобличенного предателя, и уже слышалось слово «подозрительный», произносимое по его адресу. Робеспьеру было известно, что Камилл публично плакал, плакал горючими слезами, когда осудили лидеров Жиронды, и кричал о том, что раскаивается в написании памфлета «Разоблаченный Бриссо». Все это было горько и больно. Максимилиан любил своего старого приятеля. Неужели дело идет к разрыву? Нет, он еще поборется за Камилла, он не отдаст его так просто врагам.

Если ушли Дантон и Демулен, то вместо них появились новые люди. Морис Дюпле был избран членом Революционного

трибунала, и теперь к нему частенько заходил председатель трибунала Эрман, земляк Робеспьера, «человек честный и просвещенный», как характеризовал его Максимилиан. С ним вместе появлялись и заместители: искренний патриот Дюма и бесстрашный Коффиналь с пылкой душой и внешностью Геркулеса. Нечего и говорить, сколь частыми гостями были Сен-Жюст и Кутон, а также их друг и единомышленник, член Комитета общественной безопасности Филипп Леба; последний ухаживал за Елизаветой Дюпле и вскоре должен был стать ее мужем. Не забывал Неподкупного и его преданный почитатель художник Давид. С начала 1793 года в «салоне» госпожи Дюпле можно было встретить Филиппа Буонарроти, потомка Микеланджело, будущего участника и историографа «Заговора равных». Он хорошо пел и играл на клавесине. Под его аккомпанемент певал и Леба, страстно любивший итальянскую музыку. Максимилиан доставлял удовольствие участникам этих импровизированных вечеров чтением лучших трагедий Расина.

Одно время к Дюпле зачастила странная личность: то был бесцветный, невзрачный человек со стеклянными глазами, Жозеф Фуше. Он вел себя скромно и помалкивал. Как и Эрман, земляк Робеспьера, этот деятель представлялся крайним монтаньяром. Он начал флиртовать с Шарлоттой. Своим любезным обращением он пленил перезревшую девушку. Заговорили о женитьбе. Максимилиан не противился этому плану, тем более что сестра достаточно отравила его домашнюю жизнь. Но свадьбу пришлось отложить: Фуше вместе с Колло д'Эрбуа послали на усмирение мятежного Лиона. А затем произошли события, которые совершенно расстроили брак.

Максимилиану все труднее было ладить с сестрой. Она не могла забыть, что ее знаменитый брат покинул квартиру на улице Сен-Флорантен. Тайная война между госпожой Дюпле и Шарлоттой превращалась в явную. Дело кончилось скандалом и полным разрывом. К счастью, в августе 1793 года Огюстена направили в длительную командировку в южную Францию, и он, жертвуя собой во спасение покоя Максимилиана, согласился увезти сестру.

Все эти дела и события не оставались в тайне. Любопытные кумушки чесали языки. По Парижу распространялись всевозможные сплетни. Поговаривали между прочим и о близкой женитьбе Неподкупного. О, если бы могли знать, как он был сейчас далек от этой мысли! Элеоноре Дюпле исполнилось 23 года. Это была высокая стройная девушка с приятным спокойным лицом и светлым взглядом. Между ней и Максимилианом давно установился род нежной дружбы, той особенной

дружбы, которая свойственна замкнутым, застенчивым людям. Робеспьер привык прогуливаться в сопровождении Элеоноры, часто беседовал с ней. Они понимали друг друга с полуслова. Но любовь, брак... Нет, об этом Максимилиан и не помышлял. Были ли у него для этого время и силы? Он горел страшным огнем, сжигавшим душу и тело. Часто болея, он по многу дней оставался в постели. Тем сильнее ценил он каждый момент, когда был здоров, каждый миг, который мог отдать общему делу, ради которого жил, ради которого был готов умереть. Нет, Неподкупный не обольщался; семейная идиллия была не для него. Он бесстрашно шел навстречу неизбежной судьбе, не ища отдыха и забвения, не помышляя о том, чтобы купить покой и личное счастье ценою компромисса с делом жизни; впрочем, его личное счастье как раз и заключалось в борьбе, единственно в борьбе.

Глава 3

Заговоры и фракции

«Земную жизнь пройдя наполовину, я очутился в сумрачном лесу...» Эти слова Данте с некоторых пор все чаще должны были приходить на ум Максимилиану Робеспьеру. «Сумрачный лес» возник вдруг перед ним, когда ему едва перевалило за тридцать пять: страшная пропасть разверзлась у ног его, когда было почти закончено восхождение на самую вершину крутой горы.

Трудной, но прямой дорогой шел Робеспьер вместе с народом и победил. И вот, наконец, народ стал хозяином положения, а Робеспьер очутился во главе правительства.

Но что же произошло вслед за этим?

Внезапно открылись трудности, едва ли не большие, чем те, которые удалось преодолеть. Внезапно Робеспьер начал сознавать, что «народ» в его представлении был чем-то неопределенным, аморфным, идеальным. Стало очевидным, что народ очень неоднороден, что он распадается на разные группировки! Оказалось, что из него в ходе революции вышли всяческие «нувориши»[1], вполне удовлетворенные достигнутым и теперь готовые сказать «довольно». Оказалось, с другой стороны, что существует масса мелкого люда, который еще ничего не получил от революции и поэтому требует ее продолжения!

Все это значило, что прямая дорога кончилась. Якобинский

[1] Вновь разбогатевшие (франц.), то есть новая буржуазия.

блок, представлявший «народ», разорвался изнутри. От его руководящей, робеспьеристской группы все более отчетливо отделялись правая и левая фракции, выступающие со своими требованиями и готовые стать на путь непримиримой борьбы.

Правые в дальнейшем получили прозвище «снисходительных» или «умеренных». Это были лидеры новой, спекулятивной буржуазии. Признанным главою их считался Жорж Жак Дантон.

В прошлом у Дантона имелись значительные революционные заслуги, о которых Робеспьер и его соратники прекрасно помнили. Однако Дантон никогда не отличался политической чистоплотностью. По мере того как росло его состояние, он все больше становился адвокатом собственников. Именно по его призыву Конвент провозгласил, что «всякого рода собственность — земельная, личная, промышленная — должна на вечные времена оставаться неприкосновенной»; именно по его предложению была установлена смертная казнь за пропаганду «аграрного закона». В душе Дантон никогда не был врагом Жиронды, искренне желал примирения с ее вожаками, и только их близорукая политика помешала этому примирению произойти.

Характерной особенностью Дантона был его великий оппортунизм, его умение всегда и ко всему приспособиться.

Враг революционного правительства, сколько раз он лицемерно защищал его, маскируя свои истинные позиции настолько тонко, что вводил в заблуждение даже хорошо знавшего его Неподкупного. Своим показным добродушием, видимой широтой натуры и незаурядным красноречием Дантон покорял сердца. Но он умел в решительные моменты остаться в тени и выставить на линию огня других. Осенью 1793 года Дантон уехал в свое поместье в Арси-сюр-Об. Он, казалось, целиком ушел в частную жизнь, однако, поддерживая связь со своими единомышленниками в Париже, оставался в курсе всех дел фракции.

Самыми близкими друзьями Дантона были Демулен и Фабр.

Камилл Демулен, так же как и его патрон, мог гордиться своим революционным прошлым. В прежние годы этот пылкий и остроумный журналист много поработал на благо отчизны. Но не было другого столь легковерного, неустойчивого, сгибающегося под ветром и, по существу, беспринципного сына рево-

люции, как капризный и избалованный успехом Камилл. Как часто он менял свои убеждения! И с какой легкостью поддавался влиянию других! У Демулена всегда оказывался кумир, на которого он молился и в котором, как правило, разочаровывался. Такими кумирами были Мирабо, Шарль Ламет, Барнав, Робеспьер. Теперь Камилл поклонялся Дантону и действовал точно по его указке.

С Фабром Дантон сблизился в период событий августа — сентября 1792 года. До революции Фабр был провинциальным актером. Потом стал заниматься коммерцией. Робеспьеру было известно, что, взяв подряд на десять тысяч пар солдатской обуви, которую он изготовил из негодного сырья, Фабр сумел заработать вдвое против стоимости заказа. Отсюда начинался его материальный успех. Вскоре он завел экипаж, без счета тратил на любовниц и разные прихоти и, между прочим, писал пьесы. Впоследствии на упреки в том, что он окружил себя роскошью, Фабр отвечал: «Я всей душой люблю искусство. Я рисую, занимаюсь лепкой, гравированием, пишу стихи, написал в пять лет семнадцать комедий. Мое жилье отделано собственными руками. Вот моя роскошь». Этот «любитель искусств» был хитрым и тонким интриганом. Прячась за спины других, он ждал благоприятного момента, чтобы взять самый жирный кусок. «Он играл, — говорил о Фабре Сен-Жюст, — на умах и сердцах, на предрассудках и страстях, как композитор играет на музыкальных инструментах».

Другие деятели, примыкавшие к «снисходительным», были под стать Фабру. Член Конвента Делакруа, спутник Дантона в его заграничных миссиях, занимался хищениями в Бельгии. Бывший капуцин Франсуа Шабо, часто выступавший с трескучими речами в Конвенте и клубах, был спекулянтом и игроком; деятель продажный и до последней степени развращенный, он, между прочим, участвовал в попытке спасти короля, за что получил от иностранцев сумму в пятьсот тысяч ливров. От Шабо не отставал его приятель Базир. В разного рода сомнительных делах были замешаны Филиппо, Бурдон, Тюрио и многие другие дантонисты.

До зимы 1793 года «снисходительные» не рисковали открыто выступать против революционного правительства. Напротив, Дантон неоднократно поддерживал Робеспьера и даже левых якобинцев. Поздней осенью и зимой положение круто изменилось. Значительные перемены прежде всего произошли в самом левом фланге якобинского блока, занимавшем все более непримиримые позиции по отношению к дантонистам.

Левые якобинцы, возглавляемые Шометом, играли основную роль в событиях лета — начала осени 1793 года. Унаследовав идеи «бешеных», выступая в качестве защитников широких слоев трудящихся города и деревни, они первые поставили террор в порядок дня и своим мощным натиском содействовали быстрому формированию революционного правительства. Многое здесь сделал лично Пьер Гаспар Шомет.

Шомет! Это имя произносилось теперь все чаще и чаще в Париже. С особенной любовью оно звучало в устах простого люда. Еще бы! Кто лучше знал народные горести и надежды, чем этот коренастый юноша с приветливым лицом и пылким искренним сердцем? Шомету шел всего лишь тридцать первый год, но какой долгий и тяжелый путь был у него позади! Сын сапожника из Невера, он познал множество профессий: был юнгой, сборщиком трав, фельдшером, школьным учителем, писцом. Революцию Шомет встретил как праздник. Пламенный оратор Клуба кордельеров, он выступил в числе пионеров республиканского движения, сражался 10 августа с деспотизмом, а затем боролся на стороне Горы против Жиронды. В ноябре 1792 года Шомет был избран прокурором Парижской коммуны.

Робеспьер сдержанно относился к Шомету, видя в нем прежде всего наследника «бешеных». Но, не симпатизируя вождю левых якобинцев, Неподкупный в качестве главы революционного правительства понимал правильность избранного им курса и в основном следовал тем же путем.

Однако с ноября — декабря от левых якобинцев стала все явственнее отделяться группа лидеров во главе с Эбером, заместителем Шомета по должности прокурора Коммуны. Эта группа, хотя во многом и близкая левым якобинцам, хотя и разделявшая многие их лозунги и требования, вместе с тем существенннно от них отличалась, отличалась по коренному пункту. Если Шомет, бывший одним из организаторов событий 4—5 сентября, горячо поддерживал революционное правительство, то Эбер сначала тайно, а затем и явно против него боролся, считая нужным низвергнуть не только дантонистов, но и робеспьеристов. Это основное расхождение приводило к целому ряду других, более частных.

Жак Рене Эбер мало кому внушал чувство симпатии. Насмешник и циник, с презрением относившийся даже к своим преданнейшим почитателям, он был лицемерен, труслив и не отличался последовательностью суждений и поступков. Но он обладал незаурядными способностями публициста. Его газета «Отец Дюшен» имела широчайшую популярность. Читающей

бедноте импонировал язык газеты — грубоватая подделка под цветистую, пересыпанную забористыми словечками простонародную речь. Разумеется, еще большее воздействие оказывало содержание газетных статей, в которых Эбер, всегда отзывавшийся на злободневные проблемы, выражал накипевшую в массах ненависть к священникам и аристократам, спекулянтам и скупщикам.

Все затруднения революции Эбер советовал разрешать с помощью «национальной бритвы», то есть гильотины. Дабы обеспечить постоянную пищу для «святой гильотины», Эбер считал необходимым коренным образом реформировать существующую систему судопроизводства, заменив Революционный трибунал стихийным народным самосудом. При этом, обрекая на смерть торговцев и спекулянтов, Эбер не делал различий между крупными оптовиками и мелкими уличными разносчиками. Подобные взгляды создали эбертистам репутацию «ультрареволюционеров». Впрочем, в очевидном противоречии со своими сверхрадикальными планами Эбер выдвигал требование возврата к конституционной исполнительной власти, то есть добивался отмены революционной диктатуры. Вся эта путаница сильно отдавала демагогией и авантюризмом. Нет ничего удивительного, что к эбертистам примазывались темные личности вроде старого знакомца Робеспьера, Фуше, которые под флагом политики «решительных революционных мер» занимались хищениями и наживали политический капитал. С другой стороны, правда, эбертизм увлек и кое-кого из числа честных и искренних защитников плебейства; к ним принадлежали, например, типограф Моморо, полностью чуждый практической деятельности и замыслам Эбера. Из числа крупных эбертистов особенно выделялись анархист и космополит, бывший вестфальский барон Анахарсис Клоотс, объявлявший себя «личным врагом господа бога» и «оратором рода человеческого», командующий революционной армией честолюбивый Ронсен и тесно связанный с ним работник военного министерства Венсан; к эбертизму были близки и два члена Комитета общественного спасения: Билло-Варен и Колло д'Эрбуа.

Нельзя было не заметить — и Неподкупный заметил это очень скоро, — что между обеими внешне непримиримыми фракциями существовали точки соприкосновения. Сюда относилась прежде всего общая и равная ненависть тех и других к робеспьеристам и возглавляемому ими Комитету общественного спасения. С другой стороны, Робеспьер и Сен-Жюст полу-

чали материалы, свидетельствующие о еще более страшном деле: и «умеренные» и «крайние» оказались связанными с подозрительными иностранцами и зарубежными кругами, смертельно враждебными якобинской республике.

В конце июля 1793 года был найден и доставлен в Комитет общественного спасения портфель, утерянный английским шпионом. Из бумаг, обнаруженных в портфеле, явствовало, что были распределены значительные денежные суммы между английскими агентами, рассеянными по всей Франции. Лилль, Нант, Дюнкерк, Руан, Аррас, Сент-Омер, Булонь, Туар, Кан, то есть именно те города, в которых прошли антиправительственные мятежи, как оказалось, щедро снабжались деньгами Питта. Инструкция, найденная в портфеле, предписывала организацию поджогов арсеналов и складов фуража. В свете этой инструкции стали ясны причины пожаров в Дуэ и Валансьенне, в парусных мастерских Лориана и на патронных заводах Байонны. Другие инструкции рекомендовали агентам понижать курс ассигнаций и повышать цены на продукты, скупать сало, свечи и т. п. с целью создавать новые экономические затруднения в стране.

Разумеется, агенты были лишь пешками в руках деятелей значительно более крупного калибра.

Революционная Франция гостеприимно открывала двери всем угнетаемым и гонимым европейскими тиранами. Некоторые иностранцы, прославившиеся своей борьбой за свободу, были даже избраны в Конвент. Но наряду с подобными людьми в республику проникло много иноземных дельцов и банкиров, рядившихся в одежды крайнего санкюлотизма и патриотизма. Эти господа, заползая во все щели, стали преобладать в некоторых народных обществах, завязывали тесные отношения с депутатами Конвента, видными якобинцами и даже членами правительственных Комитетов. Все они при этом продолжали выполнять роль шпионов-резидентов в пользу тех враждебных Франции держав, которые якобы их изгнали.

В сентябре — октябре, проводя законы о «подозрительных», правительство внезапно обрушилось на новых «поборников свободы». И тут выяснилось, что многие из них были тесно связаны с лидерами дантонистов и эбертистов, причем главари обеих фракций начали немедленно выручать своих подопечных.

Так, дантонист Шабо, бывший в то время членом Комите-

та общественной безопасности, добился снятия печатей с банка Бойда, английского шпиона и личного финансиста Питта, а затем помог Бойду бежать из Франции. Тот же Шабо принимал горячее участие в судьбе австрийских шпионов, моравских финансистов Добруска. Эти братья-проходимцы, получившие от австрийского императора «за особые заслуги» баронский титул и фамилию Шенфельд, с начала войны устроились во Франции под видом преследуемых патриотов Фрей («свободных»). Братья Фрей установили контакты с рядом влиятельных депутатов Горы и тайно сотрудничали с жирондистским министром Лебреном. Они окрутили Шабо с помощью своей красавицы сестры, за которой дали бывшему капуцину двести тысяч приданого. Естественно, что влюбленный Шабо постарался укрыть их от правительственных репрессий.

Особенно поучительной была история группы Проли.

Бельгийский банкир, австрийский подданный Проли основал в Париже и вел до самого начала войны газету «Космополит», защищавшую английскую политику. Проли был в близких отношениях с Демуленом и членом Комитета общественного спасения Эро де Сешелем, который использовал этого дельца в качестве личного секретаря и осведомителя. Проли выполнял также тайные дипломатические поручения самого Дантона, был в дружбе с многими депутатами Конвента и через своего подручного Дефье проник в тайны Якобинского клуба. С помощью того же Дефье, бордоского еврея Перейры и драматурга Дюбюиссона Проли сумел объединить народные общества секций и создал Центральный комитет, в котором определил себе ведущую роль. Центральный комитет народных обществ стал могущественной организацией, соперничавшей с Якобинским клубом и Коммуной. Проли, Перейра и их сообщники не скрывали презрения к Конвенту, рассчитывая полностью опутать его своими сетями. В конце сентября шпионскую группу настиг удар: дельцы были частично разоблачены и арестованы. Но ненадолго. По ходатайству своего покровителя Эро де Сешеля они были реабилитированы и освобождены.

Характерная деталь: находясь в заключении, Проли и Дефье успели наладить деловую связь с видными эбертистами Ронсеном и Венсаном, временно пребывавшими в той же тюрьме. В этом не было ничего удивительного. Вожаки «крайних» не избегли влияния зарубежных финансистов, и даже сам Эбер крепко дружил с голландским банкиром Коком.

Одной из главных фигур в этой галерее проходимцев был неуловимый авантюрист, шпион и делец, барон де Батц, человек в своем роде замечательный. Самозванный дворянин, владе-

лец огромного состояния, созданного спекуляцией, Батц верно и преданно служил делу роялизма. Он несколько раз эмигрировал, сражался в армии врагов, а затем с невероятной дерзостью вновь появлялся во Франции. Он сумел вкрасться в доверие к жирондистскому правительству, пытался спасти короля на пути к эшафоту, организовывал заговоры с целью освобождения из тюрьмы королевы и главарей Жиронды. Батц состоял в близких отношениях с многими иностранными банкирами и депутатами Конвента. С ним часто обедал Дантон. Его загородный дом в Шарроне играл роль организационного центра заговорщиков. Им были подкуплены чиновники полиции, которые оказывали ему тайное покровительство и вовремя предупреждали об опасности. С именем Батца было связано одно из наиболее громких мошенничеств того времени — пресловутое дело Ост-Индской компании.

Однажды ранним утром сон Робеспьера был нарушен. Пришел депутат Шабо. Он был страшно взволнован: лицо его дергалось, руки дрожали.

— Я тебя разбудил, но сделал это ради спасения отечества: у меня в руках нити ужасного заговора.

— Если так, ты обязан помочь его раскрытию.

— Для этого я должен видеться с заговорщиками, ибо они приняли меня в свою среду и предложили часть выгод от их разбойничьего предприятия. Назначена встреча, я могу устроить так, что их схватят на месте преступления.

— Тебе нельзя колебаться. А доказательства?

— Вот они. — Шабо показал толстую пачку ассигнаций. — Это мне дали для подкупа одного из членов Горы, со стороны которого заговорщики опасаются противодействия. Я это поручение принял, но лишь с той целью, чтобы, проникнув в тайну заговора, разоблачить изменников.

— Так ступай поскорее в Комитет общественной безопасности.

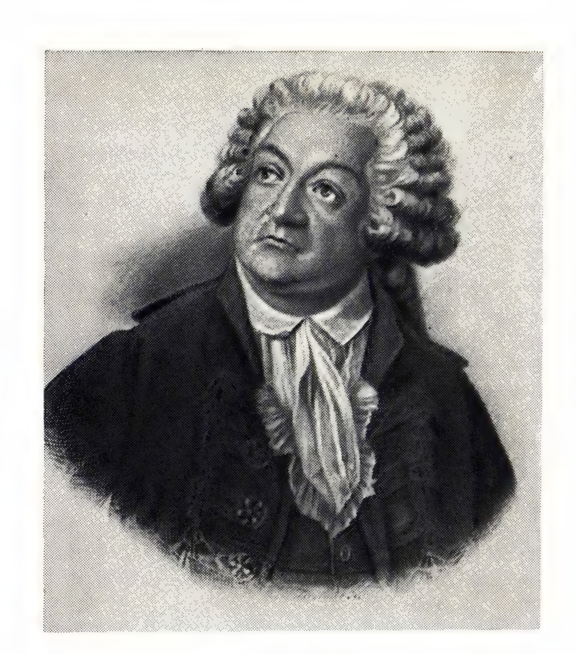
— Да, но я не хочу, чтобы из моего присутствия в среде заговорщиков вывели заключение, будто я сам заговорщик. Я желаю гарантий. Я готов умереть за отечество, но не в роли преступника.

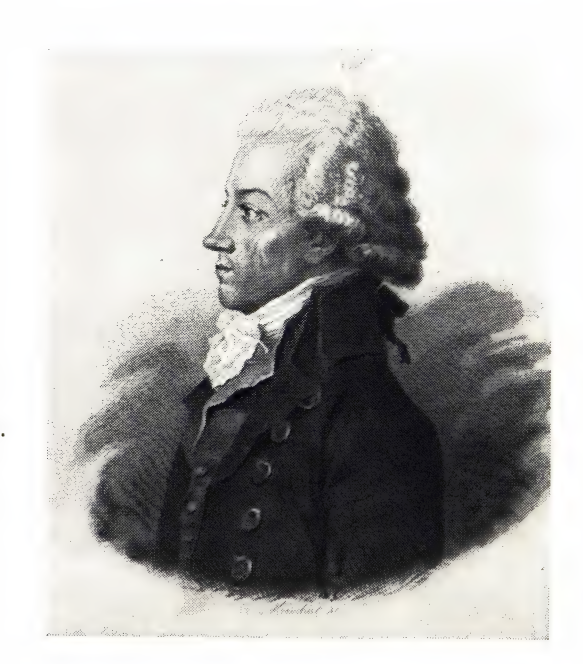
— Комитет примет необходимые меры для раскрытия заговора. Гарантией тебе будут служить твои намерения и данные тобою материалы.

Шабо ушел, заявив, что немедленно отправится в Комитет общественной безопасности. Действительно, он побывал там в тот же день. Его донос поддержал Базир.



Открытие Генеральных штатов 5 мая 1789 года.


Мирабо.


Барнав.

В своем заявлении Шабо указал на широкий заговор, в центре которого находился Батц. Заговор имел якобы две ветви. Одна из них включала депутатов, известных своей политической умеренностью, в том числе Делоне и Жюльена из Тулузы; эта группа, в которую попытались втянуть и его, Шабо, объединялась вокруг мошеннического дела Ост-Индской компании. Другая часть заговорщиков во главе с Эбером была согласно доносу подкуплена Батцем с целью обесславить тех депутатов, которые не согласились на подкуп: эбертисты должны были непрестанно их громить и содействовать их падению. В совокупности вся операция имела целью привести к финансовому хаосу в стране и к крушению нынешнего правительства.

Базир подтвердил ту часть доноса, которая касалась дела Ост-Индской компании. Своим заявлением он частично скомпрометировал Дантона, указав, что конспираторы рассчитывали на его содействие.

Члены Комитетов не сомневались, что в рассказах доносчиков содержится значительная доля истины. Если все, что касалось эбертистов, можно было отнести за счет ненависти к ним Шабо, который хотел отомстить за постоянные их нападки, то версия о мошенничестве казалась довольно правдоподобной и вполне подтверждалась материалами, которые Комитеты имели в своих руках. Вот как выглядела эта версия.

Как-то раз за обедом на даче у Батца собралась теплая компания. В числе присутствующих были депутаты Жюльен, Шабо, Базир и Делоне. Обсуждался вопрос о легкой и быстрой наживе. Делоне пришло в голову весьма простое средство.

— Надо понизить все ценные бумаги финансовых компаний и, воспользовавшись этим, скупить их, а затем вызвать повышение и восстановить их первоначальную ценность.

— Но, — возразил Базир, — где же взять средства для их покупки?

— Нет ничего проще: поставщик армии аббат д'Эспаньяк просит четыре миллиона; если нам удастся через законные каналы обеспечить их получение, д'Эспаньяк позволит воспользоваться ими на некоторе время...

План был принят. Жюльен распределил роли: Делоне должен был выступить в Конвенте и добиться падения курса бумаг, сам Жюльен взялся запугать администраторов и банкиров, остальным надлежало молчать и всеми средствами содействовать общим целям. Прибыль решили разделить поровну.

Сначала все шло как по маслу. Аббат д'Эспаньяк получил просимые деньги, а дельцы занялись финансовыми компаниями. Понизить бумаги казалось делом очень легким. Компании, особенно Ост-Индская, допускали крупные злоупотребления, вследствие чего имели много врагов среди членов Конвента; в числе таковых находился и Фабр д'Эглантин. Зная это и улучив подходящий момент, Делоне с трибуны Конвента учинил разгром Ост-Индской компании, подробно изложив ее грехи, и в заключение предложил упразднить все предприятия подобного рода, под какими бы ярлыками они ни значились. В проекте предложенного им закона были намечены детали, причем — в этом состояла главная цель заговорщиков — ликвидация поручалась самим компаниям и должна была производиться в неопределенные сроки.

Это предложение крайне удивило Фабра, который не был в курсе интриги. Выступив вслед за Делоне, он потребовал, чтобы ликвидация была проведена немедленно и не компаниями, а правительством, причем чтобы прежде всего были опечатаны все бумаги администрации компаний. Фабра поддержал Робеспьер. В духе этих соображений и был предложен проект декрета, для окончательной редакции которого выделили специальную комиссию.

Легко представить, какой удар планам заговорщиков наносил столь неожиданный оборот дела. Делоне, выступая со своим проектом, рассчитывал скупить по низким ценам акции Ост-Индской компании, а затем, прежде чем она успеет ликвидировать свои дела, найти способ поднять курс бумаг и с выгодой перепродать их. Теперь же оказывалось, что компании хотят попросту упразднить!

В первый момент ажиотеры были совершенно подавлены. Они проклинали свою неосторожность, состоявшую в том, что Фабр не был своевременно втянут в дело. Впрочем, учитывая репутацию Фабра, они решили, что еще не все потеряно, что ошибку можно исправить. Тем более что в состав редакционной комиссии наряду с Фабром вошли Делоне и Шабо! Теперь план их принял новый вид. Они решили подкупить Фабра и, заручившись его согласием, подделать декрет, дабы обнародовать его не в том виде, в каком он был предложен Конвентом, а в том, какой подходил для их целей.

Деликатное дело подкупа, как указал Шабо, было поручено ему. На это ассигновали сто тысяч ливров, каковую сумму и вручили добровольному посреднику. Шабо утверждал далее, что подкупить Фабра он не решился. Скрыв это от других мошенников и, видимо, желая присвоить деньги, он избрал иной

путь действий. На следующий день он принес Фабру начисто переписанный проект декрета, рассчитывая, что тот не будет в него особенно вникать. Позднее Фабр клялся, что подмахнул документ, не читая. Декрет, разумеется, был сфальсифицирован в духе Делоне и К°, и сдали его в набор после подписи Фабра именно в таком виде. Казалось, все прошло гладко и заговорщики добились, чего желали. Оставалось ждать.

Но тут нервы Шабо не выдержали.

У него неожиданно начались неприятности по совершенно иному поводу. Доблестный рыцарь наживы вдруг стал объектом весьма ожесточенных нападок. Прежде всего его освистали в Якобинском клубе за брак с Леопольдиной Фрей. Затем его подвергли допросу в связи с арестом аббата д'Эспаньяка, обвиняя в содействии грязным аферам разоблаченного поставщика. Вспомнился и ряд других подозрительных дел, в частности быстрый рост его богатства. Не на шутку струхнувший Шабо попытался было сколотить в Конвенте свою группировку из Базира, Тюрио, Оселена и других умеренных, но эбертисты решительно их атаковали. В результате Тюрио был 23 брюмера исключен из клуба, а Оселен угодил в тюрьму. Шабо, который к этому времени по уши увяз в ост-индской махинации, помертвел от страха, предполагая, что у него могут произвести обыск. И вот, видя призрак эшафота, мошенник решил, что может спасти свою шкуру, только выдав все предприятие. Тогда-то он и явился к Робеспьеру, а затем по совету Неподкупного в Комитет общественной безопасности. Его другу Базиру не оставалось ничего другого, как присоединиться к нему.

Когда Шабо делал свой донос, он и не подозревал, что его опередили. Причем опередил его именно тот человек, которого он и Базир пощадили в своих разоблачениях. Шабо никак не мог думать, что в октябре — ноябре он стал объектом страстных нападок в Конвенте и клубе в основном потому, что его оговорил Фабр д'Эглантин. Но оказалось, что хитрый и коварный Фабр раньше, чем кто-либо из его товарищей, сообразил, куда дует ветер: Шабо сделал донос в середине ноября, а Фабр провел свой ловкий фокус еще 10—12 октября.

Видя, что в Конвенте начали подниматься эбертисты, что многих иностранцев стали подозревать, что Эспаньяк арестован, Фабр, одной рукой беря от Делоне крупную взятку за свое участие в деле Ост-Индской компании, другой спешно строчил тщательно продуманный донос. 21 вандемьера (12 октября) он потребовал, чтобы его выслушали десять членов обоих прави-

тельственных Комитетов, в числе которых оказались Робеспьер, Сен-Жюст, Леба, Давид, Вадье и Амар. Фабр сообщил о якобы им открытом антиправительственном заговоре, инспирированном зарубежной агентурой.

Главный удар Фабр наносил по иностранным банкирам и некоторым лицам, действовавшим совместно с ними. Он указал, что в центре заговора находятся Проли, Дефье и Перейра, объединенные с целым рядом финансистов — агентов Австрии и Пруссии. Эти главари выведывали правительственные тайны и руководили в шпионских целях квазипатриотическими газетами. С ними согласно заявлению Фабра, играя роль их послушных орудий, были связаны депутаты Жюльен и Шабо, а также член Комитета общественного спасения Эро де Сешель. Отсюда, между прочим, сообщал доносчик, шел и иностранный брак Шабо и приданое в двести тысяч ливров, которые он получил как оплату своего предательства. Любопытно, что, выдавая Шабо и Жюльена, Фабр ни словом не обмолвился о Делоне — их сообщнике, ибо сам только что получил от него крупный куш за согласие потворствовать ост-индской афере.

Фабр бил без промаха. Его расчет был верен. В членах Комитетов во главе с Робеспьером он нашел самых внимательных слушателей, ни на минуту не заподозривших его доноса. Робеспьер и Сен-Жюст уже давно с беспокойством присматривались к иностранцам. С некоторых пор им казалось также весьма странной деятельность их товарища по Комитету общественного спасения — Эро де Сешеля.

Эро де Сешель — «прекрасный Эро», как называли его современники — был подлинным баловнем судьбы. Природа не обделила его ни внешностью, ни талантом, ни состоянием. Этот богач-сибарит, тонкий ценитель женской красоты и вакхических наслаждений, не отличался твердостью взглядов. Когда-то он был близок к фельянам, но вовремя отошел от них и примкнул к жирондистам, которых опять-таки вовремя оставил, чтобы засесть на Горе. Один из авторов текста конституции 1793 года, Эро за день до падения жирондистов был избран в Комитет общественного спасения. Однако осенью того же года он потерял политическую ориентацию и начал лавировать между фракциями, имея друзей как среди эбертистов, так и среди умеренных. Это обстоятельство само по себе не могло не настроить против него щепетильного в партийных вопросах Робеспьера. Дружба Эро с темными дельцами вроде Проли, с одной стороны, и одновременное разглашение некоторых тайн Комитета — с другой, превращали подозрения Неподкупного в уверенность. «Гнусное разглашение секретов Комитета, — отме-

чал он в своей записной книжке, — либо со стороны канцелярских служащих, либо со стороны других лиц... Изгоните прежде всего предателя, который заседает вместе с вами...» Донос Фабра, следовательно, попадал в самую точку. Немедленно по получении всех этих сведений Комитеты арестовали целый ряд лиц — эбертистов и агентов Эро де Сешеля. Был арестован и друг Клоотса банкир Ван-ден-Ивер. Самого Эро фактически исключили из Комитета общественного спасения, послав его в длительную командировку. За Шабо, Жюльеном, Базиром и другими был установлен тщательный надзор. Отсюда проистекали нападки и допросы, лишившие душевного равновесия Шабо и вынудившие его в конце концов на донос со своей стороны.

Донос Шабо и Базира укрепил членов правительственных Комитетов в сложившихся у них представлениях. Заявление Фабра блестяще подтверждалось, причем подтверждалось совершенно независимо от Фабра людьми, на которых он указал как на участников заговора. Все это казалось весьма правдоподобным. Позиции Фабра укреплялись. Его пригласили принять участие в разборе дела по доносу Шабо. Удовлетворенный Фабр считал себя в полной безопасности. Он и не подозревал, что в бумагах Делоне, которого должны были арестовать с минуты на минуту, содержался роковой для него документ.

Сделав свое сообщение в Комитете общественной безопасности, Шабо начал лихорадочно разыскивать кого-либо из единомышленников. Он нашел Куртуа, человека близкого к Дантону, и описал ему положение дел. Куртуа тотчас же известил главу фракции, все еще отдыхавшего в Арси-сюр-Об. Дантон понял остроту положения и почувствовал себя под угрозой.

Полный страха и сомнений, он оставил свое мирное убежище и вечером 30 брюмера (20 ноября) был в Париже, готовый ринуться в бой.

Комитет между тем принял решение арестовать и доносчиков и обвиненных доносом. Шабо, не зная о более раннем заявлении Фабра, полагал, что его арестуют только для виду. Он просил, чтобы жандармы посетили его и Базира в восемь часов вечера у него на квартире, указывая, что в этот час там соберутся все заговорщики. Однако по непонятным причинам Комитет арестовал доносителей в восемь часов утра, что дало возможность главным обвиняемым Батцу и Жюльену заблаговременно скрыться. Батц исчез, как обычно растворившись в воздухе. Жюльен некоторое время скрывался у друга Дантона, Делакруа, а затем бежал из Парижа. Но Делоне, к вели-

кому несчастью Фабра д'Эглантина, был все же арестован. Его бумаги опечатали. Специальная комиссия, выделенная Комитетами во главе с Амаром, приступила к расследованию. Расследование тянулось медленно и проходило втайне.

Тень иностранного заговора упала на Конвент и правительственные учреждения. Еще ничего не было известно в точности, но уже ползли слухи. Шли многочисленные аресты. Фракции и их вожди готовились к смертельной борьбе. Робеспьер с тревогой следил за курсом корабля революции.

Его крайне смутило все то, что произошло за последние два месяца. Правда, он догадывался о существовании заговоров уже накануне доноса Фабра, он ясно говорил об этом 19 вандемьера (10 октября), ставя под подозрение всех иностранных дельцов и призывая к усилению бдительности. Но его поражало, что с иностранцами оказались связаны люди, которых он долгое время считал товарищами в борьбе. Он не вполне верил этому. Он не хотел смешивать борьбы идей с диверсиями и шпионажем. Он все еще продолжал тушить внутреннюю фракционную борьбу, чтобы не дать разгореться огню, который мог пожрать все дело революции.

Глава 4

Суд якобинцев

Было самое начало зимы, страшной голодной зимы второго года республики. Клуб якобинцев переживал бурные дни. Шла чистка. Рядовые члены обсуждали взгляды и поступки прославленных лидеров. Это было страшно. Прошлые заслуги не спасали от остракизма тех, кто казался недостаточно преданным революции сегодня. А быть изгнанным из клуба сегодня значило оказаться на прямой дороге к гильотине.

13 фримера (3 декабря) пришла очередь Дантона. Положение его было не из приятных. Обвинения сыпались отовсюду. Трибуна винили в равнодушии, в том, что он требовал отказа от суровых мер, а сам топтался на месте. Не преминули вспомнить и о его состоянии, выросшем как на дрожжах за годы революции.

Циклоп встал. Крупные капли пота дрожали на его огромном выпуклом лбу. В его голосе не чувствовалось обычной силы, а аргументам не хватало весомости. Да и что мог он ответить? Апеллировать к прошлому? Уверять в своем бескорыстии?

Защита никого не убедила. Шум усиливался.

Но вот на ораторскую трибуну порывисто поднялся Робеспьер. Его голос непривычно взволнован. Он требует, чтобы обвинители Дантона точно изложили свои жалобы. На это никто не решается. Зал молчит.

— В таком случае это сделаю я, — говорит Неподкупный.

Он обращается к обвиняемому:

— Дантон, разве ты не знаешь, что чем больше у человека мужества и патриотизма, тем больше враги общественного дела домогаются его гибели? Разве ты не знаешь, да и все вы, граждане, разве не знаете, что это обычный путь клеветы? А кто клеветники? Люди, которые кажутся совершенно свободными от порока, но в действительности не проявившие и никакой добродетели...

Дантон вытирает пот с лица. Он поражен. Оратор, кажется, собирается не обвинять, а защищать его? Защиты с этой стороны, да к тому же такой энергичной, он никак не ожидал. Всем известно, что между двумя вождями пробежала черная кошка, что они уже давно говорят на разных языках. И вдруг... Дантон удивленно смотрит на Робеспьера. Но Максимилиан не видит его: он обращается к Дантону, а взор его уходит куда-то в сторону, словно избегая запавших глазок титана. Он продолжает с нарастающей горячностью:

— Я наблюдал его в политике; ввиду некоторой разницы между нашими воззрениями я тщательно следил за ним, иногда даже с гневом, и если он не всегда разделял мое мнение, то неужели я заключу из этого, что он предавал родину? Нет, я всегда видел, что он усердно служил ей. Дантон хочет, чтобы его судили, и он прав, пусть судят также и меня. Пусть выйдут вперед те люди, которые в большей степени патриоты, чем мы!

Вперед, разумеется, никто не вышел. Репутация Дантона была спасена. Вопрос об его исключении из клуба оказался снятым — моральный авторитет Неподкупного был превыше всего. Но кое-кто недоумевал: зачем, зачем так поступил вождь якобинцев? Кого он ставил на одну доску с собой?

Поздно вечером возвращался Максимилиан из клуба. На лице его отражалась напряженная борьба. То ли он сделал, что нужно? Не было ли это насилием над собой? Не шло ли вразрез с его взглядами? Нет, иначе поступить было нельзя. Он давно уже не верил Дантону, он знал, что их разделяет все увеличивающаяся пропасть, но он должен был вступиться за

него, ибо лучше Дантон, чем многие другие. Дантон не враг революции. Надо спасать Дантона, чтобы не дать восторжествовать Эберу.

Итак, он начинал лавировать. Он, Неподкупный, Непоколебимый... Будущее представлялось темным. Но правильный путь нужно было найти во что бы то ни стало. Иначе — погибло все...

Клуб якобинцев теперь играл все большую роль. Его трибуна не только дополняла трибуну Конвента, он определял общую линию деятельности Собрания и его членов. Суд якобинцев был высшей моральной инстанцией, которая создавала репутацию народному представителю, чиновнику, любому гражданину республики.

Вскоре после Дантона очистительный искус пришлось проходить и его ближайшему другу — Камиллу Демулену. 24 фримера (14 декабря) он, бледный и взволнованный, предстал перед якобинским судилищем. Его обвиняли в связях с подозрительными людьми и в сочувствии жирондистам; не он ли, написавший некогда «Разоблаченного Бриссо», плакал и изрекал недостойные реплики в день осуждения вожаков Жиронды? Камилл защищался плохо. Он упрямо отрицал то, что было всем известно. Якобинцы переглядывались и пожимали плечами. Положение журналиста казалось предрешенным. Но Робеспьер, спасший Дантона, мог ли допустить падение Камилла?

И вот он опять овладевает трибуной и вниманием слушателей. Он берет Демулена под свое покровительство. Да, он его знает, знает слишком хорошо. Впрочем, кто же не знает Камилла? Он слаб, доверчив, часто мужествен и всегда республиканец. У него верный революционный инстинкт. Он любит свободу интуицией, мыслью, он ничего и никогда не любил больше, несмотря на все житейские соблазны. Это главное. Что же касается ошибок, то они есть, не заметить их нельзя. Камиллу нужно серьезно поостеречься в будущем. Ему следует опасаться неустойчивости своего ума и чрезмерной поспешности в суждениях о людях.

Слово Робеспьера, простое, задушевное, было встречено аплодисментами. Камилл был спасен.

Но, как известно, наука никогда не идет впрок тому, кто не хочет учиться. Вместо того чтобы одуматься, Демулен взбеленился. Как, его осмеливаются судить, его хотят учить? Ну что ж, он им покажет! Злорадные друзья, привыкшие прятать-

ся за других, шпигуют нервного журналиста. И он бросается в бой очертя голову.

Незадолго перед этим Демулен начал выпускать газету «Старый кордельер». Название не было случайным. Старого кордельера, кордельера времен господства в клубе Дантона и его друзей, журналист как бы противопоставлял новому кордельеру, то есть нынешнему дню клуба, когда в нем главную роль играли эбертисты. Первые два номера газеты, увидевшие свет до 24 фримера, славословили Робеспьера, защитившего Дантона, и осыпали бранью сторонников Эбера. Но третий номер «Старого кордельера», вышедший после «судного дня» Камилла, заставлял насторожиться.

В этом номере Демулен дал подборку и перевод ряда отрывков из «Анналов» Тацита. Журналист, разумеется, делал это не из любви к истории. Каждая фраза, заимствованная из Тацита, содержала злобный намек на современность.

Кому предназначался этот коварный удар? Эбертистам? Нет. Демулен бил по Революционному трибуналу, по революционному правительству, то есть по Неподкупному и его соратникам. Ниже, оставив в покое Тацита, Демулен прямо обвинял и клеймил весь революционный строй, Конвент, его Комитеты, народные общества.

Хотя, желая несколько сгладить впечатление, журналист в конце статьи и заявлял, что все его намеки относились бы к Франции, если бы в ней была реставрирована королевская власть, хотя он и говорил, что «...доводить революцию до крайности все же менее опасно, чем быть к ней безразличным», все эти оговорки ни в коей мере не снимали того, ради чего статья была написана.

Этот номер мог стать отравленным оружием в руках врагов революции. И правда, роялисты, расхватывая газету, открыто проявляли свое удовлетворение.

Робеспьер почувствовал всю силу удара, и горечь наполнила его сердце. Вот как! Революционный режим осуждался одним из тех, кто некогда ратовал за его создание! Террор клеймил тот, кто некогда призывал народ превращать фонари в виселицы! Какая радость для аристократов, какая скорбь для истинных революционеров!

Вылазка Камилла была лишь одной из составных частей массированного удара, намечавшегося «снисходительными». Параллельный выпад было решено нанести в Конвенте. Почти одновременно с выходом третьего номера «Старого кордельера»

группа дантонистов во главе с Фабром д'Эглантином и Бурдоном стала подкапываться под Комитет общественного спасения. Член Конвента, дантонист Филиппо, вернувшийся из служебной поездки по Вандее, кричал на всех перекрестках о предательстве, понося эбертиста Ронсена и революционного генерала Россиньоля. Клевеща на Россиньоля, Филиппо нападал и на Комитет, обвиняя его в покровительстве мнимому изменнику.

Фабр, выступая в Конвенте, упрекал Комитет в нерадении, в том, что он не пресекал «беспорядков», царивших якобы в Париже, не обуздывал своих агентов и других лиц, виновных в «дезорганизации». Бурдон предлагал упразднить министров, стремясь свести счеты с ненавистным военным министром — левым якобинцем Бушотом — и одновременно рассчитывая раздавить Комитет грузом возложенного на него дополнительного бремени. Указывая, что срок полномочий Комитета общественного спасения формально истекает 20 фримера (10 декабря), Бурдон и другие дантонисты требовали, чтобы правящий состав Комитета был обновлен. Победа казалась близкой. Уже составили список нового Комитета, уже отредактировали текст соответствующего декрета. Однако 13 декабря большинство Конвента высказалось против обновления Комитета в столь критическое для республики время. Полномочия робеспьеровского Комитета были продлены.

Потерпев неудачу в попытке сокрушить Комитет, «снисходительные» с тем большим рвением стали бить по подвластным ему лицам. Здесь их старания увенчались успехом. Продолжая пугать Конвент призраком «беспорядков», они добились ареста Ронсена, Венсана и трех других правительственных агентов. Случай беспрецедентный: терроризованный Конвент наносил удар высшим уполномоченным революционной власти без всякого расследования, даже не спрашивая мнения ответственных Комитетов.

В то время еще не было известно, что за спиной Демулена, Филиппо, Бурдона и других скрывался человек, который молчал и ждал. Этот человек еще в начале зимы составил план, а остальные лишь занимались реализацией его по частям. Сущность плана была змеиной. Начать с организации раздоров в Комитетах. Затем обезвредить Робеспьера. При нейтрализации Робеспьера разделить Комитеты, произвести их переизбрание, прибегнув в случае нужды к насилию. Наконец, добившись своего преобладания, заключить хотя бы ценою компромисса мир с внешним врагом, открыть тюрьмы, вернуть бога-

чам их влияние, пересмотреть конституцию и установить «добропорядочный» буржуазный строй.

Глашатаем этого плана, открывавшим его постепенно перед широкой публикой, оказался Камилл Демулен. Его автором был Жорж Жак Дантон.

Положение Робеспьера становилось все более затруднительным. Он протягивал руку вчерашним друзьям и попадал в объятия врагов. Чем более он склонялся к уступкам, желая мира и согласия, тем сильнее наглели «снисходительные». И вот, продолжая идти по наклонной плоскости умиротворения, Максимилиан совершает еще один тактический промах, который, однако, в дальнейшем призван раскрыть ему глаза. Желая успокоить «снисходительных» и лишить оснований их упреки, он предлагает организовать Комитет справедливости — особую комиссию, которой надлежало бы собирать сведения о несправедливо арестованных лицах и представлять результаты ее обследования правительству. Это предложение ослабляло террор в то время, когда тот был жизненно необходим. Оно могло стать новым источником силы для контрреволюционеров и их подголосков. Левые якобинцы и эбертисты единодушно выступили против предложения Робеспьера. Однако Конвент одобрил и принял его.

Слабость — действительная или кажущаяся — всегда вызывает новые атаки нападающей стороны. Демулен и его друзья потирали руки. Неподкупный капитулирует! Надо его добивать, добивать как можно скорее! Он предлагает Комитет справедливости — потребует полного прекращения террора и открытия тюрем! Демулен, всегда готовый к услугам своей фракции, снова берется за перо.

На этот раз он совершенно теряет чувство меры.

В № 4 «Старого кордельера» Камилл прямо говорит о том, что революцию следует кончить, причем кончить немедленно. Это требование звучит на каждой странице, в каждой строке номера. Теперь, по мысли Демулена, республике ничто более не угрожает. Против кого приходится бороться, спрашивает он, против трусов и больных? Против женщин, стариков и худосочных? Камилл нигде не видит заговорщиков. На его взгляд, «толпа фельянов, рантье и лавочников», заключенных в тюрьмы во время борьбы между монархией и республикой, походит на римский народ, безразличие которого во время борьбы между Веспасианом и Вителлием описано Тацитом. Но Вес-

пасиан, став победителем, отнюдь не приказывал рассадить эту толпу по тюрьмам! И заключение: «...Вы хотите, чтобы я признал свободу и упал к ее ногам? Так откройте тюремные двери тем сотням граждан, которых вы называете подозрительными...» Воздавая хвалу Робеспьеру и его предложению, Демулен считает, однако, необходимым Комитет справедливости заменить Комитетом милосердия.

Горячий Колло д'Эрбуа мчался из Лиона в Париж, загоняя лошадей. Время было дорого. «Снисходительные» там, в столице, явно одолевали эбертистов. Надо было выручать своих, а заодно и себя самого. Ведь ни для кого не было тайной, что он, Колло, карая вместе с Фуше мятежных лионцев, применял массовые расстрелы картечью. В свете последних событий такие действия можно было квалифицировать как преступление! Уж если осмелились арестовать Ронсена и Венсана, значит дело зашло далеко. Симптоматично и то, что Робеспьер не ответил ни на одно из его писем. Значит, Неподкупный недоволен! Уж не спелся ли он полностью с «усыпителями»?

1 нивоза (21 декабря) Колло был в столице.

— Явился великан! — радостно возвестил Эбер.

Твердой походкой шел Колло по улицам Парижа в сопровождении своей свиты. Он был готов к самым решительным действиям. Чтобы поразить воображение парижан, он захватил с собой голову лионского патриота Шалье, замученного мятежниками-жирондистами. Эту священную реликвию он передал в дар Коммуне. Толпы патриотов сопровождали Колло от площади Бастилии до Конвента. В Конвенте он первым взял слово. Он говорил сильно, смело, ничего не скрывая и вместе с тем показывая необходимость и неизбежность проводимых им репрессивных мер. Никто не осмелился ему возражать. Конвент одобрил его доклад.

Не теряя времени, в тот же день Колло выступал с трибуны Якобинского клуба. Его встретили горячими аплодисментами.

— Сегодня я не узнаю общественного мнения, — сказал Колло. — Если бы я приехал тремя днями позже, меня, может быть, привлекли бы к суду...

Оратор поручился за патриотизм Ронсена и закончил резким осуждением дантонистов.

Мужество заразительно. Эбертисты, которые в течение целого месяца терпеливо сносили брань и угрозы, теперь перешли в контрнаступление. После Колло слово взял Эбер. Он обру-

шился на Демулена, Филиппо, Фабра, назвал их заговорщиками, потребовал, чтобы они были исключены из клуба.

Дантонистский натиск вновь сменялся эбертистским.

Внезапная победа эбертистов в Якобинском клубе не была чудом. Не являлась она и исключительно результатом энергии Колло д'Эрбуа. Колло не мог бы добиться успеха, не заручившись поддержкой правительства. За действиями и речами Колло была видна тень Робеспьера. Неподкупный уже составил мнение. Он отступался от «снисходительных». Он был готов пойти на временное соглашение с «крайними». Пусть якобинцы судят друзей Дантона! Моральное осуждение будет лишь началом более серьезного дела.

Допросы арестованных депутатов, бумаги, обнаруженные в их досье, — все это давало Комитетам новые материалы, туже затягивавшие петлю на шее заговорщиков. Так, в бумагах Делоне был найден оригинал подложного декрета о ликвидации Ост-Индской компании. Внимательно изучив этот документ, Амар и Жаго, возглавлявшие расследование, убедились, что он содержит следы руки Фабра д'Эглантина, причем именно рукой Фабра были сделаны все выгодные для мошенников поправки. Робеспьер понял, что ловкий плут, одурачивший его, был еще более виновен, чем те, на кого он донес.

Да, теперь Неподкупный уже более не сомневался. Он уловил общие контуры заговора и видел главарей, связанных с ним. И он решил — впервые после начала борьбы — серьезно предостеречь их...

5 нивоза (25 декабря) он произнес в Конвенте речь, заставившую обе фракции прервать потасовку и внимательно прислушаться.

Робеспьер говорил о принципах революционного правительства.

Из основного различия между конституционным и революционным строем, различия между состоянием войны и состоянием мира он с большим искусством вывел оправдание террора. Доклад Робеспьера был прямым ответом «Старому кордельеру», облеченным в ту логическую форму, которой всегда недоставало творениям Демулена. Вместе с тем, подчеркивая серьезность переживаемых событий и несокрушимость идеи общественного интереса, доклад глухо предостерегал обе фракции как фракции, представляющие противоположные крайности:

«...модерантизм, который относится к умеренности так же, как бессилие к целомудрию, и стремление к эксцессам, которое похоже на энергию так же, как тучность больного водянкой — на здоровье».

На следующий день Неподкупный отказался от идеи Комитета справедливости. На заседании Конвента 6 нивоза (26 декабря) по докладам Барера и Билло-Варена была принята резолюция об отмене этого Комитета. Одновременно изобличенный Фабр д'Эглантин был устранен от участия в работе комиссии по делу Шабо и других заговорщиков.

День сменял день. Республиканский календарь не мог убить новогодних настроений: декабрь 1793 года был на исходе. Почти на две недели притихли борющиеся стороны перед новой решительной схваткой. Но вот 18 нивоза (7 января) якобинское судилище возобновило свою сессию. Были вызваны Бурдон, Фабр, Демулен и Филиппо, вызов был повторен троекратно, но не имел ответа. Обвиняемые отсутствовали.

— Так как лица, начавшие эту борьбу, избегают боя, — сказал Робеспьер, — пусть клуб отдаст их на суд общественного мнения, которое и вынесет им приговор.

Вдруг на трибуне появился Камилл. Он был взволнован до последней степени и говорил дрожащим голосом.

— Послушайте! — воскликнул он. — Признаюсь вам, я просто не знаю, что со мной. Со всех сторон меня обвиняют, на меня клевещут. Относительно Филиппо, сознаюсь вам откровенно, что я от чистого сердца поверил тому, что у него сохранилось в памяти... Чему же верить? На чем остановиться? Я просто теряю голову...

Однако вслед за этим сбивчивым лепетом Камилл добавил, что на страницах своей газеты он дает ответ на любое обвинение.

Снова поднялся Робеспьер. Он решил строго пожурить своего школьного товарища, но все же еще раз выручить его. Подтрунив над его чрезмерным преклонением перед Филиппо и перейдя затем к вопросу о «Старом кордельере», Максимилиан резюмировал свои выводы в нескольких фразах:

— Демулен не заслужил той строгости, которую требуют проявить по отношению к нему некоторые лица; я даже склонен думать, что для свободы невыгодно наказывать его так же строго, как и серьезных преступников... Я согласен, чтобы свобода обращалась с Камиллом Демуленом как с ветреным ребенком, который обладает хорошими наклонностями, но вовле-

чен в заблуждение дурными товарищами. От него надо потребовать, чтобы он доказал свое раскаяние, покинув товарищей, которые совратили его с истинного пути... Надо поступить строго с его газетой, которой сам Бриссо не осмелился бы одобрить, а его самого сохранить в нашей среде... Я кончаю требованием, чтобы номера его газеты подверглись с нашей стороны такому же отношению, как те аристократы, которые их покупают; пусть им будет выражено презрение, заслуженное той хулой, которая в них содержится; я предлагаю обществу сжечь их посреди зала.

Речь Робеспьера, прерываемая несколько раз взрывами смеха, была встречена общим одобрением.

Но «виновник торжества» не пожелал ухватиться за брошенный ему якорь спасения. Оскорбленный предложением Робеспьера, он ответил не без горечи:

— Робеспьер хотел выразить мне дружеское порицание; я тоже готов ответить языком дружбы. Робеспьер сказал, что нужно сжечь номера моей газеты. Отлично сказано! Но я отвечу словами Руссо: «Сжечь — не значит ответить!»

Такой ответ до глубины души возмущает Максимилиана. Взбалмошный мальчишка ничего не хочет понимать и впивается зубами в протянутую руку! Хорошо, пусть же пеняет на себя.

— Если так, — парирует Робеспьер, — то я беру обратно мое предложение. Знай, Камилл, что не будь ты Камиллом, я не отнесся бы к тебе с такой снисходительностью. Хорошо, я не буду требовать сожжения номеров газеты Демулена, но тогда пусть он ответит за них. Пусть он будет покрыт позором, раз хочет этого!.. Быть может, он вовсе не является просто впавшим в заблуждение; если б его намерения были чисты, если б он написал эти статьи по простоте сердечной, то он не мог бы так долго защищать их, раз они осуждаются патриотами и раскупаются контрреволюционерами. Его храбрость показывает нам, что Демулен является орудием преступной клики, которая воспользовалась его пером для того, чтобы распространить свой яд. Я бы не стал высказывать все эти истины, если б Демулен не проявил такого упорства, но теперь необходимо призвать его к порядку. Итак, я требую, чтобы номера газеты Камилла Демулена были оглашены с трибуны этого общества.

Камилл, только что было окрылившийся, опять не на шутку струхнул.

— Но, Робеспьер, я тебя не понимаю, — быстро затараторил он, — как можешь ты говорить, что мою газету читают

одни аристократы? «Старого кордельера» читали Конвент, Гора. Значит, Конвент и Гора состоят из одних аристократов? Ты меня здесь осуждаешь, но разве я не был у тебя? Не прочитывал ли я тебе мои номера, умоляя во имя дружбы помочь мне советами и наметить мне путь, по которому идти?

— Ты показывал мне не все номера, — холодно ответил Максимилиан. — Я видел всего один или два. Так как я не охотник до ссор, то не захотел читать следующих выпусков: стали бы говорить, что составлял их я.

На это Демулену возразить было нечего, и он промолчал. Встрепенулся Дантон. Надо было как-то спасать положение. Обращаясь к Камиллу, Робеспьеру и другим присутствующим, Дантон сказал:

— Камиллу не следует пугаться нескольких строгих уроков, которые только что по дружбе дал ему Робеспьер. Граждане, пусть вашими решениями всегда руководят справедливость и хладнокровие. Судя Камилла, поступайте осторожно, чтобы не нанести гибельного удара свободе печати.

После этого приступили к чтению № 4 «Старого кордельера».

Ночь между 18 и 19 нивоза Робеспьер провел, не смыкая глаз. Он подводил итоги. На следующий день он решил познакомить якобинцев с существом заговора. Пора сорвать маски! Достаточно бродить вокруг да около! Пусть знают якобинцы, с чем и с кем им надо бороться. Завтра он изобличит Фабра. А Дантона? Нет, с этим следует еще подождать... Его час не пробил. Пускай вокруг него образуется пустота, и тогда он будет бессилен.

На следующий день состоялось чтение 3-го номера «Старого кордельера». Слово взял Робеспьер.

— Бесполезно читать дальше, — сказал он. — Мнение о Камилле Демулене должно быть уже составлено всеми. Вы видите, что в его работах смешаны самые революционные принципы с самым гибельным соглашательством... Демулен дает в своей газете странную смесь истины и обмана, политической мудрости и явных абсурдов, здравых убеждений и присущих ему одному химер. Поэтому важно не то, исключат якобинцы Камилла или оставят в своей среде: ведь здесь вопрос идет только об одном человеке; гораздо важнее добиться торжества свободы и выяснения истины. Во всем этом споре боль-

ше внимания обращалось на отдельных лиц, чем на интересы всего общества. Я не хочу ни с кем ссориться. На мой взгляд, и Эбер и Камиллл одинаково не правы...

Робеспьер умолкает и некоторое время стоит неподвижно, закрыв глаза. Затем продолжает тихим, спокойным голосом, заставляющим оцепенеть многих из присутствующих:

— Самое страшное состоит в том, что во всех ведущихся сейчас спорах совершенно отчетливо вырисовывается рука, тянущаяся из-за рубежа... Иноземная клика вдохновляет две группировки, которые делают вид, что ведут между собою борьбу... У этих двух партий достаточно главарей, и под их знаменами объединяется много честных людей, присоединяющихся к той или другой партии в зависимости от разницы в их характере.

Пока Робеспьер говорит, кое-кто начинает нервничать. Фабр д'Эглантин встает со своего места. Робеспьер, заметив его движение, предлагает обществу просить Фабра остаться. Тогда Фабр направляется к трибуне.

Видя это, Робеспьер заявляет с высокомерным видом:

— Хотя Фабр д'Эглантин и приготовил уже свою речь, моя еще не кончена. Я прошу его подождать... — И он продолжает пространно описывать обе намеченные им группировки заговорщиков.

— Поборники истины, — заканчивает оратор, — наш долг — раскрыть народу происки всех этих интриганов и указать ему на жуликов, которые пытаются его обмануть. Я заявляю истинным монтаньярам, что победа у них в руках и что нужно раздавить лишь нескольких змей. Будем думать не об отдельных лицах, а о всей родине!

Оратор на секунду замолкает и вдруг делает такой выпад, которого от него не ожидал ни один из присутствующих.

— Я призываю общество обсуждать только главный вопрос о заговоре и не спорить больше о газете Камилла Демулена. — Робеспьер пристально смотрит на ерзающего в ожидании своей очереди Фабра. — А теперь пусть этот человек, который всегда стоит с лорнеткой в руках и который так хорошо умеет представлять интриганов на сцене, даст свои объяснения; посмотрим, сумеет ли он выпутаться из этой истории.

Удар был неожиданным и молниеносным. Фабр сначала попятился назад, затем, вдруг потеряв обычную самоуверенность, почти ощупью поплелся к трибуне.

— Я понял из речи Робеспьера, — промямлил Фабр, — только то, что существует партия, разделенная на две части:

ультрареволюционеры и умеренные. Я готов ответить на все, когда он уточнит свои обвинения: я буду хранить молчание до тех пор, пока не узнаю, что должен объяснять...

Он продолжает что-то сбивчиво бормотать. Но его не слушают. Раздается отчетливый выкрик: «На гильотину!» Вслед за Робеспьером якобинцы покидают клуб, и оратор вскоре остается один в опустевшем зале.

24 нивоза (13 января) член Конвента, драматург и изобретатель республиканского календаря, Фабр д'Эглантин был арестован органами Комитета общественной безопасности и препровожден в Люксембургскую тюрьму. Паника охватила «снисходительных». Когда на следующий день Дантон выступил было в защиту своего друга, Билло-Варен сурово прервал его словами:

— Горе тому, кто сидел рядом с Фабром!

Эбертисты торжествовали. Но торжество их было преждевременным. Незримая цепь крепко приковывала их к «снисходительным». Это была цепь иностранного заговора, в наличии которого теперь Робеспьер не сомневался. Оба конца этой цепи одинаково влекли свои жертвы на гильотину. Суд якобинцев, как и предвидел Робеспьер, был лишь прелюдией к другому суду — Революционному трибуналу.

Глава 5

Разгром

17 плювиоза (5 февраля) Максимилиан Робеспьер выступил в Конвенте с большой речью. Эта речь обобщала опыт последних месяцев революции и должна была определить направление дальнейшего пути. Речь была посвящена принципам государственной морали.

— Пора ясно наметить цель нашей революции, — говорил Робеспьер, — и установить предел, которого мы должны достигнуть.

В чем заключается цель, к которой мы стремимся? Это мирное наслаждение свободой и равенством.

Пусть Франция, бывшая некогда великой державой среди стран порабощенных, затмит славу всех когда-либо существовавших свободных народов и станет примером для наций, угрозой для тиранов, утешением угнетенных и украшением всей

вселенной. Скрепив нашу работу своей собственной кровью, мы увидим, быть может, первый проблеск зари всемирного счастья... Вот наши стремления, вот наша цель...

Но чтобы цель оказалась достижимой, необходима добродетель. Что же такое добродетель? Это любовь к родине и ее законам, забота о равенстве и укреплении республики. Добродетель предполагает высокий уровень общественной морали: все безнравственное является политически непригодным, а следовательно, контрреволюционным.

Подчеркивая, что добродетель должна существовать и в народе и в правительстве, Робеспьер выводит отсюда, что последнее обязано с доверием относиться к народу и быть строгим к самому себе.

Но в современных условиях добродетель неотделима от террора.

— Если в мирное время опорой народного представительства является добродетель, то во время революции его опорой являются и добродетель и террор: добродетель — ибо без нее террор может стать гибельным; террор — ибо без него добродетель бессильна. Террор — это не что иное, как быстрая, строгая и непоколебимая справедливость; следовательно, он проявление той же добродетели; он является не каким-то особым принципом, а скорее выводом из основного принципа демократии, применяемого родиной в крайней нужде.

С железной логикой Робеспьер отвечает тем, кто нападает на террор, кто считает его несовместимым с идеей свободы, кто требует милосердия.

И вот он подходит к главному. Он развивает более пространно тот тезис, который впервые выдвинул в Якобинском клубе 19 нивоза.

— Внутренние враги народа разделились на две партии и стали как бы двумя отрядами одной и той же армии. Они движутся разными дорогами и несут различные знамена, но цель их — одна и та же. Эта цель заключается в разрушении народного правительства, в уничтожении Конвента и, следовательно, в торжестве тирании. Одна из этих клик толкает нас к слабостям, другая — ко всяким крайностям; одна хочет превратить свободу в вакханку, другая — в проститутку.

...Какая же разница между крайними и теми, кого вы называете умеренными? Это все слуги одного заговора, которые делают вид, что поссорились между собою для того, чтобы лучше скрыть от вас свои преступления. Судите их не по разнице в их речах, а по тождеству их целей...

Эта речь подводила черту. Она не оставляла сомнений в том, что решение принято. Заговор очевиден, заговорщики ясны, лица не названы, но уже обречены. Кто не следует добродетели, чьи поступки и мысли аморальны, тот должен пасть. Революция может выполнить свои задачи, только сокрушив тех, кто безнравствен; слабым и развращенным не место в будущем царстве свободы и равенства.

Страшная сила этой речи, как и особенность всего мышления Робеспьера, состояла в том, что из положений, на первый взгляд абстрактных, он делал строго практические выводы. Туманная формула «добродетель» в его устах превращалась в совершенно отчетливое, конкретное понятие, из которого следовали не менее конкретные заключения. Теперь и те, кто требовал отмены террора, и те, кто хотел все жизненные трудности разрешить исключительно посредством «святой гильотины», в одинаковой мере знали, что их ожидает. Пока Робеспьер не был уверен, пока он не составлял для себя вполне ясной картины, он мог колебаться и сомневаться. Когда же он с ф о р м у л и р о в а л то, что тревожило его душу, когда его сомнения вылились в четкие понятия и определения, все было кончено. Теперь обреченные, пусть они даже были друзьями в прошлом, не могли рассчитывать на его жалость. Принципы были для Неподкупного выше личностей, личности имели цену и право на жизнь только в том случае, если отвечали принципам.

Правительственные Комитеты действовали с энергией и решительностью. Новые заговорщики присоединялись к своим ранее арестованным единомышленникам. Иностранные банкиры, их агенты, их покровители, сколь бы ни было высоким их положение, шли одним проторенным путем. Были арестованы вторично Проли и Дефье. К ним присоединился их соумышленник Перейра. Позднее был арестован Эро де Сешель. Космополит Клоотс, которого Робеспьер громил в начале декабря, был последовательно исключен из Якобинского клуба, выведен из состава Конвента, а затем также подвергся аресту. Доносчик Шабо, заключенный в одиночной камере Люксембургской тюрьмы, с тревогой и отчаянием следил за этими событиями. Он засыпал Робеспьера письмами, которые посылал то ежедневно, а то и по два раза в день, напоминая, что его, как выдавшего заговор, обещали пощадить. Он клялся в любви и преданности революции, проклинал обманувших его иностранцев и коллег, выражал готовность развестись с женою, умоляя Робеспьера о том, чтобы тот взял его под свою защиту и не дал

ему погибнуть. Письма разоблаченного афериста оставались без ответа. Для Неподкупного Шабо и другие лица, арестованные в течение последних месяцев, больше не существовали. Он был занят другим.

Неподкупный и его единомышленники хорошо знали, что народ, поставивший их у власти, станет поддерживать их лишь в том случае, если они, со своей стороны, будут выполнять программу самых различных слоев этого народа. Между тем беднота города и деревни пока получила от революции очень мало. Не потому ли эбертисты, отражавшие в какой-то мере настроения этой бедноты, пользовались популярностью, несмотря на демагогический характер своей программы? Для того чтобы выбить почву из-под ног Эбера и его друзей, для того чтобы показать всему народу, что революционное правительство идет правильным путем, нужно было не только сокрушить «снисходительных» и обезглавить иностранцев, нужно было в первую очередь дать обездоленному санкюлоту хлеб и землю. Тогда народ, включая беднейшие прослойки, сам увидит, кто его друзья и кто враги. Робеспьер, Сен-Жюст, Кутон, став еще в сентябре 1793 года на путь, предложенный левыми якобинцами, готовились следовать дальше этим путем.

В результате появились вантозские декреты.

8 вантоза (26 февраля) на трибуну Конвента поднялся Сен-Жюст. Он говорил от имени Комитета общественного спасения. Его речь, посвященная дальнейшему укреплению революционной диктатуры и сокрушению всех ее врагов, во многом напоминала речь Робеспьера от 17 плювиоза: обе они были вдохновлены одинаковыми мыслями и настроениями. Но, разгромив «снисходительных» и «ультрареволюционеров», Сен-Жюст пошел дальше, чем Робеспьер. Он наметил конкретную программу развития и углубления революции. Правительственным Комитетам предлагалось рассмотреть дела всех политических заключенных, арестованных после 1 мая 1789 года, и выяснить, кто из них может быть освобожден, а кто должен быть признан врагом революции. Всю собственность лиц последней категории следовало немедленно конфисковать. Эта собственность подлежала безвозмездной передаче в руки неимущих патриотов соответственно списку, составленному Комитетом общественного спасения. Таким образом, насущные нужды беднейших слоев декреты предполагали быстро удовлетворить за счет имущества врагов народа.

Массы санкюлотов встретили новые законы с радостью. Торжествовали и левые якобинцы, программу которых осуществлял Сен-Жюст.

Иначе восприняли вантозские декреты эбертисты. Эбер и его друзья не скрывали своего раздражения. Декреты, склонявшие симпатии бедноты на сторону Робеспьера и Сен-Жюста, были для них ножом, приставленным к горлу: ведь только на эти симпатии они и рассчитывали, ведя борьбу против революционного правительства! Теперь почва, казалось, уходила из-под их ног. Надо было отвечать, и отвечать немедленно!

В те дни, когда Сен-Жюст с трибуны Конвента провозглашал расширение революции, а эбертисты накапливали силы для реванша, и Робеспьер и Кутон оказались временно выбитыми из седла: оба были больны.

Максимилиан лежал на своей спартанской постели и смотрел в окно. Его мучил жар. Болезнь подкралась неожиданно, как раз в тот момент, когда его присутствие и в Конвенте и в клубе было необходимым. Ну, не насмешка ли это судьбы? Он лежит здесь беспомощный и полуживой, его поят лекарством и обкладывают компрессами, а там, быть может, решается судьба дела всей его жизни. Заговорщики уже окружены, но не прорвут ли они опоясавшую их цепь? Справится ли Сен-Жюст один на один с врагом, сумеет ли выдержать напор до прихода подкрепления? Для Робеспьера не было тайной, что оппозиция существует и в правительстве. Оппозиция пока, правда, глухая. Но кому известно, что будет завтра? Жирондисты когда-то обвиняли его в стремлении к тирании; не называют ли его сейчас за глаза тираном?

Да... Время прошло, но злоба сохранилась. Она спряталась, ее окутало лицемерие, но она не стала от этого меньшей. Неподкупный вспоминает, как некогда, в ранней юности, сколько претерпел он, начинающий адвокат, от недоброжелательства своих старших коллег лишь за то, что отличался от них, что его любил народ. Народ!.. Он и сейчас остается единственным его утешением. Один лишь народ не лицемерит, один народ ему верит и его любит. Вот и теперь, сколько простых людей приходит ежедневно справиться о его здоровье, выразить заботу и внимание, пожелать новых сил... Разве можно оставаться равнодушным к этому?..

Взор Максимилиана старается отыскать в голубеющих сумерках там, за окном, шпиль Якобинской церкви. Нет, шпиль

отсюда не виден. О, как бы он хотел знать, что происходит сейчас там, под этим шпилем! Быть может, у якобинцев разыгрывается сражение, битва не на жизнь, а на смерть!..

Жар одолевает больного. Мысли путаются, красные круги вертятся перед глазами, затем вдруг все проваливается в какую-то черную горячую пропасть.

Буря действительно разыгралась, но местом ее оказался не Якобинский клуб, а Клуб кордельеров.

Давно уже не видели в клубе такого стечения народа, как сегодня, 14 вантоза. Казалось, все ждут чего-то необычного. И вожаки эбертистов постарались не обмануть ожиданий рядовых членов.

Началось с оглашения проспекта новой газеты «Друг народа», посвященной памяти Марата. Потом принесли черное покрывало. Для чего оно? Им решили завесить Декларацию прав. Завеса сохранится до тех пор, пока народ не уничтожит клику «снисходительных» и не добьется восстановления своих прав.

На трибуну поднимается Венсан. Он громит «снисходительных». Он устанавливает полное тождество между взглядами их лидеров; он говорит, что их заговор более опасен, чем заговор Бриссо. Только «святая гильотина» может спасти положение и предотвратить гибель свободы!

Затем встает Карье, страшный наместник Нанта. Сверкая глазами, обличает он тех, кто хочет сломать эшафоты только потому, что сам боится на них попасть.

— Восстание, — кричит он, — святое восстание, вот что надо противопоставить злодеям!

Восстание?.. Многие переглядываются. Но против кого же? Против кого восставать, если не против правительства? Значит, оплевывание «снисходительных» не более чем предлог для перехода к атаке против Робеспьера! Эбер, сменивший Карье, спешит рассеять сомнения.

— Самыми опасными, — утверждает он, — являются не воры, а честолюбцы. Чем большей властью они завладевают, тем ненасытнее становятся; они стремятся к единоличному господству!

Намек вполне прозрачный: о ком же может идти речь, кроме Робеспьера? Все более повышая голос, оратор продолжает:

— Я назову вам этих людей, заткнувших рот патриотам в народных обществах...

Однако он никого не называет. Несколько секунд длится тягостное молчание. Ярость борется со страхом. Наконец, овладев собой, он говорит более спокойно, как бы оправдываясь перед присутствующими:

— Вот уже два месяца, как я сдерживаюсь, но больше сердце мое выдержать не может. Я знаю, что они замыслили; но я найду защитников.

— Да, да, — раздается несколько голосов, — мы защитим тебя! Не бойся ничего, отец Дюшен, говори начистоту! Мы сами станем отцами Дюшенами и нанесем удар! Говори, мы тебя поддержим!

Но ни обещания поддержки, ни уверения в преданности не могут заставить эти искривленные, дрожащие уста произнести имя, которое все ждут и боятся услышать. Нет, у него не хватает сил. Он в состоянии выдавить из себя только фразу, смягченную, чуть ли не извиняющую. Он говорит о «...человеке, вероятно впавшем в заблуждение», и смущенно останавливается. Затем уже без всякого подъема, понимая, что отсутствием мужества сам убил вызванный вначале порыв, он напоминает, что этот человек защищал Демулена. Никакой более серьезной вины в своем смятенном уме он отыскать не может.

Но заканчивает Эбер тем же призывом, что и Карье:

...Восстание! Да, именно восстание! Кордельеры первыми подадут сигнал, который должен сразить всех угнетателей!

Речь, как и предыдущие, встречена аплодисментами. Но момент упущен. Энтузиазм угас. Всем ясно, что если он, их вождь, их признанный глава, струхнул и не смог произнести *даже имени*, то на что же надеяться?

Венсан, внимательно наблюдавший за аудиторией, видит вытянутые лица и бегающие глаза. Испугались! Или, быть может, здесь присутствуют шпионы? Чтобы «сорвать маски с интриганов», он совершает обход, требуя предъявления членских билетов. Напрасная мера! Разве не видно и так, что все кончено, еще не начавшись?

Надежды эбертистов на поддержку масс были тщетными. Париж не пошевельнулся. В отчаянии вожаки попытались увлечь Коммуну. Они явились в ратушу с заявлением, что будут держаться наготове и сохранят Декларацию прав завешенною до тех пор, пока не истребят врагов народа. Однако Шомет, выражавший мнение левых якобинцев — членов Коммуны, не только отказался примкнуть к восстанию, но и осудил авантюру эбертистов. Не поддержали их и секции. Все рушилось. Нужно было срочно трубить отбой.

Между тем Комитет общественного спасения готовился нанести заговорщикам смертельный удар. Член Комитета Колло д'Эрбуа был взволнован. Все знали о его приверженности к эбертизму. Но что мог сделать Колло? Один в поле не воин. Выступить заодно с эбертистами — значит погубить себя. Губить себя не хотелось. Что же, не сумели сделать дела как следует, пусть отвечают сами; ему остается только умыть руки. И, судорожно сжимая кулаки, усилием воли сдерживая свой огненный темперамент, Колло сдается. Мало того: он даже согласен во главе депутации якобинцев отправиться в Клуб кордельеров в качестве карателя.

Кордельеры по-братски принимают депутацию. Колло поднимается на трибуну под гром аплодисментов.

— Пусть тот, кто завесил Декларацию прав, — говорит Колло, — укажет нам тирана!

Он объясняет, что настоящее время в корне отлично от дней 31 мая — 2 июня 1793 года. Тогда восстание явилось необходимым потому, что Гора была угнетена; теперь же Конвент в целом отстаивает интересы народа. При этом смуту сеют в то время, когда идет война, когда Питт пророчит французам антиправительственный мятеж!

Трепещущий Эбер пытается доказать, что, говоря о восстании, он-де имел в виду только более тесное единение с монтаньярами, якобинцами и всеми добрыми патриотами. Карье также уверял, что газеты все переврали, что речь шла лишь об *условном* восстании. Кого могли убедить подобные фразы?

Кордельеры отступаются от своих недавних вождей. Под крики «Да здравствует республика!» они обнимают якобинцев. Завесу, закрывавшую Декларацию прав, сдергивают и разрывают на куски; их вручают Колло, который должен показать этот трофей в Якобинском клубе.

Позор унижения не может спасти от гибели. 23 вантоза (13 марта) Сен-Жюст произносит обвинительную речь, каждое слово которой отдает металлом.

— Для захвата виновных уже приняты меры, — кончает оратор. — Они полностью оцеплены.

В ночь с 23 на 24 вантоза Эбер, Ронсен, Венсан, Моморо и другие были арестованы. Карье пока пощадили, пощадили только потому, что разыскания в области его нантских казней должны были возбудить вопрос и о казнях лионских. Это за-

тронуло бы Колло д'Эрбуа, а трогать Колло не хотели: члены Комитета вынуждены были идти на известные взаимные компромиссы.

Максимилиан выздоравливал. Он уже вставал с постели и подолгу сидел за столом, вдыхая через открытое окно свежий весенний воздух. Иногда прогуливался в сопровождении Элеоноры, радуясь веселым солнечным лучам. Приближался месяц жерминаль — время прорастания, время постепенного оживления природы, время соков весны.

Домашние старались оберегать Максимилиана от вторжений извне. Куда там! Разве мог он сейчас оставаться изолированным и спокойным? С Сен-Жюстом он виделся ежедневно. Только теперь он начинал по-настоящему понимать и ценить этого стального человека, путь которого так тесно переплелся с его путем. Сен-Жюст был неутомим и непреклонен. Его мнения совпадали с мнениями Неподкупного.

24 вантоза Робеспьер впервые после болезни посетил Якобинский клуб. Его встретили овацией. Еще очень слабый, он все же взял слово. Что было предметом его забот? Он опасался, как бы, громя эбертистов, не затронули многих слишком пылких, но искренних патриотов.

— Если человек, — сказал он, — всегда поступал мужественно и бескорыстно, я требую убедительных доказательств, чтобы поверить, что он изменник... Было бы величайшею опасностью приплетать патриотов к делу заговорщиков...

Как благородно и мудро это было сказано! Скольких, быть может, бедствий избежали бы силы демократии, если бы Робеспьер позднее вспомнил об этих словах!

1 жерминаля (21 марта) начался процесс эбертистов. Это был типичный политический процесс, перед началом которого и прокурору, и присяжным, и председателю суда все было ясно — от предпосылок до выводов и меры наказания включительно. На скамье подсудимых оказалось всего двадцать человек, в числе которых были Эбер, Ронсен, Венсан, Клоотс и Моморо; к ним присоединили подозрительных иностранцев, фабрикантов и банкиров — Кока, Перейру, Дефье, Проли и связанного с ними писателя Дюбюиссона; кроме того, был привлечен ряд второстепенных и случайных лиц. Чтобы выставить эбертистов в самом неприглядном виде, обвинительный акт был составлен таким образом, что серьезные политические разоблачения в нем перемешивались с обвинениями в мелком

воровстве, житейской нечистоплотности и т. п. Особенно это относилось к Эберу, которого, между прочим, винили в присвоении... рубашек, воротничков и матрацев, которые одна женщина одолжила ему в дни его бедности.

Венсан, Ронсен и Моморо держались гордо и независимо. Эбер был подавлен. Он казался изнуренным и постаревшим. Вот что сообщает агент, собиравший сведения о разговорах среди зрителей, толпившихся в Революционном трибунале.

«...Говорят, что Эбер в своем кресле выражается, подобно членам британского парламента, лишь при помощи «да» и «нет» и что он похож скорее на дурака, чем на умного человека. Контраст между общественным негодованием, ныне его подавляющим, и почти всеобщей любовью, предметом которой он был раньше, стыд оттого, что стал объектом всеобщих насмешек, а также горе от сознания, что гибнет сам, после того как погубил стольких людей — всего этого достаточно, чтобы поразить его чем-то вроде глупости...»

Действительно, общественное мнение было целиком против заговорщиков. Толпа, осаждавшая трибунал в течение трех дней процесса, бурно приветствовала решение присяжных и вынесение смертного приговора почти всем обвиняемым.

Казнь состоялась 4 жерминаля (24 марта) на площади Революции. Улицы, по которым проезжали тюремные телеги, были запружены народом. Брань по адресу смертников сливалась с криками «Да здравствует республика!». Все осужденные, за исключением Эбера, встретили смерть мужественно.

Разгром и казнь эбертистов воодушевили «снисходительных». Камилл проявлял свою буйную радость, издеваясь над поникшим «Отцом Дюшеном». Ему вторили Бурдон и Филиппо. Значит, правда была на их стороне! Никогда заблуждение не бывало столь безосновательным. Разве они забыли, что говорил Неподкупный 19 нивоза, а затем повторял месяц спустя? Разве можно было забыть выражение лица, с которым Сен-Жюст в своем вантозском докладе бросил намек, после которого головы всех повернулись в сторону Дантона?

— Есть один среди нас, — отметил Сен-Жюст, — который питает в своем сердце замысел заставить нас отступить и сокрушить нашу деятельность. Он разжирел на народных бедствиях, он наслаждается всеми благами, оскорбляет народ и совершает триумфальное шествие, увлекаемый преступлением...

Разве не должны были от этой реплики оледенеть сердца многих, хотя речь шла только об одном?

Впрочем, если Дантон и его друзья хотели забыть былые страхи и чувствовать себя триумфаторами, то Робеспьер не дал им этого сделать. 1 жерминаля, в тот день, когда начался процесс эбертистов, он произнес в Якобинском клубе слова, которые не оставляли надежд для «снисходительных».

— Если завтра же или даже сегодня, — сказал Робеспьер, — не погибнет эта последняя клика, то наши войска будут разбиты, ваши жены и дети умрут, республика распадется на части, а Париж будет удушен голодом. Вы падете под ударами врагов, а грядущие поколения будут страдать под гнетом тирании. Но я заявляю, что Конвент твердо решил спасти народ и уничтожить все опасные для свободы клики.

Резкость, с которой Робеспьер ставил вопрос о «последней клике», имела весьма серьезные основания.

Противоречия между робеспьеристами и дантонистами достигли предела и угрожали завести правительство в полный тупик. В области внешней политики «умеренные» вели к капитулянтскому миру: в области внутренней — к прекращению террора и свертыванию революции. Все это означало прямой отказ от всех завоеваний народа, достигнутых ценою такой крови и таких материальных жертв. И эта контрреволюционная программа настойчиво проталкивалась дантонистами в дни, когда окончательная победа казалась Робеспьеру не только достижимой, но уже и близкой! В этих условиях сосуществование обеих фракций становилось невозможным. И поскольку в руках Робеспьера, опиравшегося на народные массы, сосредоточивались гораздо большие силы, чем в руках Дантона, финал мог быть только один: Дантон и все те, кто защищал его программу, неизбежно подлежали устранению.

К этому выводу раньше других пришли люди, обладавшие железной решимостью, — Билло-Варен и Сен-Жюст. Робеспьер, любивший Демулена и слишком хорошо помнивший былые заслуги Дантона, не мог принять сразу жестокое решение. Даже громя «снисходительных» в целом, даже обрекая их на гибель, он про себя оставлял лазейку для двух своих прежних друзей. Когда Билло, выступая в Комитете, впервые предложил убрать Дантона и Демулена, Робеспьер страстно воскликнул:

— Значит, вы хотите погубить лучших патриотов?

Постепенно, однако, пелена спадала с глаз Неподкупного. Новые наблюдения и материалы неуклонно подводили его к роковому выводу. По-видимому, уже в феврале 1794 года он полностью осознал неизбежность жертвы. События, последовавшие за казнью эбертистов, укрепили его в принятом решении.

— Комитет общественного спасения производит правильную порубку в Конвенте, — горько заметил Демулен вскоре после ареста Фабра.

Теперь он взялся вновь за перо. Он писал № 7 «Старого кордельера». Номер носил характерное название: «За и против, или разговор двух старых кордельеров». В этом номере автор до крайности усилил свои нападки на «чрезмерную власть» Комитета общественного спасения, на революционные комитеты и персонально на Колло д'Эрбуа, Барера, наконец, Робеспьера. Членов Комитета общественной безопасности он называл «страшными братьями», а их агентов — «корсарами мостовых». Что касается Робеспьера, то для него Камилл не пожалел своих сарказмов.

«Если ты не видишь, чего требует время, если ты говоришь необдуманно, если ты выставляешь себя напоказ, если ты не обращаешь никакого внимания на окружающих тебя, то я отказываю тебе в названии человека мудрого...» — так начинал журналист свой вызов Неподкупному. Он сравнивал его с Катоном, который, требуя от республиканца более строгой нравственности, чем допускало его время, тем самым лишь содействовал ниспровержению свободы. Он издевался над ним за то, что Робеспьер обсуждал недостатки английской конституции; он упрекал его за противоречивые выступления, за «излишнее словоизвержение»; он, по существу, старался доказать, что Неподкупный играл на руку... Питту! При этом Демулен ясно давал понять, что, насмехаясь над Робеспьером и нанося ему политические уколы, он мстит за то, что Максимилиан, пытаясь его спасти, оскорбил его самолюбие. «...Робеспьер, ты несколько лет назад доказал на трибуне Клуба якобинцев, что обладаешь сильным характером; это было в тот день, когда в минуту сильной немилости к тебе ты вцепился в трибуну и крикнул, что тебя надо убить или выслушать; но ты был рабом в тот день, когда допустил так круто оборвать себя после первого же твоего слова фразою: «Сожжение не ответ»...» И далее об этом же говорил журналист еще более прозрачно, обращаясь к самому себе: «Осмелишься ли ты делать подобные сопоставления и ставить Робеспьера в смешное

положение в виде ответа на те насмешки, которыми он с некоторых пор сыплет на тебя обеими руками?»

Демулену не было суждено увидеть последний номер своей газеты: его издатель Дезен был арестован, а газета конфискована. Но именно вследствие этих обстоятельств ее прочли те, против кого она была направлена: члены обоих правительственных Комитетов.

Своими словесными упражнениями Демулен окончательно подписал себе смертный приговор. Он осмелился опорочить правительство, мало того, он осмелился высмеять Неподкупного, высмеять дерзко и несправедливо. Такого Максимилиан не прощал никому. Он понял, что его школьный друг неисправим, что ловушка захлопнула его намертво, что он сам уничтожил всякую возможность к вызволению себя из трясины. Но, отступившись от Демулена, мог ли Робеспьер не пожертвовать тем, кого правильно считал и совратителем и вдохновителем несчастного журналиста?..

Если Демулен бился с яростью до конца, то был человек, поведение которого одинаково смущало как друзей, так и врагов: это был вождь фракции Жорж Жак Дантон. «Если он не вполне ослеп и оглох, то о чем же он думает?» — спрашивали себя лидеры дантонистов. Действительно, с некоторых пор образ действий Дантона казался совершенно непонятным, мало того, совершенно нелогичным. Он, который стоял во главе всей группы, он, во имя кого заварилась вся каша, он или предавал своих, как было с Филиппо, а позднее и с Демуленом, или даже оказывал поддержку... эбертистам! А затем после казни эбертистов он вдруг впал в полную летаргию. «Дантон спит, — говорил Камилл Демулен, — это сон льва, он проснется, чтобы защитить нас». Но титан и не собирался просыпаться. Еще раньше Дантон усиленно толковал о том, что он устал от борьбы, что хочет отойти от государственной деятельности и удалиться на покой, в свою мирную усадьбу, к своей молодой жене, к полям и деревьям. Подобные сентенции в устах кипучей натуры, подобные мысли у тридцатипятилетнего «старика» казались невероятными. Робеспьеристы ему не верили и были правы.

В действительности Дантон долгое время вел очень хитрую и тонкую политику. Гораздо более проницательный, чем его товарищи, он сознавал могущество Робеспьера. Поэтому он никогда открыто не выступал против него. Он вел дело к тому, чтобы найти общий язык с эбертистами, правильно рассчитав,

что союз с ними, заключенный в критический момент, сможет противопоставить робеспьеристам такую силу, которая заставит их серьезно задуматься. Известную ставку делал Дантон и на события международной политики. Он ориентировался на приход к власти в Англии либеральной оппозиции во главе с Фоксом, который мог сменить консерватора Питта на ближайших выборах; в случае установления кабинета Фокса можно было ставить вопрос о заключении мира, а мир давал «снисходительным» все преимущества перед диктатурой робеспьеристов. Все эти расчеты не оправдались. На выборах в Англии победил Питт, что означало продолжение войны, а эбертисты в результате своего необдуманного выступления и молниеносного ответа правительства оказались сразу сброшенными со счетов. Тогда-то вокруг Дантона и его фракции образовалась пустота, которую пророчили и так стремились создать робеспьеристы. Дантон, мечтавший нейтрализовать Робеспьера, сам оказался изолированным. Это он хорошо понял, лучше, чем все окружавшие его, и, поняв, впал в апатию отчаяния.

Кое-кто из лидеров «умеренных» тешил себя надеждой, что еще не все потеряно, что главное сейчас — примирить Дантона с Робеспьером. Веря в возможность примирения, организовали несколько встреч. Во время последней из них Дантон попытался взять на себя инициативу. Он уверял, что ему всегда была чужда ненависть и что он не может понять равнодушия, с которым относится к нему с некоторых пор Робеспьер. Неподкупный промолчал. Тогда Дантон стал громить Билло-Варена и Сен-Жюста, двух «шарлатанов», в руки которых попал якобы Максимилиан.

— Верь мне, стряхни интригу, соединись с патриотами, сплотимся, как прежде...

Робеспьер не выразил желания поддерживать эту тему.

— При твоей морали, — сказал он после продолжительного молчания, — никогда бы не оказывалось виновных.

— А что, разве это тебе было бы неприятно? — живо возразил Дантон. — Надо прижать роялистов, но не смешивать виновного с невиновным.

Робеспьер, нахмурившись, ответил:

— А кто сказал тебе, что на смерть был послан хоть один невиновный?

Такой ответ звучал угрожающе. Дантон притих. Молчали и все остальные. Вскоре Неподкупный покинул общество. Оставшиеся переглянулись.

— Черт возьми! — воскликнул Дантон. — Дело плохо; нам надо показать себя, не теряя ни минуты!

Но человек, произнесший эти слова, продолжал пребывать в бездействии. Зато действовали Комитеты, и действовали со всей решительностью. Учитывая, что дантонисты пользуются значительным влиянием в Конвенте, что их ставленник Тальен избран его председателем, в то время как друг Дантона Лежандр стал председателем Якобинского клуба, Комитеты решили нанести удар быстро, внезапно и в самое сердце. Робеспьер, покинувший Дантона и Демулена, предоставил Сен-Жюсту обширные материалы для составления обвинительного акта.

Вечером 10 жерминаля (30 марта) оба Комитета собрались на совместном заседании. Здесь-то и был составлен приказ, написанный на клочке конверта, приказ, скрепленный восемнадцатью подписями и определивший дальнейшую судьбу фракции «снисходительных».

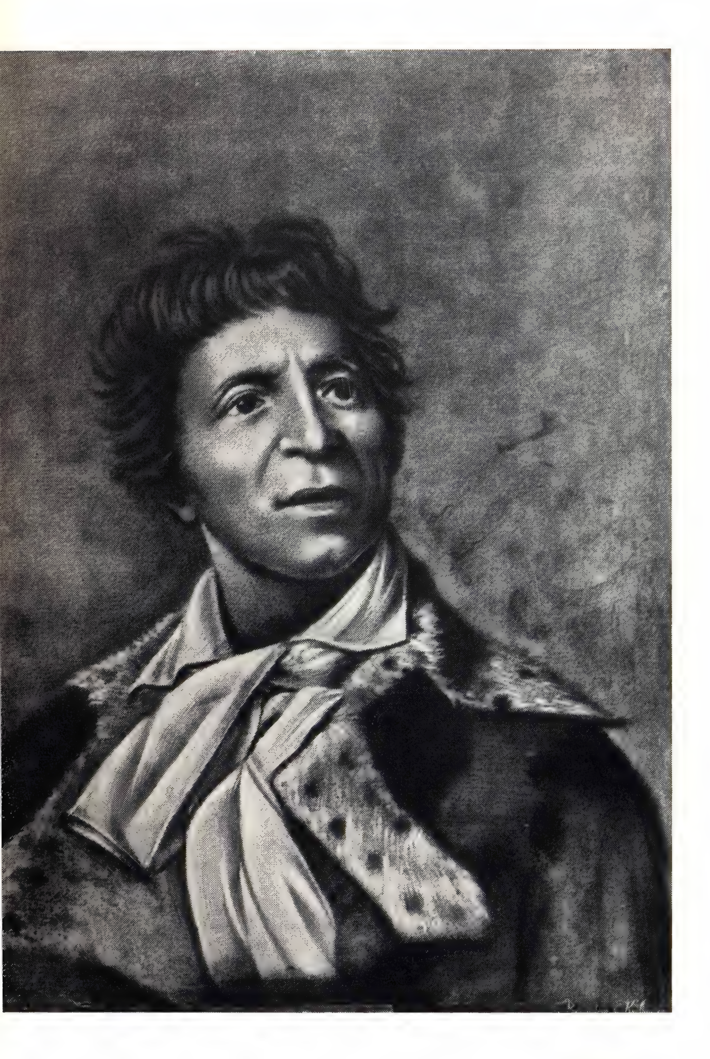
В ночь с 10 на 11 жерминаля Камилл Демулен, ложась спать, услышал стук нескольких ружейных прикладов. Сомнений быть не могло: в такое время приходили лишь с одной целью. Камилл бросился в объятия жены, нежно поцеловал ребенка, мирно спавшего в люльке, и сам пошел открывать дверь посланцам Комитета общественной безопасности. Его отвезли в Люксембургскую тюрьму. Туда же в то же время и на основании того же приказа водворили Дантона, Филиппо и Делакруа. Дантон, который вначале не верил возможности ареста, считая, что на него посягнуть не посмеют, в дальнейшем примирился со своей участью. Когда один из друзей посоветовал ему бежать, он ответил:

— Мне больше нравится быть гильотинированным, чем гильотинировать других, — и затем прибавил фразу, ставшую бессмертной: — Разве можно унести родину на подошвах своих башмаков?

Сделав столь решительный шаг, Комитеты отнюдь не были уверены в полном успехе. Они ждали сопротивления Конвента, и ожидания их не обманули. Делакруа удалось переслать письмо Лежандру, и уже рано утром бывший мясник оказался в курсе дел. Он развил весьма активную деятельность



Патриотический триумвират Учредительного собрания: Редерер — Петион — Робеспьер (современная гравюра).



Марат.



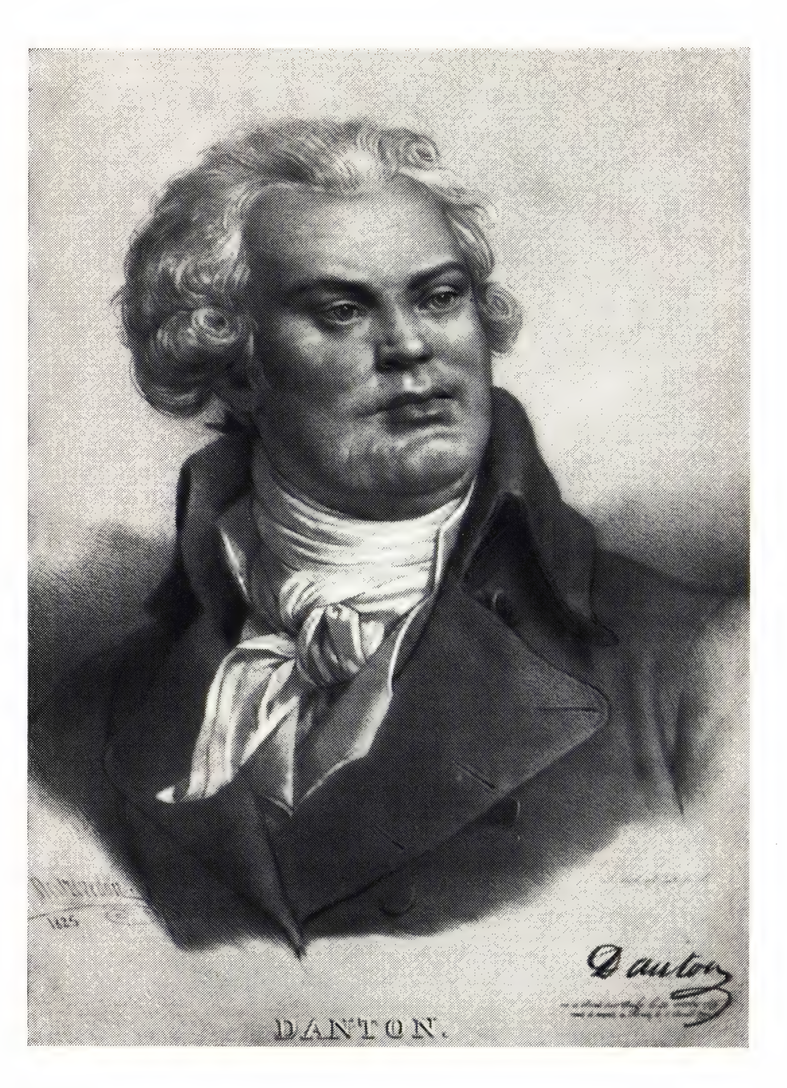
Бриссо.



Верньо.



Робеспьер (гравюра Дельпеша).



Дантон.



Камилл Демулен.



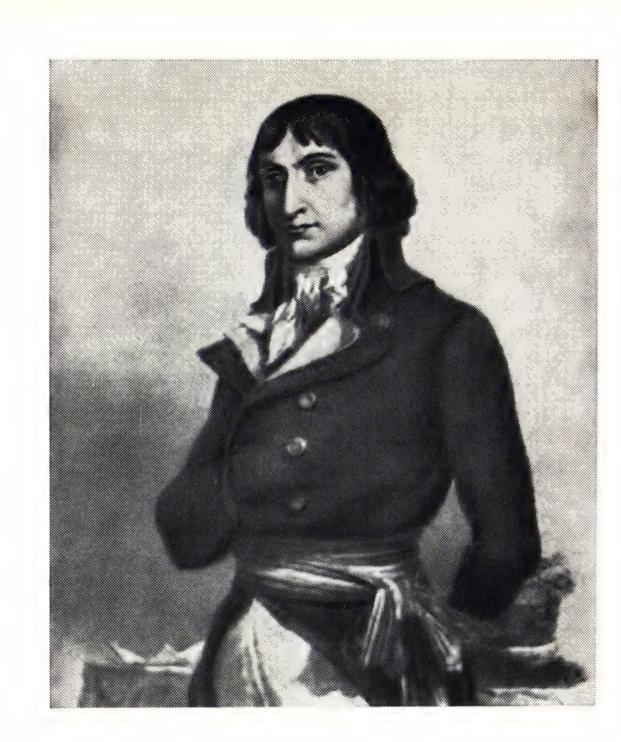
Люсиль Демулен.



Огюстен Робеспьер. Медальон работы Давида д'Анже.



Робеспьер (современная гравюра).



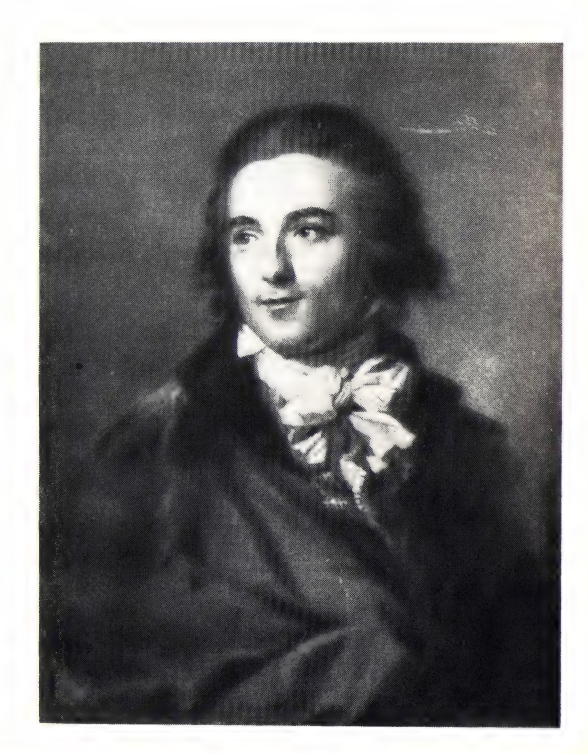
Билло-Варен.



Колло д'Эрбуа.



Фабр.



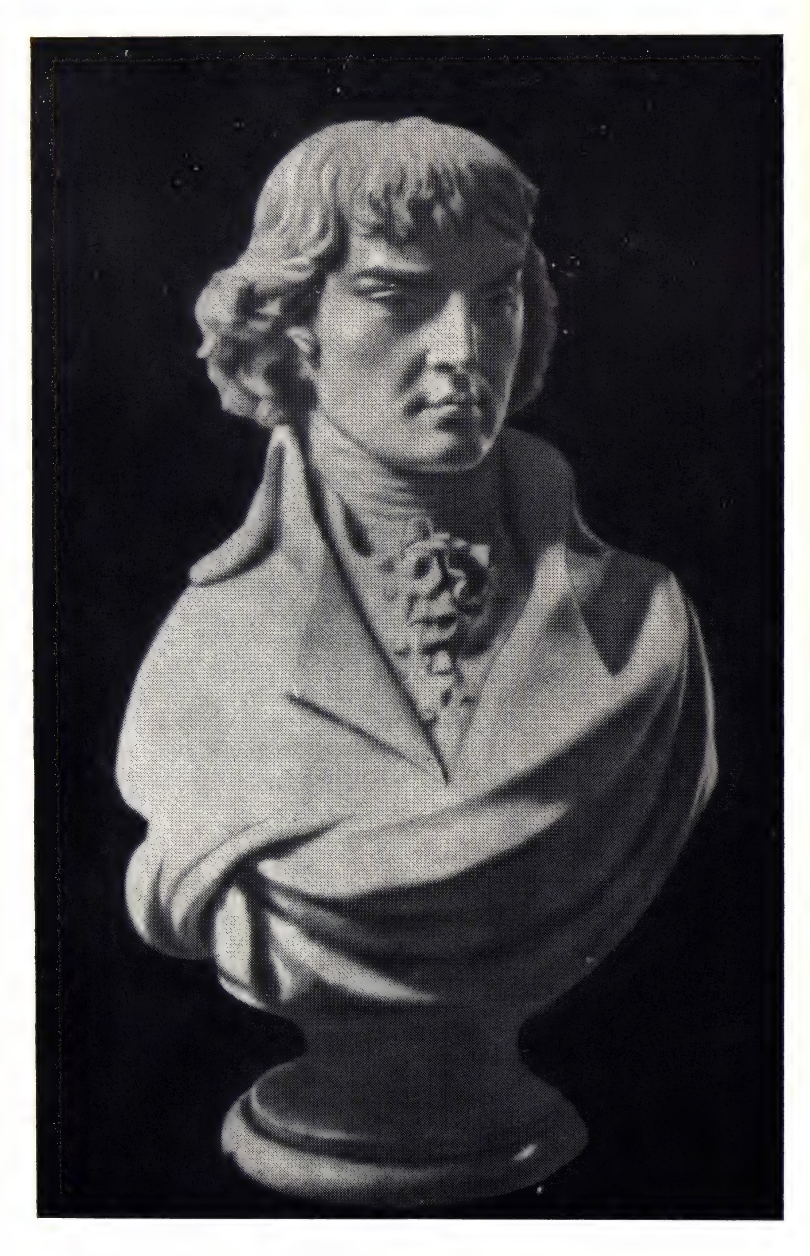
Барер.



Шабо.



Эро де Сешаль.



Антуан Сен-Жюст (мраморный бюст).



Жорж Кутон (современный портрет).



Максимилиан Робеспьер (бронзовый медальон работы неизвестного мастера).



Робеспьер (современный рисунок).

и прежде всего подготовил своего единомышленника, председателя Конвента Тальена. В самом начале заседания 11 жерминаля (31 марта) один из депутатов потребовал присутствия обоих Комитетов. Собрание отдало соответствующий приказ. Тогда на трибуну поднялся Лежандр и произнес с волнением:

— Граждане, ночью арестованы четверо членов этого собрания: один из них Дантон. Имен других я не знаю, да и что нам до имен, если они виновны? Но я предлагаю, чтобы они были вызваны сюда, в Конвент, и мы сами обвиним или оправдаем их... Я верю, что Дантон так же чист, как я сам.

Послышался ропот, и кто-то потребовал, чтобы председатель сохранил свободу мнений.

— Да, — ответил Тальен, — я сохраню свободу мнений, каждый может говорить все, что думает, мы все остаемся здесь, чтобы спасти свободу.

Это было прямое поощрение Лежандру и угроза его противникам. Выступил депутат Файо, возмущенный предложением Лежандра: это предложение создавало привилегию. Ведь жирондисты и многие другие не были выслушаны, прежде чем их отвели в тюрьму. Почему же должно быть два разных подхода?

Начался шум. И тут вдруг раздались крики:

— Долой диктаторов! Долой тиранов!

Робеспьер, бледный, но спокойный, ждал и внимательно прислушивался. Когда положение стало принимать угрожающий характер, он взял слово.

— По царящему здесь смущению легко заметить, что обсуждаемый вопрос достаточно важен; и правда, речь идет о выяснении того, одержат ли ныне несколько человек верх над отечеством... Лежандр, по-видимому, не знает фамилий арестованных лиц, но весь Конвент знает их. В числе арестованных находится друг Лежандра, Делакруа. Почему же он притворяется, что не знает этого? Он делает это потому, что понимает, что Делакруа нельзя защищать, не совершая бесстыдства. Он упомянул о Дантоне потому, что, вероятно, думает, будто с этим именем связана какая-то привилегия. Нет, мы не хотим никаких привилегий, мы не хотим никаких кумиров. Сегодня мы увидим, сумеет ли Конвент разбить мнимый, давно сгнивший кумир или же последний, падая, раздавит Конвент и французский народ... Я заявляю, что всякий, кто в эту минуту трепещет, преступен, потому что люди невиновные никогда не боятся общественного надзора.

Раздался гром аплодисментов. Оратор овладевал настроением Конвента. Он продолжал:

— Мне тоже хотели внушить страх; меня хотели уверить, что опасность, приблизившись к Дантону, может коснуться и меня. Друзья Дантона посылали мне письма, надоедали мне своими речами. Я заявляю, что если правда, будто опасности Дантона должны стать и моими опасностями, то я не счел бы это общественным бедствием. Что мне за дело до опасностей? Моя жизнь принадлежит отечеству; сердце мое свободно от страха; и если бы мне пришлось умереть, то я умер бы без упрека и без позора.

Еще более дружные рукоплескания покрыли последние слова Неподкупного. Он уже полностью владел аудиторией.

— Именно теперь, — заканчивал Робеспьер, — нам нужны некоторое мужество и величие духа. Люди низменные и преступные всегда боятся падения им подобных, потому что, не имея перед собой ряда виновных в виде барьера, они остаются более доступными для опасности; но если в этом собрании есть низменные души, то есть здесь и души героические, ибо вы руководите судьбами земли!..

Эта очень умело построенная и вовремя сказанная речь решила исход борьбы в Конвенте. Никто не осмелился оспаривать слов Робеспьера. Объятый ужасом Лежандр отступился от своего проекта и пробормотал несколько трусливых извинений.

Тогда поднялся Сен-Жюст и среди гробового молчания прочел обвинительный акт.

В основу этого документа легли черновые наброски Робеспьера. Обвинительный акт был составлен таким образом, чтобы представить Дантона и его друзей изменниками с первых дней революции. Оратор утверждал, что Дантон вел интриги с Мирабо, что он продался двору и пытался спасти королевскую семью, что он вел тайные переговоры с Дюмурье и играл на руку жирондистам. Далее Сен-Жюст указал на двусмысленность позиций многих дантонистов во время великих дней 10 августа, 31 мая, 2 июня. Он не забыл обвиняемым их кампанию в пользу «мира» и «милосердия», их тайное противодействие всем революционным мерам, их связи с мошенниками и подозрительными иностранцами. Особенно резко Сен-Жюст клеймил оппортунизм Дантона.

— Как банальный примиритель, ты все свои речи на трибуне начинал громовым треском, а заключал сделками между правдой и ложью... Ты ко всему приспособлялся!.. — Трудно было более меткими словами охарактеризовать основу политической линии Дантона.

Конец большой речи Сен-Жюста был страшным предостере-

жением для тех, кто не понимал остроты переживаемого времени.

— Дни преступления миновали; горе тем, кто стал бы поддерживать его! Политика преступников разоблачена; да погибнут же все люди, бывшие преступными! Республику создают не путем слабости, но свирепо строгими, непреклонно строгими мерами против всех повинных в измене!

Собрание выдало потребованные головы. Партия в Конвенте была выиграна.

Оставалось разыграть последнюю часть страшной игры: партию в Революционном трибунале.

Конечно, процесс Дантона был в той же мере политическим процессом, как и дело Эбера. Конечно, тут, как и там, судьба обвиняемых была решена заранее, и приговор им уже давно составили и подписали. По существу, Революционному трибуналу надлежало только исполнить то, что было решено правительственными Комитетами и санкционировано Конвентом. И все же провести процесс дантонистов казалось делом гораздо более сложным, нежели отправить на гильотину Эбера и его сторонников. Здесь был налицо прежде всего сам Жорж Дантон, человек страстный, яркий, талантливый и не знавший страха, трибун, который пользовался славой одного из самых видных деятелей и ораторов революции. Здесь был горячий и неровный, но способный и едко-остроумный Камилл Демулен. Здесь был хитрый и коварный Фабр д'Эглантин, были и другие деятели, искушенные в политической интриге и ораторском красноречии. Убить таких людей было можно, но заставить их молчать перед смертью представлялось значительно более трудным. Это предвидели Робеспьер и Сен-Жюст, своевременно принявшие все меры к тому, чтобы помешать превратиться процессу в арену жестокой борьбы. И тем не менее они оба, равно как и другие члены Комитетов, сильно опасались за ход судебных заседаний.

Чтобы облегчить задачу прокурора Фукье-Тенвиля, который должен был бить обвиняемых сразу по многим пунктам и статьям, здесь, как и в процессе эбертистов, составили своеобразную «амальгаму», объединив в целое несколько отдельных группировок по различным обвинениям. В главную «политическую» группу входили Дантон, Демулен, Филиппо, Эро, Делакруа и Фабр д'Эглантин. Через Фабра эта группа связывалась с мошенниками — Шабо, Базиром и Делоне; через Эро де Сешеля, который был одинаково близок и к дантонистам и к эбер-

тистам, их объединяли с «ультрареволюционерами» как одну из группировок единого заговора; наконец, через Дантона и Шабо всех подсудимых сближали с подозрительными иностранными банкирами — братьями Фрей и Гузманом, что придавало заговору «иностранную» окраску. Кроме того, на процессе фигурировали делец и аферист, поставщик д'Эспаньяк, а также генерал Вестерман, замешанный во все интриги Дюмурье и Дантона и имевший репутацию отъявленного грабителя и вора. Таким образом, комплект обвиняемых был хорошо подобран, и можно было приступать к делу.

В ночь с 12 на 13 жерминаля Дантона, Демулена, Делакруа и Фабра перевели из Люксембургской тюрьмы в Консьержери, непосредственно в ведение Революционного трибунала. В тюрьме подсудимые, размещенные по одиночным, но смежным камерам, вели себя каждый соответственно своему нраву и темпераменту. Демулен, переходивший от надежды к отчаянию, писал письма своей дорогой Люсили, орошая их слезами; Делакруа выглядел смущенным и не знал, как себя держать; Фабр, казалось, был более всего обеспокоен судьбой своей новой пятиактной трагедии; Дантон говорил без умолку, и его громоподобный голос был слышен во всех соседних камерах. Он выражал сожаление, что был одним из организаторов Революционного трибунала, называл своих коллег «каиновыми братьями» и не строил никаких иллюзий насчет отношения к себе со стороны народа: «О, грязное зверье! Они будут кричать «Да здравствует республика!», когда меня повезут на гильотину!»

Тут же, в лазарете при Консьержери, лежал и доносчик Шабо. Когда он понял, что все потеряно, то решил прибегнуть к помощи яда. Однако его отходили, чтобы сберечь для гильотины.

«...Робеспьер, сможешь ли ты выполнить пагубные замыслы, которые, без сомнения, внушили тебе низкие люди, окружающие тебя? Разве забыл ты дни, о которых Камилл не мог вспоминать без восторга? Каково же преступление моего Камилла?..»

Перо выскользнуло из рук. Взор остановился на мерцающем пламени свечи. Люсиль задумалась.

Да, это последний шанс. Все ей твердят, что Робеспьер к ней неравнодушен. Она ведь по-прежнему хороша — слезы

высохнут, а лицо можно припудрить. О мой Камилл! Чего бы я не сделала ради тебя!.. Ты должен жить, ты будешь жить!..

Мысли быстро сменяют одна другую. Люсиль вспоминает свое венчанье, затем встречи. Робеспьер всегда был так внимателен к ней, казалось, ее присутствие доставляло ему радость... Тогда она не думала об этом...

Люсиль старается представить себе Робеспьера — его костюм, лицо, глаза... Глаза!.. Женщина вздрагивает. Эти светлые, внимательные глаза, бездонные и... беспощадные!.. Нет, человек с такими глазами не станет внимать ее мольбам. Нет, он никогда ее не любил, он не мог ее любить, он не может любить... Камилл погиб. Погибла и она. Все. Свеча догорит, и комната погрузится в полный мрак...

Адресат никогда не получил этого письма: оно не было отослано.

Процесс длился четыре дня. В первый разделались с финансовым заговором. Второй, посвященный в основном допросу Дантона, чуть ли не привел к срыву всего процесса. Дантон, очнувшийся, наконец, от спячки, вложил в свою речь всю ярость и силу, на какие был только способен. Он насмехался, угрожал, отвечал дерзостями. Тщетно председатель Эрман пытался его остановить: голос Дантона перекрывал звон колокольчика и будоражил толпу на улице. Председатель и судьи чувствовали себя весьма неважно. Комитет общественного спасения, следивший за ходом дела, был настолько обеспокоен, что даже отдал Анрио приказ арестовать председателя и прокурора, подозревая их в слабости; однако затем члены Комитета одумались и приостановили приказ. Несколько представителей Комитета общественной безопасности отправились в трибунал, чтобы поддержать своим присутствием судей и присяжных. Положение было спасено тем, что Дантон, вложивший слишком много энергии в свою речь, в конце концов выдохся и стал терять голос. Председатель предложил ему отдохнуть, обещая потом вновь дать слово, и утомленный трибун на это согласился.

Итак, опасения Робеспьера и Сен-Жюста отнюдь не были порождением их фантазии: разбить «давно сгнивший кумир» оказывалось на поверку совсем не легким делом.

Третий день процесса поначалу грозил суду еще большими осложнениями, нежели предыдущий. Но вдруг к концу заседания истомленный прокурор получил спасительную поддержку.

В правительство поступил донос от арестанта Люксембургской тюрьмы, сообщивший о заговоре, во главе которого стоял приятель Демулена, генерал Артур Диллон. Заговорщики ставили целью разгромить тюрьму, спасти дантонистов, находившихся в трибунале, и захватить власть. Выяснилось, что заговорщиков субсидировала Люсиль Демулен, переславшая Диллону в тюрьму тысячу экю. Сен-Жюст тотчас же доложил о происшедшем Конвенту. Конвент, в который почти одновременно пришел отчаянный запрос от Фукье-Тенвиля, едва справлявшегося с подсудимыми, принял декрет, позволявший трибуналу лишать участия в прениях всякого оскорбляющего национальное правосудие.

Декрет был немедленно доставлен в трибунал. Это ускорило развязку.

На следующий день прений не возобновили. Прокурор спросил присяжных, составили ли они представление о деле. Дантон и Делакруа бурно запротестовали:

— Нас хотят осудить, не выслушав? Пусть судьи не совещаются! Мы достаточно прожили, чтобы почить на лоне славы, пусть нас отвезут на эшафот!

Камилл Демулен до такой степени вышел из себя, что разорвал свою защитную речь, смял ее и бросил комок в голову Фукье-Тенвилю. Тогда трибунал, применяя декрет, лишил обвиняемых права участвовать в прениях. Почти все они были приговорены к смертной казни.

Казнь состоялась в тот же день, 16 жерминаля (5 апреля). Пока телеги следовали от тюрьмы до гильотины, экспансивный Демулен, в клочья изорвавший одежду, кричал улюлюкающей толпе:

— Народ! Тебя обманывают! Убивают твоих лучших защитников!

Дантон пытался образумить своего несчастного друга.

— Успокойся, — говорил он, — и оставь эту подлую сволочь!

Когда кортеж проезжал по улице Сент-Оноре, Дантон, подняв свое выразительное лицо к закрытым ставням окон дома Дюпле, воскликнул:

— Я жду тебя, Робеспьер! Ты последуешь за мной!

Свои последние слова Дантон произнес, находясь на эшафоте.

— Ты покажешь мою голову народу, — повелительно сказал трибун, обращаясь к палачу. — Она стоит этого.

И палач послушно выполнил его требование.

Казнью Дантона и его главных соратников завершался период поисков «среднего пути». Робеспьеристы отсекли крайние фланги бывшего якобинского блока. Это была необходимая мера. Без ликвидации дантонистов, ставших резервом реакции, революция не могла развиваться дальше; напротив, ей грозил поворот вспять. Демагогические элементы эбертистской фракции, отвлекавшие массы от их насущных задач, также являлись помехой для революционного правительства якобинцев. Возможность сближения «снисходительных» с «ультрареволюционерами» представляла реальную угрозу, которая могла в конечном итоге привести к крушению якобинской республики. Связь внутренней борьбы с иностранными агентами осложняла положение, помогая силам европейской реакции в их войне с революционной Францией.

Имел ли, однако, место единый иностранный заговор, как полагал Робеспьер? Нет данных, которые позволили бы это утверждать. Можно думать, что Неподкупный вследствие обычной для него подозрительности преувеличивал роль некоторых в действительности существовавших обстоятельств и представил себе не вполне верно общую картину, которую потом позаимствовали у него Сен-Жюст, Билло-Варен и другие. Главным в событиях зимы и весны 1794 года была борьба фракций, за которыми стояли различные социальные группировки. Что же касается иностранцев — шпионов и аферистов, то они использовали эту борьбу в своих целях, примазываясь к ней, разжигая ее и всячески способствуя осуществлению замыслов враждебных Франции правительств, которым они служили.

Процессы первой половины жерминаля имели свое продолжение. 21 жерминаля (10 апреля) перед Революционным трибуналом предстали Люсиль Демулен, Артур Диллон и другие, обвиняемые по делу о «заговоре в тюрьмах». К ним были присоединены вдова Эбера, бывший парижский епископ Гобель и... Анаксагор Шомет... В чем мог провиниться этот стойкий патриот, защитник бедных и угнетенных, этот самый горячий приверженец революционного правительства? Разве забыли,

что именно ему в значительной мере якобинская диктатура была обязана своим укреплением, что именно он провозглашал идеи, положенные Сен-Жюстом в основу вантозских декретов?..

Робеспьер не любил Шомета и относился к нему с крайней осторожностью. Завидовал ли он его популярности? Боялся его соперничества? Или, быть может, не мог простить его прежней близости к Эберу? Как бы то ни было, в данном случае Неподкупный посылал на смерть одного из самых верных сынов революции. Обвинения, предъявленные Шомету, были смехотворны. Ему вменялось в вину стремление противопоставить Коммуну Конвенту, получение денег от Питта и его «дехристианизаторская» деятельность. Несмотря на то, что Шомет блестяще оправдал себя от всех возведенных на него клевет, он был гильотинирован 24 жерминаля (13 апреля). Почему Робеспьер не вспомнил в этом случае своих благородных слов, сказанных ровно месяц назад в Якобинском клубе, об опасности искусственного приплетения патриотов к делу заговорщиков? Он сделал одну из серьезных ошибок, за которую в дальнейшем пришлось дорого заплатить.

Вместе с Шометом были казнены Гобель, Люсиль Демулен и другие лица, привлеченные к суду.

Разгром завершался. Внешне кризис вантоза — жерминаля был преодолен. В действительности, однако, борьба замерла лишь на миг; да и замерла ли она? Робеспьер и его сторонники, несмотря на всю свою хватку, оказались не в состоянии довести до конца войну с обеими разбитыми фракциями. Крупные эбертисты — Колло д'Эрбуа, Фуше, Карье и близкий к ним Билло-Варен не только избежали участи своих друзей, но и сохранили прежнее влияние. Точно так же продолжали оставаться в Конвенте и играть политическую роль ближайшие единомышленники Дантона — Лежандр, Тальен, Бурдон, Тюрио. Вместе с тем Робеспьер и Сен-Жюст не проявили последовательности в отношении к левым якобинцам, союз с которыми обеспечивал им силу и устойчивость. Казнь Шомета и арест некоторых других левых якобинцев, наносившие удар по защитникам и друзьям революции, отталкивали от правительства значительную часть поддерживавших ее беднейших слоев народа. Все это должно было в самом непродолжительном будущем осложнить положение якобинской диктатуры. Впереди предстояли новые смертельные схватки. То, что казалось концом, в действительности было лишь началом. Неподкупному предстояло испить чашу до дна.

Глава 6

Ошибки прериаля

Жерминаль унес фракции. Наступило затишье. Правительственные Комитеты освободились от стеснявшей их оппозиции. Конвент стал послушным и робким; декреты вотировались почти без прений. Депутаты старались не проявлять инициативы. Призрак «национальной бритвы» заставил их смолкнуть и уйти в себя.

Робеспьер и его соратники стремились закрепить победу. Была усилена централизация государственной власти. Вместо министерств учредили двенадцать комиссий, всецело подчинявшихся Комитету общественного спасения. Парижская коммуна подверглась «очистке», причем был ограничен принцип выборности. Главой Коммуны вместо упраздненного прокурора становился национальный агент. На эту должность был назначен Пейян, сменивший казненного Шомета. Левого якобинца Паша на посту парижского мэра сменил Флерио-Леско. Впрочем, социальный облик Коммуны не изменился: ее большинство по-прежнему представляло плебейские слои Парижа. Вскоре после казни эбертистов была ликвидирована революционная армия, которая, по мнению Робеспьера, содействовала анархии и децентрализации. Опасаясь проникновения антиправительственных элементов в народные общества и секции, значительно сократили их число и ограничили количество заседаний. Клуб Кордельеров, по существу, прекратил свою деятельность. Якобинский клуб с его филиалами остался единственным рупором и проводником идей революционного правительства.

В целях укрепления порядка и революционной законности по всей стране были упразднены провинциальные трибуналы; все серьезные дела отныне подлежали рассмотрению исключительно парижского Революционного трибунала. Последний действовал с неослабевающей энергией. Головы врагов народа, «бывших», спекулянтов и казнокрадов вперемежку сыпались к подножью гильотины. Один за другим взошли на эшафот депутаты Учредительного собрания д'Эпремениль, Туре, Ле-Шапелье — автор печально знаменитого антирабочего закона, министр, а потом защитник Людовика XVI Малерб и сестра казненного короля принцесса Елизавета.

Помня печальную историю «Старого кордельера», Комитеты усилили нажим на печать. Пресса утратила самостоятельность. Отныне выходили только официозные газеты, субсиди-

руемые правительством. В театрах давали лишь патриотические, одобренные цензурой пьесы.

В результате централизованных мероприятий в области снабжения нужда и голод впервые за годы революции несколько смягчились. Из Соединенных Штатов Америки прибыла первая партия продовольствия. Расширялись закупки в нейтральных странах. Весенний сев 1794 года был проведен успешно и сулил хороший урожай.

Стремясь обеспечить экономический подъем и заботясь о повышении обороноспособности страны, революционное правительство стало на путь поощрения промышленности: промышленникам при условии честного отношения к делу оказывали поддержку, предоставляли кредиты и субсидии, их предприятия брались под охрану государства. И уже весною 1794 года можно было отметить значительное увеличение объема промышленной продукции, особенно в тех отраслях производства, которые были связаны с войной.

Все это радовало Неподкупного, вселяя в него бодрость и силу. Значит, боролись не зря. Значит, святая кровь патриотов и черная кровь врагов пролилась не напрасно. Вот она, туманная мечта, обетованная страна, которая казалась такой далекой, почти недостижимой в годы Учредительного собрания! Она уже рядом, до нее осталось совсем немного. Республиканская армия одержит решительную победу; еще одна-две партии заговорщиков отправятся на гильотину; еще немного усилий в области экономики, еще немного самоотверженности со стороны бедняков, терпевших так долго, — и все! Французский народ-победитель обретет долгожданное царство свободы, равенства, братства, царство, в котором мир, справедливость и добродетель будут всеобщими принципами, основой бытия. Тогда кончатся все ограничения, все максимумы, тогда не будет нужды, не будет и чрезмерного богатства. Тогда французы, давая образец для подражания всему человечеству, заживут единой, дружной семьей. Все это будет, и будет скоро. Но пока нужно бороться. Без борьбы, без напряженных усилий, без новых жертв счастье в руки не дастся.

В этот вечер Максимилиан задержался в Якобинском клубе значительно дольше обычного. Когда он очутился на улице, его окутала непроглядная тьма. Небо, совсем черное, было усеяно золотыми точками звезд; слабо мерцал Млечный Путь.

Вглядываясь в эту беспредельность ночи, Максимилиан невольно обращался мыслями к Вечности, к замечательной и непонятной Природе, гармонической частью которой был Человек; Человек, дерзнувший потрясти основы общественного бытия; Человек, в котором так тесно уживались добро и зло, порок и добродетель. Свежий весенний ветер шевелил накидку, вызывая легкий озноб. Запахнувшись плотнее, Робеспьер ускорил шаг. Как хорошо, что дом так близок!..

...Лампа долго не хочет разгораться. Измученный трибун сбрасывает накидку и снопом валится на постель. Впрочем, спать нельзя. Да он и не сможет. Он отдохнет лишь несколько минут. Он привык работать ночью, когда все молчит, когда блаженная тишина, не нарушаемая ничем, дает возможность предельно сосредоточиться, рождает мысль. При свете наконец разгоревшейся лампы Максимилиан видит стопку белых листков на краю стола. Письма! Он протягивает руку. Так... Личная просьба от Мерлена из Тионвиля, дантониста... Послание старины Бюиссара из Арраса, наверно упреки; конечно, так и есть! Почему он, Робеспьер, не пишет, не отвечает! О, если бы у человека было две жизни, если бы хватало сил на все... Милый Аррас, как ты далек, как ты бесконечно далек!.. Вот опять просьбы, доносы, упреки... Зря потраченная бумага! Он не может читать всю эту галиматью... Ага! Любопытно!.. Послание молодой женщины из Нанта, которая предлагает ему руку и сердце и одновременно... сорок тысяч годового дохода!.. Трибун смеется. Сколько таких писем он получил за последнее время! Подумать, сорок тысяч годового дохода! О, если бы они знали, как все они жалки и смешны со своими деньгами, со своими мизерными стремлениями: купить, продать, накопить, завладеть... По их мнению, за деньги продается все, за деньги можно купить и его, Неподкупного, купить, как украшение для блестящей гостиной... Максимилиан отбрасывает просмотренные листки в сторону. А вот и письмо от Огюстена. Брат не забывает его и подробно сообщает о всех своих делах. Не так давно Огюстен приезжал в Париж триумфатором: он лично руководил всеми осадными операциями под Тулоном и одержал блестящую победу. При этом воспоминании Максимилиан не может не улыбнуться. В свое время, отправляясь на юг, Огюстен сделал доброе дело и увез с собой Шарлотту. Но под Тулоном произошли события, и смешные и досадные одновременно, в особенности если сопоставить их с борьбой не на жизнь, а на смерть, кипевшей у осажденного города. Коллега Огюстена, Рикор, привез с собой молодую жену, хорошенькую, кокетливую женщину, за которой начали ухаживать Огюстен

и молодой артиллерийский генерал Наполеон Бонапарт, что, впрочем, не помешало ему и Огюстену быстро подружиться. Шарлотта не преминула рассориться сначала с госпожой Рикор, а затем и с братом. Огюстен был возмущен ее сварливостью и всем ее поведением. Ба! Вот и теперь из-под Ниццы Огюстен сообщает нечто в этом же роде; письмо его дышит раздражением и неподдельной злобой.

Видимо, уж очень насолила сестра мягкому и добродушному Бон-Бону, если он пишет о ней с таким гневом! Ужасная это штука — вражда. Как добиться гармонии и любви среди граждан государства, если даже в одной семье никак нельзя установить мир и покой!..

Эта мысль тотчас же напоминает Максимилиану о неотложном. Он быстро вскакивает, садится к столу и открывает папку, которую принес с собой из клуба.

Страшные дела! Не время сейчас думать об отношениях Шарлотты и Огюстена, если в стране творится такое. Робеспьер перебирает бумаги и останавливается на одной, которая особенно поражает его.

«Накануне моего прибытия, — сообщал Пейяну один из его друзей, — шесть замаскированных людей явились около половины десятого на дачу гражданина Гра, хорошего патриота, которого ты, должно быть, знаешь, схватили его слуг, заперли их, а самого Гра отвели в погреб и расстреляли на глазах его маленького ребенка, которого заставили держать лампу...»

Это одно из многочисленных известий с юга страны. После того как федералистский мятеж жирондистов был подавлен, отголоски его остались и постоянно дают о себе знать. Звери в образе человеческом, бандиты, смутьяны, которые хотели бы повернуть колесо истории вспять! Они совращают неустойчивых патриотов, будоражат простой люд, клевещут на революцию!..

Вот еще документ. Деревня Бедуен в департаменте Воклюз стала штаб-квартирой заговорщиков. Здесь собираются неприсяжные священники и роялисты, которые подбивают темный народ к отделению от республики. Здесь переписываются с эмигрантами, хранят контрреволюционные значки, белые кокарды и даже щит с изображением герба Людовика XVI. В ночь с 12 на 13 флореаля мятежники вырвали из земли дерево свободы, затоптали ногами увенчивавший его красный колпак, побросали в грязь декреты Конвента. Да это же прямое поругание свободы, это глумление над революцией, над жертвами патриотов!

Это происходит в то время, когда мошенники, нажившиеся

в дни смут, скупают за бесценок там, на юге, национальные имущества и превращаются в новых помещиков! И что же это за люди? Злодей и убийца Журдан, прозванный «головорезом», член Конвента бывший маркиз Ровер и иже с ними. Они организуют «черные банды», они основывают ассоциации хищников, включающие сотни должностных лиц... И таких мы должны щадить?

Робеспьер нервным движением захлопывает папку. Его лицо дергается. Он встает и начинает быстро ходить по комнате. Как нежничают с угнетателями и как неумолимо относятся к угнетенным! Милость злодеям? Нет, милость невинным, милость слабым, милость несчастным, милость гуманным!.. Горе интриганам! Их нужно карать железом! Пока жив будет хоть один негодяй, дело республики нельзя упрочить, добродетель не восторжествует, царство свободы останется далеким и недоступным. Мятеж на юге надо раздавить, и он будет раздавлен! Робеспьер вновь садится к столу. Он долго пишет, затем бросает перо и откидывается на спинку кресла. Мысли его принимают иное направление.

Хорошо, мятежи мятежами, с ними в конце концов можно справиться. Но есть и нечто худшее. Есть нечто, что молчит, но тлеет, теплится и готово вспыхнуть при любом подходящем случае.

Сегодня республика прочна и могуча, как никогда. Конвент един, Комитет во главе с Неподкупным располагает всей полнотой власти. Но он знает: глухое недовольство, ропот, вражда — все это существует повсеместно, не только на юге, но и здесь, в Париже, всегда и повсюду. Крестьяне недовольны реквизицией продовольствия, а как без реквизиций обеспечишь бойцов, защищающих родину? Рабочие недовольны максимумом заработной платы; а как иначе можно сохранить устойчивые цены на продукты? Собственники недовольны правительственной регламентацией, законами против скупщиков и спекулянтов, а как без всего этого можно добиться ликвидации голода и в конечном итоге победы над врагом? Все как будто ясно; тем не менее глухое недовольство зреет, рабочее движение распространяется по всей стране, буржуазия различными способами показывает свое раздражение. Разве все они не видят, что Комитет принимает посильные меры? Ведь этой весной в поисках средств к оживлению хозяйственной жизни несколько ослабили ограничения на мелкую торговлю, увеличили заработную плату рабочим военных предприятий, готовят проекты пособия для неимущих. Но, по-видимому, всего этого недостаточно; а главное, как примирить рабочих с предпринимателя-

ми, крестьян-бедняков — с богачами? Ведь идя навстречу одним, неизбежно ухудшаешь положение других. И вот, используя недовольство различных слоев населения, могут вновь ожить те силы, которые сейчас дремлют, — остатки дантонистов и эбертистов...

Что же делать? По-видимому, необходимо найти нечто, что заинтересовало бы всех, что сплотило бы как бедных, так и богатых, что соединило бы всю нацию. Это нечто может лежать лишь в области чистых идей: сила идеи колоссальна, она способна воодушевить, примирить с трудностями, заставить идти на жертвы. Но где такая идея? Пытались создать «культ Разума», но из этого ничего не вышло, эта затея лишь обозлила народ. Нет, здесь нужно что-то совсем иное... Народ в своей массе религиозен. Надо использовать эту религиозность, отвлечь ее от фанатизма и пустить по правильному руслу. И Максимилиану вспоминается изречение Вольтера: «Если бы бога не было, его следовало бы выдумать». Да, фернейский патриарх прав. Бог вселяет надежды, бог исцеляет горе, бог примиряет. Но нам нужен не бог старого порядка и не бог Вольтера. Нет. Робеспьер отыскивает на полке книгу и быстро находит страницу. Это «Общественный договор» Руссо. Вот что пишет учитель:

«Существует чисто гражданское исповедание веры, статьи которого государю надлежит установить не в качестве религиозных догм, а в качестве мыслей общественности... Догмы гражданской религии должны быть просты, немногочисленны, выражены точно... Положительные догмы таковы: существование могущественного, умного, благотворящего, предусмотрительного и заботливого божества, будущая жизнь, счастье справедливых, кара для злых, святость общественного договора и законов...»

Блестяще! Учитель, как всегда, нашел нужную форму, нужные слова. Нет, философия не для народа. Пусть ею занимаются философы. Нам нужно всех роднящее и объединяющее верховное существо — бог Природы.

Робеспьер всматривается в черную бесконечность там, за окном. Как ты непостижима, Природа! Но ты разумна, ты справедлива, ты даешь будущую жизнь, счастье добродетельным, возмездие злым, ты санкционируешь земные и небесные законы. Да. Это спасение. Выход найден. Глубокое удовлетворение охватывает Максимилиана. Умиротворенный, он спокойно засыпает на те немногие часы, которые остались до утра.

Несколько дней спустя, 18 флореаля (7 мая), Робеспьер произнес речь, навеянную новыми мыслями. Она дышала вдохновением и оптимизмом, которые оратор сумел передать своим слушателям.

— Основатели Французской республики, — восклицал Неподкупный, обращаясь к членам Конвента, — остерегайтесь терять надежду на человечество или усомниться хотя на миг в успехе вашего великого начинания! Мир изменился. Он должен измениться еще больше!..

Напомнив о блестящих победах республики, о том, что свободный французский народ попрал и отбросил от себя все предрассудки, связанные с монархией и сословными привилегиями, Максимилиан задал целый ряд риторических вопросов, которые предрешали ответы, четко сформулированные оратором в духе Руссо:

— Человек, воодушевленный только идеей атеизма и никогда не воодушевляющийся во имя родины, кто поручил тебе проповедовать народу, что божества не существует? Разве хорошо убедить человека в том, что его судьбой управляет слепая сила, случайно карающая то преступление, то добродетель, и что его душа — это легкое дуновение, исчезающее у порога могилы?

Разве мысль о небытии вызовет в нем более чистые и возвышенные побуждения, чем идея бессмертия? Разве она вызовет в нем больше уважения к ближним и к самому себе, больше храбрости для борьбы с тиранией, больше презрения к смерти и к чувственным наслаждениям? Несчастные, умирающие под ударами убийцы, ваш последний вздох взывает к вечному правосудию. Невинность, возведенная на эшафот, заставляет бледнеть тирана, сидящего в своей триумфальной колеснице; какое преимущество остается за ней, если могила сравнивает и притеснителя и угнетенного?

И Робеспьер очень хорошо показывает, что, ставя свою положительную программу, он интересуется не философской, не теоретической, а исключительно практической стороной дела.

— Законодатели, какое вам дело до различных гипотез, при помощи которых отдельные философы объясняют явления природы? Все эти вопросы вы можете оставить предметом их бесконечных споров: вы не должны рассматривать их ни как метафизики, ни как богословы; в глазах законодателя *истиной является все то, что оказывается полезным в жизни и хорошим на практике.*

Идея верховного существа и бессмертия души является по-

стоянным напоминанием о справедливости; следовательно, эта идея носит республиканский и общенародный характер!

Доказывая рациональность и практическую полезность веры в верховное существо, Неподкупный предостерегает Конвент от ошибок, подобных «дехристианизаторскому» движению.

Вместе с тем, подчеркивает он, новый культ не имеет ничего общего со старым; к старому возврата быть не может, и католические попы не должны тешить себя напрасными иллюзиями.

— Истинный жрец верховного существа — Природа, его храм — вселенная, его культ — добродетель, его праздники — радость великого народа, собравшегося на его глазах с целью упрочить отрадные узы всемирного братства и вознести ему хвалу из глубины чувствительных и сильных сердец.

И в заключение речи, под снова и снова возникающие аплодисменты, Робеспьер предлагает общественное воспитание детей в духе новых этических принципов и установление системы национальных празднеств.

Депутаты стоя приветствуют Неподкупного. Конвент провозглашает признание французским народом верховного существа и бессмертия души; он объявляет, что «культом, достойным верховного существа, является исполнение человеком своих гражданских обязанностей»; особые праздники должны напоминать гражданину об идее божества и его величии.

Речь Робеспьера и декрет 18 флореаля встретили многочисленные отклики по всей Франции. В Конвент посылались приветственные адреса, с поздравлениями прибывали депутации от различных народных обществ. Но одновременно усиливалась и злоба.

Новая попытка Робеспьера была обречена на провал. Как мелкой благотворительностью нельзя было снять рабочего вопроса, так и религия не могла разрешить насущных социальных проблем. Рассчитывать, что новая вера объединит французский народ и ликвидирует язвы буржуазного общества, мог только добродетельный Робеспьер. Впрочем, и у него были свои сомнения. Ратуя за культ верховного существа, Неподкупный не собирался ослаблять террор. По его требованию Журдан-головорез был привлечен к ответственности: его не спасло заступничество Ровера, и злодей был казнен. Робеспьер дал санкцию на сожжение гнезда заговорщиков, мятежной деревни Бедуен. Им же всего через два дня после 18 флореаля был составлен проект инструкции грозной Оранской комиссии, которую организовал Комитет общественного спасения для обуз-

дания мятежного юга. Эта комиссия, судившая без присяжных, на основании только «...совести судьи, освещаемой любовью к справедливости и к отечеству», действовала с примерной строгостью: из 591 обвиняемого, дела которых она рассмотрела, 332 были приговорены к смерти.

И тем не менее где-то в тайниках души Неподкупный надеялся, что его новая идея облегчит борьбу и укажет путь к будущему.

В жизни иного человека выдается необыкновенно счастливый день, который становится вершиной жизни. Он искупает горе и отчаяние, труды и жертвы, серость и безотрадность многих прошедших лет; он подобен внезапному лучу света; он напоминает животворную силу весны; он дает высшую преображающую радость. День этот неповторим: прошел он, и не жди его снова. Никогда уже не засверкает солнце столь ярко, никогда небо не будет таким голубым, а листва такой зеленой; все померкло и сникло после каскада высшего счастья, мгновенья взлета всех творческих, духовных сил...

Таким днем для Робеспьера было 20 прериаля (8 июня), день, назначенный для праздника в честь верховного существа.

Казалось, сама природа приносила свои поздравления Неподкупному. Все было ярким, ослепительным, Париж давно не видел такой чудной солнечной погоды. Город помолодел и стал наряднее: дома были убраны зелеными ветками и гирляндами, улицы усыпаны цветами, из окон виднелись флаги, увитые трехцветными лентами. В восемь часов утра прогремели пушечные выстрелы, и толпы народа устремились в Тюильрийский сад. Люди оделись по-праздничному. Женщины несли букеты цветов, мужчины — дубовые ветки. У всех было приподнятое настроение; граждане, еще вчера не знавшие друг друга, сегодня сердечно обнимались и желали взаимного счастья!

Постепенно начали сходиться члены Конвента. Они были в парадном одеянии — с султанами на шляпах и в трехцветных шарфах. Для них был построен деревянный амфитеатр, против которого высилась колоссальная группа чудовищ: Атеизма, Эгоизма, Раздоров и Честолюбия. Согласно плану главного распорядителя Давида эта группа подлежала сожжению и должна была открыть вид на статую Мудрости, попиравшую останки повергнутых пороков. Народ приветствовал своих депутатов. Робеспьер, которого специально избрали председателем Конвента, почему-то запаздывал.

— Он разыгрывает из себя короля! — пробурчал кто-то.

Но вот показался и он. Что это? Неподкупный был неузнаваем. Казалось, он помолодел на десять лет. Его походка стала быстрой и упругой, его сутулость куда-то исчезла. Новый костюм — голубой фрак, золотистые панталоны, белое жабо и такой же жилет — как-то удивительно гармонировал с небом, солнцем, светом. В руке он держал букет из цветов и колосьев. Но самым поразительным было его лицо. Одухотворенное радостью и умилением, оно казалось прекрасным; все маленькие морщинки вдруг пропали, а глаза стали голубыми и глубокими, как небо: в них отражалась сама природа.

Народ встретил Робеспьера шумно и сердечно; зато коллеги награждали его косыми взглядами и злобными улыбками.

— Смотрите, как его приветствуют! — перешептывались депутаты, и в этих словах зависть сливалась с сарказмом. Но он ничего не замечал.

Он произнес короткую приветственную речь. Затем, спустившись со ступеней амфитеатра, подошел к группе чудовищ и поджег их. Огонь запылал. Картон и фанера быстро обугливались и обращались в прах. Он стоял и пристально смотрел на огонь, пожирающий Зло. Но что это? Костер разгорелся слишком сильно; огонь спалил покров статуи Мудрости, и она предстала перед зрителями совершенно черной и дымящейся... Лицо Робеспьера на момент дрогнуло и исказилось. Но это был только момент.

Конвент в сопровождении народа направился к Марсову полю. Необычное зрелище представилось зрителям, усеявшим длинный путь от Тюильрийских ворот до Триумфальной арки. Впереди двигались барабанщики, конные трубачи, музыканты; потом шли люди, вооруженные пиками, катили пушки; медленно передвигалась колесница с деревом свободы и эмблемами плодородия; двумя колоннами дефилировали двадцать четыре секции; шествие замыкали солдаты регулярной армии. А затем вдруг открывалось пустое пространство. И вот в этом пространстве под приветственные крики толпы медленно и одиноко шел маленький человек в белом парике и светлом костюме. Его враги, умышленно замедляя шаг, задерживая сзади идущих, старались как можно более увеличить расстояние между ним и собою.

— Люди! Смотрите на гордеца, смотрите на диктатора!

Но он по-прежнему, казалось, ничего не замечал. Уже в течение двух часов он плыл по реке цветов и приветствий, вырывавшихся из сотен тысяч грудей, из недр самого Парижа. Это был голос целой нации. И голос этот кричал:

— Да здравствует республика! Да здравствует Робеспьер!

Посреди Марсова поля была устроена символическая гора. Когда Конвент разместился на ней, народ и его представители исполнили гимн верховному существу. Звуки фанфар слились с пением пятисот тысяч людей. Молодые девушки бросали в воздух цветы. Юноши поднимали обнаженные сабли, давая клятвы не расставаться с ними впредь до спасения Франции. И среди всего этого потрясающего величия выделялся один маленький человек, окруженный со всех сторон пустым пространством.

Солнце клонилось к закату. Все измучились и устали. Первою схлынула толпа, спешившая оставить Марсово поле и разойтись по домам. Давка создалась невообразимая. Там и сям валялись брошенные колосья и раздавленные эмблемы. Поблекшие, изможденные лица матерей напоминали о заботах, ждущих в большом городе. Праздник окончился. В начавших сгущаться сумерках двинулись в обратный путь и члены Конвента. Впереди шел Робеспьер. За ним, в некотором отдалении, двигалась нестройная масса депутатов в смятых платьях, с увядшими букетами.

Максимилиан шел, полузакрыв глаза. Он безумно устал. Сейчас колоссальное напряжение дня отдавало в висках при каждом шаге. Мысли мешались... И вдруг... Не ослышался ли он?.. Не галлюцинация ли это, не бред ли усталого мозга? Нет... Сзади журчат голоса. Это какой-то хор демонов. Это злобные завывания. Это проклятия... По чьему же адресу? Напряженно вслушиваясь, Робеспьер улавливает отдельные слова, целые фразы.

— Видишь этого человека? Ему мало быть повелителем, он хочет быть богом!..

— Великий жрец! Тарпейская скала недалеко!..

— Бруты еще не перевелись!..

— Диктатор! Тиран! Возмездие настигнет тебя!..

— Будь ты проклят!..

— Смерть злодею!..

Нет, это не был обман слуха. Голоса звучали почти шепотом, но именно поэтому они выделялись из общего шума. Он даже узнавал некоторые из этих голосов. Страшное оцепенение оледенило его душу. Диктатор! Тиран! Значит, они ничего не поняли. Значит, его план не удался: любовь не сплотила всех воедино. Значит, осталась страшная вражда, вражда и кровь,

кровь и смерть. Верховное существо, несмотря на все горячие призывы, не вняло Неподкупному. Все гибнет!..

Шаги нескольких сот людей гулко звучат по мостовой. В полном отупении, в состоянии прострации движется Робеспьер. Тело и душу сковала глухая боль. Оглянуться? Нет, не надо, это ни к чему...

...Семья Дюпле радостно бросилась навстречу своему жильцу, заслышав его шаги. Но едва он открыл дверь, как все остановились пораженные. Маленький, сгорбленный человек в помятом светлом костюме переступал порог, чуть не падая от страшной усталости. Его лицо, измученное, покрытое каплями пота, казалось больным и старым. Взглянув на своих близких, которых он оставил сегодня утром в таком приподнятом настроении, Максимилиан тихо сказал:

— Друзья мои, вам уже недолго осталось меня видеть...

Между 20 и 22 прериаля лежат всего один день и две ночи. Но этот короткий срок для Робеспьера был вечностью. Сколько он передумал! Сколько раз от отчаяния переходил к надежде и от надежды снова к отчаянию! Его подкосило все происшедшее. Но не в его натуре было пасовать. Он нес мир. Мира не приняли. Ладно, пусть будет война. Он не дорожит своей жизнью, но его жизнь нужна тому, кому он ее посвятил: народу. Следовательно, необходимо продолжать борьбу. Теперь он наверняка знает многое, о чем раньше только догадывался. В хоре дьявольских голосов, проклинавших его вечером 20 прериаля, он отчетливо различил голоса Бурдона, Тириона, Лекуантра... С ними, безусловно, связаны и другие. Робеспьер сопоставляет факты.

3 прериаля Комитет общественного спасения по его, Робеспьера, инициативе отдал приказ об аресте подруги Тальена, авантюристки Терезы Кабаррюс. В ближайшие сутки вслед за этим на него были организованы два покушения, и лишь случайность спасла Неподкупного от смерти.

Его бурно поздравляли с избавлением от опасности, ему аплодировал Конвент, ему предложили особую охрану — о злодеи!.. Лицемерный Барер пытался всю ответственность взвалить на Питта. Но была ли здесь виновата Англия? Не находились ли люди, вложившие оружие в руки убийц, значительно ближе?.. Ибо уже на следующий день — Робеспьеру об этом было известно благодаря тайному доносу — презренный Лоран Лекуантр, тот самый Лекуантр, голос которого вчера вечером он прекрасно распознал, составил против него обвини-

тельный акт, подписанный восемью членами Конвента и прямо призывавший к убийству «тирана»... Неужели всего этого недостаточно? Неужели суть дела не ясна? Заговор, новый заговор, коварный, неумолимый и беспощадный, опутывал Конвент. Новые мятежники готовились стать на место Дантона и Эбера. Много ли их? Кого они успели перетянуть на свою сторону? Они должны быть уничтожены, и как можно скорее. Их нужно прежде всего обезвредить. Их нужно лишить возможности не только нападать, но и защищаться. А для этого необходимо изменить самое судебную процедуру.

До сих пор преступникам помогали судейские извороты, адвокатские крючки. У бедняка нет возможности обратиться к юристу; богатый злодей пользуется продажной адвокатурой, выгораживая себя. Весь современный суд — фальшивая комедия, которая помогает ловкому преступнику избегнуть наказания.

Изобличенный враг народа прибегает к услугам адвоката не для защиты, а для нападения; под видом свидетелей он собирает вокруг себя всех своих сторонников и пытается превратить судебное заседание, как это сделал Дантон, в настоящее поле боя!

Нужно вырвать оружие из рук врага! Нужно, чтобы суд карал, и карал с возможной быстротой! Изменников необходимо выявить и предать смерти, иначе революция погибла!

Мысль о реформе Революционного трибунала давно уже возникла у Робеспьера. Месяц назад он составил инструкцию для Оранской комиссии. Инструкция принесла плоды. Теперь основную ее идею он кладет в проект реформы Революционного трибунала. Так рождается на свет страшный закон 22 прериаля.

22 прериаля (10 июня) заседание Конвента проходило в торжественной обстановке. Были приглашены оба Комитета, и почти все их члены явились. С докладом выступил Кутон. Его устами вещал Робеспьер. Осудив старое судебное законодательство, сохраненное в основном еще со времени деспотизма, оратор предостерег от смешения мер, принятых республикой для подавления заговора, с обычными функциями судов, разбирающих частные преступления.

— Преступления заговорщиков, — говорил Кутон, — угрожают непосредственно существованию общества или его свободе, что одно и то же. Здесь жизнь злодеев кладется на весы с жизнью народа, и всякое промедление преступно, всякая снисходительная формальность является излишнею и состав-

ляет общественную опасность. Сроком для наказания врагов отечества должно быть лишь время, нужное чтобы узнать их: дело идет не столько о наказании, сколько об истреблении...

Проект, предложенный Кутоном, сводился к следующему.

Революционный трибунал подлежал реорганизации. Количество присяжных сокращалось, институт защитников упразднялся. Отменялся и предварительный допрос обвиняемых; мерилом для вынесения приговоров считалась «...совесть судей, руководствующаяся любовью к отечеству». Революционный трибунал должен был судить врагов народа и мог устанавливать единственный вид наказания: смертную казнь. Понятие «враг народа» толковалось весьма расширительно. В эту категорию зачислялись не только люди, обличенные в государственных преступлениях, — изменники родины, роялисты, скупщики, спекулянты, но также и распространители ложных известий и слухов, развратители нравов и общественной совести, то есть преступники, виновные в делах не слишком определенных, под категорию которых подводилось все, что было угодно лицам, использующим данный закон.

Можно представить, как дрогнули некоторые члены Конвента, когда Кутон читал свой доклад! После минутного оцепенения, охватившего всех, поднялся депутат Рюан и воскликнул:

— Я требую отсрочки голосования! Если мое предложение не будет принято, заявляю: я застрелюсь!

Рюана поддержал Лекуантр. Барер, всегда умевший быстро приспособиться к ситуации, высказал предложение, чтобы отсрочка не превышала трех дней: этим он как бы подчеркивал, что принятие отсрочки вообще не вызывает сомнений. Билло-Варен и Колло д'Эрбуа промолчали. Но Робеспьер не собирался давать своим противникам время на подготовку. С большой горячностью он стал настаивать, чтобы декрет был вотирован на этом же заседании, если бы даже его пришлось затянуть до ночи. Требование его было удовлетворено, и ошеломленное Собрание утвердило декрет.

Этим, однако, дело не кончилось. К началу следующего дня многие опомнились. 23 прериаля дантонист Бурдон выдвинул серьезные возражения против декрета. Его поддержал Мерлен из Тионвиля. Воспользовавшись отсутствием членов правительственных Комитетов, выступавшие намеревались добиться пересмотра закона. Между тем начиналась битва и в Комитете общественного спасения. Впервые за все время своего существования Комитет обнаруживал явный раскол.

Среди коллег Робеспьера полного единства не было уже давно. Так, еще в жерминале член Комитета Робер Ленде отказался поставить свою подпись под приказом об аресте Дантона. В начале флореаля произошла открытая ссора между Сен-Жюстом и Карно, причем последний бросил полунасмешливо, полузлобно слово «диктатура». Однако против Неподкупного никто еще открыто выступать не рисковал. То, что произошло утром 23 прериаля, не имело прецедентов.

В это утро солнце припекало особенно горячо. Все окна Тюильрийского дворца были распахнуты настежь. По ходу разговора возникли пререкания. Билло-Варен упрекал Робеспьера и Кутона в том, что перед внесением в Конвент пресловутого законопроекта он не был поставлен на обсуждение в Комитете, как поступали обычно. Робеспьер возразил, что до сих пор в Комитете все делалось по взаимному доверию, и так как декрет хорош, а сверх того уже и принят, то нечего ломать копья. Билло запротестовал и повысил голос. Робеспьер с недоумением взглянул на него и, отвечая, закричал еще громче.

— Я ни в ком не вижу поддержки! — возмущался он. — Я окутан заговорами. Я знаю, что в Конвенте есть партия, желающая погубить меня, а ты, — он обращался к Билло, — ты защищаешь ее лидеров.

— Значит, — возразил Билло, — ты хочешь отправить на гильотину весь Национальный Конвент.

Эти слова привели Робеспьера в ярость, и его высокий голос стал еще более пронзительным.

— Вы все здесь свидетели, — крикнул он, — что я не говорил, будто бы хочу гильотинировать Национальный Конвент!

Смущенные члены Комитета промолчали. Барер ехидно улыбнулся.

— Теперь я тебя знаю... — продолжал Робеспьер, пристально глядя на Билло.

— Я тоже, — прервал его Билло, — я тоже знаю теперь, что ты... контрреволюционер!

Неподкупный был настолько поражен, что не выдержал. Лицо его стало конвульсивно вздрагивать, он впился пальцами в сукно обивки стола и зарыдал.

В это время в комнату вбежал один из служащих Комитета.

— Граждане, — крикнул он, — вы забылись! Взгляните!

Барер посмотрел в раскрытое окно и не без удовольствия увидел большую толпу, собравшуюся на террасе Тюильри.

Окна тотчас же захлопнули, но все уже было сказано. Неподкупный плакал. Остальные, пораженные, молча смотрели друг на друга. Плотина была прорвана. Робеспьер понял, что его и его группу в Комитете окружают враги.

Итак, не только партия в Конвенте, не только большая часть членов Комитета общественной безопасности были против него. Он не верил в полное единство своего Комитета, но никогда не подозревал, что может произойти такое. Оказывается, и здесь почва заколебалась. На что же решиться? Отступить? Нет, теперь отступление равносильно гибели. И, видя это, Робеспьер с яростью бросается вперед. Его ближайший соратник Кутон — Сен-Жюста в то время не было в Париже — поддерживает его.

24 прериаля в Конвенте первым опять выступает Кутон. Он клеймит позором вероломных и трусливых клеветников, которые в их отсутствие пытались опорочить и сорвать принятый декрет. Перетрусивший Бурдон начинает оправдываться и лепечет в смущении, что он уважает Кутона, уважает Комитет, уважает непоколебимую Гору, которая спасла свободу. Но его властно обрывает Робеспьер, заявляющий, что Комитет нельзя отделять от Горы, ибо Конвент, Гора, Комитет — это одно и то же.

— Было бы оскорблением отечеству, — прибавил Робеспьер, — допускать, чтобы несколько интриганов, более других презренные потому, что они более их лицемерны, старались увлечь часть Горы и сделаться главарями партии.

Бурдон, в свою очередь, перебивает Робеспьера.

— Я требую, — кричит он, — чтобы доказали то, что здесь говорят! Сейчас было довольно ясно сказано, что я злодей.

Ответ Неподкупного был краток и ужасен:

— Я не называл имени Бурдона. Горе тому, кто сам называет себя!

Бурдон хотел возразить, но не смог. От страшного волнения он захлебнулся и упал на скамейку. Его сковал такой ужас, что друзья думали, не лишился ли он рассудка. Во всяком случае, после этого инцидента он месяц пролежал в постели, и врачи опасались за его жизнь. Не лучшим казалось и положение его единомышленников. Мерлен благоразумно набрал в рот воды, а Тальен, которому также досталось от Робеспьера, поспешил ответить слезливым письмом, в льстивых и заискивающих выражениях умоляя о пощаде.

Как будто бы в Конвенте решимостью Робеспьера и Кутона была одержана полная победа. Неподкупному аплодировали все: и друзья, и враги, и трусливое, безгласное «болото».

Законопроект 22 прериаля стал законом.

Неподкупный торжествовал. Но понимал ли он в полной мере, что творил? Безжалостно преследуемый врагами, чувствующий, что под ним колышется почва, но уверенный в своей правоте, он, сам не сознавая, постепенно начинал отождествлять себя с делом, во имя которого боролся. Но с тех пор как Робеспьер отождествил себя с революцией, террор должен был сделаться для него исключительно средством самозащиты, самосохранения. Закон 22 прериаля и был в первую очередь актом подобной самозащиты. Это само по себе приводило к последствиям, крайне далеким от того, о чем мечтал Неподкупный когда-то. Но и помимо этого, все страшно осложнялось.

Прериальский закон мог бы, конечно, на какое-то время сделаться сокрушительной силой в руках робеспьеровского правительства, если бы это правительство было единым. Однако к моменту принятия закона единства уже не существовало, причем большинство в правительственных Комитетах оказалось не на стороне Робеспьера. В его руках еще оставалась могучая сила: он был кумиром Якобинского клуба, перед ним трепетал Конвент. Но вся трагедия его заключалась в том, что он терял власть в единственной инстанции, посредством которой рассчитывал пустить в действие свой страшный закон: в Комитете общественного спасения. Прежде нежели в пылу борьбы он понял это, шаг был уже сделан. И что же он мог теперь предпринять? Получалось так, что, выковывая для себя грозное оружие, он вскоре увидел это оружие обращенным против себя. В этом враги его разобрались быстрее, чем он. Выходя из зала заседаний, член Комитета Робер Ленде сказал коварному Вадье:

— Неподкупный в наших руках. Он сам роет себе могилу.

Это была правда. Всегда предусмотрительный, осторожный и мудрый, Робеспьер вдруг оступился. Обстоятельства захлестывали его.

Он шел долгой дорогой. Сначала она была прямой как стрела, потом стала петлять, а теперь ее контуры все более исчезали в зарослях бурьяна. Это была дорога никуда. И он не мог не чувствовать этого.

Глава 7

Дорога никуда

Что же произошло, однако? Почему все так быстро переменилось? Еще вчера общепризнанный вождь, самый авторитетный член правительства, сегодня Неподкупный вдруг оказался третируемым самозванцем, ненавистным тираном, чуть ли не контрреволюционером? Откуда взялся этот легион врагов? Почему Комитеты, даже Комитет общественного спасения, его «министерство», вдруг отступились от него?

Внезапность была кажущейся. Начало рокового клубка терялось в прошлом. Но к тому времени, когда Робеспьер все понял, ничего изменить уже было нельзя.

В основе нового заговора находились те же движущие силы, которые некогда создали фракцию «умеренных»: их невозможно было ликвидировать, пока не были бы уничтожены условия, порождавшие новую буржуазию. А это оказалось не по плечу робеспьеристам. Новая буржуазия, сложившаяся в ходе революции, чувствовала себя хозяином страны. Феодализм был ликвидирован, абсолютная монархия пала, старая регламентация, сковывавшая промышленность и торговлю, стала достоянием истории; за годы революции львиная доля недвижимого имущества прежних привилегированных перешла в руки той же буржуазии. Чего же еще? Казалось, теперь бы только жить да приумножать богатства! Но вся беда «нуворишей» как раз и заключалась в том, что жить спокойно они не могли! Никто из «хозяев страны» не знал наверняка: будет ли он завтра преуспевать или ему отрубят голову? По мере того как новая буржуазия росла и крепла, революционное правительство и режим террора становились ей все более ненавистны. С ними было можно еще считаться, пока существовала угроза внешнего удушения. Но эта угроза давно миновала! Зачем же терпеть постоянный страх? Во имя чего слушать бредовую болтовню худосочного Робеспьера и его друзей? К черту их всех, к черту революционное правительство с его террором, максимумом, вантозскими декретами и прочими милыми вещами!

Но от мыслей и слов до дела еще далеко. Первыми поднялись Дантон и его ближайшее окружение. Дантон действовал хитро, с оглядкой; он никогда не выдавал своих мыслей, он прятался за спину других, он пытался задобрить Неподкупно-

го. Все это не помогло. Трибун «нуворишей» был разоблачен и погиб. За ним потянулся кровавый хвост.

Тогда новые собственники поняли, что их час еще не настал. Нет, сокрушить революционное правительство, созданное народом и опирающееся на народ, не так-то просто! Прежде чем получишь головы Робеспьера и Сен-Жюста, потеряешь свои! И смущенные, перетрусившие «хозяева страны» на время замолкли и стихли. Казалось, они примирились с новым порядком вещей. Казалось, они искренне аплодируют Робеспьеру и поддерживают все его предложения. Но так только казалось.

В середине жерминаля был завершен разгром дантонистов, а уже в первые дни флореаля начал складываться новый заговор. Его зачинатели действовали еще хитрее, чем их предшественники. Прежде чем Неподкупный догадался об их планах, они успели зайти далеко. Но кто же были они?

На главную роль среди заговорщиков претендовал Жан Ламбер Тальен. Это был, что называется, пробивной малый. Сын метрдотеля, ученик нотариуса, затем типографский служащий, он быстро и ловко сделал свою карьеру в революции. Склонный к театральному жесту, умеющий щегольнуть фразой, Тальен пробрался в руководители Якобинского клуба, был избран в Коммуну и в Конвент. Полностью раскрыть свою «богатую натуру» он смог после того, как был назначен посланцем Конвента в Бордо. Здесь, продолжая маскироваться левыми жестом и фразой, он широко использовал террор в целях обогащения и сведения личных счетов. Пленившись дочерью испанского банкира, красавицей Терезой Кабаррюс, Тальен женился на ней и через нее связался с бордоскими негоциантами — целой сворой темных дельцов, — совместно с которыми проводил планомерное ограбление города. Под видом реквизиций этот лихоимец захватывал в голодающем Бордо не только запасы продовольствия и тонкие вина, но также драгоценности, золото и серебро, конфискованные у «бывших». Вместе с окружавшими его хищниками он сумел присвоить миллион триста двадцать пять тысяч франков. Действуя подобными методами, Тальен в сравнительно короткий срок сколотил богатства, позволившие ему приобрести поместья в Нормандии, дававшие до пятнадцати тысяч ливров годового дохода. Вполне понятно, что этот спекулянт и делец глубоко ненавидел и страшно боялся обличавшего его Робеспьера. Боялся и скрывал свой ужас под маской лжи и лести.

Достойным приятелем и помощником Тальена был Фрерон, однокашник Робеспьера и Демулена по коллежу. Посланный в Марсель, этот деятель установил там вместе со своим колле-

гой Баррасом жестокий террор, соперничая с Колло д'Эрбуа и Карье. Террор проводился исключительно в целях личного обогащения. При этом марсельские «охранители порядка», точно так же как и Тальен, не чуждались прямого воровства.

Когда Фрерону и Баррасу после их отозвания из Марселя было предложено внести в государственное казначейство подотчетные восемьсот тысяч франков, мошенники вместо этого подали докладную записку о том, как их экипаж опрокинулся в канаву, а деньги... оказались утеряны (!!!). Друзья в казначействе кое-как замяли инцидент, но надолго ли? Пока у власти находился человек, именуемый Неподкупным, расхитители не могли иметь ни минуты покоя.

Ближайшее окружение Тальена, Фрерона и Барраса составляли такие же дельцы, подобные же двуликие политики. Это были грубый Бурдон (из Уазы), беспощадный и предприимчивый Мерлен (из Тионвиля), коварный Лежандр, крупный спекулянт Ровер, вероломный Лекуантр. Характерной чертой большинства этих деятелей было умение приспособиться к моменту и использовать его для себя. Будучи типичными правыми по своим взглядам и целям, они, следуя «моде», рядились в одежды левых и, восхваляя террор, всячески его дискредитировали, равно как и весь революционно-демократический режим в целом. Подобная мимикрия в дальнейшем помогла группе Тальена сблизиться с левыми группировками Конвента и Якобинского клуба.

Итак, до поры до времени первые заговорщики, еще не очень многочисленные, робкие и неуверенные, прикрывавшиеся защитным цветом, творили свое дело под покровом тайны. Они отыскивали сочувствующих в Конвенте и уповали на будущее. И вдруг их объяла злобная радость: они почуяли раскол, начинавшийся внутри правительства.

Революционное правительство по идее было двуединым: его два Комитета обладали в принципе одинаковой властью и по всем важным вопросам должны были выносить совместные решения. Однако с течением времени это равенство стало все более нарушаться в пользу Комитета общественного спасения. Робеспьер, возглавлявший этот Комитет, постоянно прилагал усилия к тому, чтобы сконцентрировать всю полноту власти в его руках. Особенно много в этом плане было сделано в период жерминальских процессов. При разборе дела Ост-Индской компании основной докладчик, член Комитета общественной безопасности Амар построил все обвинение так, что политический смысл его оказался затушеванным. Робеспьер при под-

держке Билло-Варена не замедлил указать на это, и указать в достаточной мере резко, что вызвало чувство мстительной злобы со стороны Амара. Обвиняя Амара, Неподкупный проявил недоверие к Комитету общественной безопасности в целом. С той поры доклады по всем важным вопросам Комитет общественного спасения брал на себя, причем доклады эти, как правило, делали Робеспьер, Сен-Жюст или Кутон. 27 жерминаля (16 апреля) по предложению Сен-Жюста Конвент принял весьма важный декрет о создании при Комитете общественного спасения Бюро общей полиции, во главе которого оказался поставленным сам докладчик, причем в случае отсутствия Сен-Жюста его должны были замещать Робеспьер или Кутон. Теперь Комитет общественного спасения не только взял перевес над Комитетом общественной безопасности, но и получил возможность эффективно контролировать всю сферу его деятельности. Это вызвало возмущение со стороны большинства ущемленного Комитета. Амар, Вадье и другие стали жаловаться на триумвират, заявляя, что новые порядки связывают их по рукам и ногам, мешают деятельности их агентов и т. д. Так как у этих лиц и ранее были значительные разногласия с Робеспьером по ряду социальных и идеологических вопросов, то теперь они стали относиться к триумвирату с плохо скрываемой ненавистью. Только два члена Комитета общественной безопасности — Леба и Давид — оставались верными сторонниками Максимилиана, но они не могли сделать погоды.

Все это, впрочем, представляло полбеды. Если бы Комитет общественного спасения оставался единым, то, разумеется, злоба Вадье, Амара или Вулана была бы ему не страшна. Однако все явственнее стали обнаруживаться разногласия и внутри главного правительственного Комитета. Из одиннадцати его членов Робеспьер пользовался безусловной поддержкой лишь со стороны Сен-Жюста и Кутона. Два члена Комитета — Билло-Варен и Колло д'Эрбуа — принадлежали к левым, двое — Карно и Приер (из Кот-д'Ор) — занимали обособленную позицию, враждебную к робеспьеристам, Робер Ленде благоволил к умеренным, Барер интриговал, наконец, двое оставшихся — Жанбон Сент-Андре и Приер (из Марны) — не принимали участия в делах правительства, находясь в постоянных командировках.

Билло-Варен и в особенности Колло д'Эрбуа в прошлом были связаны с эбертизмом. И хотя они отреклись от Эбера, их старые взгляды не претерпели больших изменений. Они оба сотрудничали с Робеспьером, но многим оставались недовольны. Им не нравились послабления в системе максимума, которые

были сделаны в пользу буржуазии. Их возмущала религиозная политика Робеспьера, в которой они не видели ничего, кроме ханжества и лицемерия. Наконец, их сильно беспокоила возраставшая популярность Неподкупного, казавшаяся особенно подозрительной благодаря некоторым индивидуальным чертам вождя якобинцев.

Робеспьер, всегда отличавшийся глубокой искренностью, не щадил самолюбия своих коллег. Упреки и наставления срывались с его уст значительно чаще, чем похвалы и комплименты. Строгий к себе, он был не менее строг и по отношению к другим. Обманутый прежними друзьями, он нелегко сходился с новыми и к большинству своих товарищей по Комитету относился с холодной сдержанностью, которая была им непонятна и неприятна. Если к этому добавить, что Робеспьер оставлял лично для себя или своих ближайших соратников доклады по наиболее важным вопросам, что он, мотивируя свои мысли и выводы, часто и много говорил о себе, что некоторые свои предложения он ставил прямо в Конвенте, не обсудив их предварительно с членами Комитета, то станет ясно, почему Колло д'Эрбуа, Билло-Варен и их близкие начали относиться к Максимилиану с предубеждением и недоверием. Особенно это недоверие было сильным у Билло-Варена, нетерпимого к популярности отдельных лиц и к чрезмерным авторитетам. Прислушиваясь к сигналам из Комитета общественной безопасности, а также к нашептываниям лукавого Барера, Билло все более верил басням о близкой «тирании» и «диктатуре». В начале флореаля он, не называя имени, сделал первый выпад. «Всякий народ, ревнивый к своей свободе, — сказал Билло, — должен держаться настороже даже против добродетелей тех людей, которые занимают высокие места». Всем было ясно, в чей огород брошен камень. Билло пошел дальше. Он начал распространяться о тиранах древности, подпуская, между прочим, довольно прозрачные намеки на современность. «Лукавый Перикл, — вещал оратор, — употреблял народные цвета, чтобы прикрыть те оковы, которые он ковал для афинян. По его словам, прежде чем взойти на трибуну, он внушал самому себе: «Помни, что ты будешь говорить свободным людям». И тот же Перикл, добившись абсолютной власти, сделался самым кровожадным деспотом». Робеспьер притворился глухим, дабы не растравлять ран. Но другие не страдали глухотой. Подобные высказывания Билло весьма импонировали надменному Карно, и хотя он был далек от левых, на данной почве оба члена Комитета нашли общий язык. «Горе республике, — писал Карно в одном из своих докладов, — для кото-

рой достоинство и даже добродетели какого-нибудь человека сделались необходимыми!»

Между Карно и Робеспьером отношения были натянуты с давних пор. Еще в большей степени не переносили друг друга Карно и Сен-Жюст, расходившиеся по конкретным вопросам стратегии и тактики. Крупный военный инженер и выдающийся организатор, Лазар Карно, призванный революцией к руководству обороной, много и плодотворно потрудился на своем поле деятельности. Однако он не страдал скромностью. Будучи постоянным центром притяжения не только для генералитета и военных специалистов, но также и для всякого рода поставщиков, скупщиков и т. д., Карно, самоуверенный и спесивый, стремился вместе со своим коллегой Приером отгородиться от других членов Комитета и проводить самостоятельную политику. Объективно покровительствуя планам новой буржуазии, Карно стоял на той точке зрения, что войне надо придать агрессивный характер. Считая, что войну следует вести на средства покоренных стран, Карно рекомендовал, в частности, «обобрать» Бельгию. Но на пути к реализации подобных планов непоколебимо стояли Робеспьер и его соратники; верные своим принципам и идеям, они по-прежнему мечтали о «заре всемирного счастья» и решительно противились перерастанию освободительной войны в войну грабительскую, захватническую. Было ясно, что робеспьеристы не допустят сбрасывания со счетов своих самых светлых идеалов. Группа Робеспьера и группа Карно не могли найти общего языка. С новыми победами это становилось очевидным, и взбешенный Карно также заговорил о диктатуре и тирании, вторя обвинениям левых.

Таким образом, атмосфера в Комитете накалялась, и взрыв был неминуем. Он и произошел на следующий день после принятия закона 22 прериаля, когда Билло-Варен, не стесняясь присутствием толпы, прямо обозвал Неподкупного контрреволюционером и обвинил его в желании гильотинировать весь Конвент. Подобное обвинение в устах Билло-Варена звучало более чем странно. Не менее странными выглядели едкие сарказмы по поводу прериальского закона, которыми за глаза осыпали Робеспьера левые Колло д'Эрбуа, Вадье и Вулан. Действительно, кому, казалось бы, мог прийтись по душе кровавый декрет более, чем Колло д'Эрбуа, расстреливавшему людей картечью? Кто мог радоваться ему искреннее мрачного Билло-Варена, не знавшего пощады? И разве он не был на руку таким убежденным сторонникам террора, как Вадье или Вулан? И, однако, именно эти лица оказались в авангарде недовольных.

Впрочем, вряд ли когда-нибудь существовало более лицемерное недовольство. На самом деле новый декрет наполнил души Билло и его друзей злобной радостью. Они нашли ахиллесову пяту Робеспьера. Неподкупный добивался утверждения прериальского закона. Что ж, теперь он будет за него отвечать! Теперь на его плечи можно будет взвалить вину за любую кровь, пролитую по любому поводу! И когда народ, уставший от казней, с недоумением обратит свой взор к правительству, ему будет даваться неизменно один и тот же ответ: «Этого хотел Неподкупный!»

И Комитеты принялись за «работу». В то время как Сен-Жюст сражался с армиями интервентов, а Робеспьер все реже появлялся на заседаниях Комитета общественного спасения, последний и в особенности с его санкции Комитет общественной безопасности начали лихорадочно осуществлять «программу крови», программу, задуманную с тем, чтобы свалить ненавистный триумвират.

Наступало царство «святой гильотины». Головы скатывались к подножию эшафота, как спелые плоды. За сорок пять дней, начиная с 23 прериаля, Революционный трибунал вынес 1350 смертных приговоров — почти столько же, как за пятнадцать предшествующих месяцев. Вследствие ускоренного порядка судопроизводства приговоры незамедлительно следовали один за другим и тут же приводились в исполнение. Судьба человека подчас завершалась с такой быстротой, что дух захватывало: в пять часов утра его арестовывали; в семь — переводили в Консьержери; в девять — сообщали обвинительный акт; в десять — он сидел на скамье подсудимых; в два часа дня получал приговор и в четыре — оказывался обезглавленным. На всю процедуру — от ареста до казни — уходило менее полусуток!.. Правительственные Комитеты ежедневно препровождали в Революционный трибунал десятки жертв, но некоторые дни оказывались особенно обильными; так, 3 термидора были изданы два постановления, посылавшие на скамью подсудимых в совокупности 348 человек. Очень часто к одному и тому же делу привлекали обвиняемых, которые даже не знали друг друга. Шпионы в тюрьмах, подслушав какие-нибудь неосторожные слова, составляли наобум списки мнимых заговорщиков, в которые заносили десятки, а то и сотни имен. На основании подобной системы обвинения трибунал осудил 73 «заговорщика» Бисетра и 156 «заговорщиков» Люксембургской тюрьмы. Но как ни быстро опорожнялись тюрьмы, поставляя



Шомет.



Эбер.

Леба.

жертвы эшафоту, наполнялись они еще быстрее. К 23 прериаля в Париже был 7321 заключенный, полтора месяца спустя их стало 7800.

Кто же были эти тысячи новых арестантов и сотни новых жертв гильотины? Робеспьер, судорожно добиваясь проведения прериальского закона, имел в виду прежде всего устранить «нескольких змей», сравнительно небольшое число крупных своих врагов, членов Конвента, которых он определенно знал как участников антиправительственного заговора. Однако ни один из этих деятелей не был не только казнен, но даже арестован. Жестокий прериальский закон ударил не по тем, против кого он предназначался. Направляемый опытными и злыми руками в период дальнейшего вызревания антиробеспьеровского заговора, закон этот должен был подорвать популярность Неподкупного, ослабить его авторитет, заставить массы отвернуться от него. Жертвами этого закона наряду с некоторым числом действительных спекулянтов, саботажников и мелких врагов республики стали случайные, часто ни в чем не повинные люди: обыватели парижских предместий, уличные торговцы, недовольные своим положением бедняки. Посылая легионы подобных «заговорщиков» в руки палача, те, кто осуществлял эту операцию, как бы молчаливо указывали парижскому народу: «Смотрите! Так хотел Неподкупный!..»

Среди дел, проведенных Революционным трибуналом в конце прериаля, особенно выделялся «заговор иностранцев», или, иначе, дело «Красных рубашек».

В ночь с 3 на 4 прериаля (22—23 мая) патруль, проходивший по площади у театра Фавар, вдруг услыхал отчаянные крики. Крики неслись из дома № 4, где жил Колло д'Эрбуа. Бросились туда. На лестнице стоял Колло, бледный и покрытый потом; рядом валялись обломки сабли. Колло сообщил, что вырвался из рукопашной схватки, причем в него были сделаны два пистолетных выстрела, ни один из которых не попал в цель. Убийца забаррикадировался в комнате и кричал, что будет стрелять в каждого, кто попытается войти. Слесарь Жеффруа, не посмотрев на угрозы, открыл дверь и тут же упал, раненный в плечо. Преступника схватили. Он оказался человеком лет пятидесяти. Имя его было Амираль; он служил конторщиком при национальной лотерее. Его допросили. Он не скрывал, что целью его было убийство, однако не Колло д'Эрбуа, а Робеспьера. С целью подловить Робеспьера он пришел накануне в Конвент и стал дожидаться своей жертвы. В Кон-

венте шли прения. Длинный доклад Барера усыпил преступника, а когда он проснулся, Неподкупный уже ушел. Тогда с досады Амираль решил убить кого-нибудь другого, и тут его выбор остановился на Колло, в одном доме с которым он жил.

В тот же день, около девяти часов вечера, на квартиру к Робеспьеру пришла молодая девушка, дочь торговца бумагой, назвавшая себя Сесилью Рено. Узнав, что Максимилиана нет дома, она стала бурно возмущаться и заявила, что должностное лицо обязано принимать посетителей. Ее настойчивость, тон ее речей и все поведение показались подозрительными. Ее задержали и обыскали. Были обнаружены два ножа.

— Зачем она пришла к Робеспьеру?

— Посмотреть, как выглядит тиран.

— А как намеревалась она употребить ножи?

— Никак.

Последний ее ответ противоречил всему остальному. Она не скрывала ненависти к республике, заявила, что одного короля предпочитает пятидесяти тысячам тиранов, причем в заключение отметила свою готовность идти в тюрьму и на гильотину.

Расследование дела арестованных взял на себя Комитет общественной безопасности. Вместо того чтобы заняться разыскиванием действительных виновников, вложивших оружие в руки убийц, — а найти их было вовсе не трудно, и члены Комитета их хорошо знали, — делу было придано совершенно иное направление. Заметая следы и вместе с тем желая сделать Робеспьера ответственным за смерть массы людей, казненных во имя «тирана», усердные интриганы из Комитета решили превратить Сесиль Рено и Амираля в участников огромного «заговора», весьма далекого от истинных заговорщиков. С этой целью Комитет провел десятки беспорядочных арестов, задерживая случайных людей по чисто внешним признакам. Были арестованы отец и три брата преступницы; двое из них, служившие в армии, были предварительно вызваны в Париж. Затем арестовали школьного учителя Кардинала за то, что он оскорбительно отозвался о Робеспьере; некоего Пэна д'Авуана — за то, что в начале прериаля он обедал с Амиралем; гражданку Ламартиньер, любовницу Амираля; некоего Порбефа — за то, что, когда он узнал об аресте убийцы, у него вырвалось восклицание: «Очень жаль!»; гражданку Лемуан — за то, что Порбеф говорил в ее присутствии.

Но этого мало. «Заговору» нужно было придать иностранную окраску и связать его с «бывшими». Тут вспомнили пресловутого барона Батца и его друзей. И хотя не имелось ни-

каких материалов, которые указывали бы на связь дела Амираля и Сесили Рено с этим неуловимым авантюристом, их решили объединить.

В те времена, когда Батц еще пребывал в Париже, он держал в целях маскировки несколько квартир. Между прочим, он проживал на улице Гельвеция у некоего Русселя. Об этом узнали. Руссель, привлеченный к допросу, рассказал, что познакомился с Батцем у актрисы Гран-Мезон, владевшей загородным домом в Шарроне, где встречались обычно сообщники Батца. Гран-Мезон была тотчас же включена в список «заговорщиков». Вместе с ней привлекли нескольких прежних аристократов: Лаваля де Монморанси, принца Рогана-Рошфора, графа де Понса, виконта де Буассанкура, отца и сына Сомбрейлей, графа Флера и других.

К этому же делу, из особых видов, притянули и семейство Сент-Амарант, арестованное еще 10 жерминаля по другому обвинению.

Гражданка Сент-Амарант до революции держала притон, в котором ее высокопоставленные посетители развлекались карточной игрой и другими более легкомысленными утехами. Своего ремесла почтенная дама не оставила и в дальнейшем; менялись только ее клиенты. Сначала это были Мирабо и его друзья, затем жирондисты, наконец, самыми желанными завсегдатаями снимаемых ею на улице Пале-Рояль салонов сделались Дантон, Шабо и Эро де Сешель. Дочь этой особы, бывшая замужем за неким Сартином, своими взглядами и образом жизни ни в чем не уступала матери. Долгое время эта семья, как и ее заведение, казалась неуязвимой, ибо ей всегда покровительствовал кто-либо из власть имущих. Но затем, когда в первые дни жерминаля меч закона повис над лидерами «снисходительных», Сен-Жюст обратил внимание на это гнездо разврата; по его инициативе мать, дочь и зять были арестованы и заключены в тюрьму. Теперь вдруг члены Комитета общественной безопасности о них вспомнили. И по какому поводу? По той простой причине, что привлечением обеих Сент-Амарант можно было придать всему делу некоторую пикантность. Кем-то из врагов робеспьеристов была пущена в ход басня, будто Сен-Жюст ополчился против Сент-Амарант потому, что младшая из них отказалась стать его любовницей. Одновременно утверждали, что сам Неподкупный проводил ночи в притоне Сент-Амарант, где напивался и выбалтывал государственные тайны. Более гнусную и несуразную клевету, не имевшую и тени правдоподобия, состряпать было трудно. И, однако, хотя никто не мог ей верить, хотя она с легкостью опровергалась фак-

тами, ее охотно передавали из уст в уста, передавали шепотом, оглядываясь и грязно хихикая. «Осуждением и казнью этих людей, — шептали клеветники, — Робеспьер и Сен-Жюст хотят спрятать концы в воду и уничтожить следы своих ночных похождений...»

Бросалось, наконец, в глаза, что к «заговорщикам» были присоединены бедняки, люди из простонародья, зарабатывавшие горьким трудом крохи на жизнь. К числу их относилась, например, семнадцатилетняя портниха Николь, жившая на чердаке и не имевшая другого имущества, кроме груды лохмотьев, на которых спала. В чем состояла ее вина? Неизвестно. Ее упрекали единственно в том, что она носила пищу к Гран-Мезон.

Всего набрали пятьдесят четыре человека. К ним в последний момент подключили четырех полицейских, которые слыли недоброжелателями Робеспьера. Дело по совокупности назвали «заговором иностранцев» и передали в Революционный трибунал. 29 прериаля Фукье-Тенвиль предложил применить в отношении всех подсудимых смертную казнь, и присяжные утвердили приговор.

Жуткую картину представляло шествие на казнь. Комитет общественной безопасности всех смертников провозгласил «отцеубийцами». Их одели в длинные красные рубахи и разместили на девяти телегах. Место казни с площади Революции перенесли на площадь Трона, в силу чего ужасной процессии приходилось следовать через все Сент-Антуанское предместье, населенное рабочим людом. В этом был также особый замысел. В течение трех часов дребезжали по мостовой страшные колесницы, наполненные людьми, одетыми в красное, среди которых были женщины, молодые девушки, почти дети.

— Вот процессия, напоминающая шествие кардиналов, — хохотал Фукье-Тенвиль, намекая на «папу» — Робеспьера.

Больше всех радовался один из главных организаторов затеи — жестокий Вулан.

— Идемте к алтарю, — взывал он к своим коллегам, — насладимся кровавой мессой... — И затем, вторя агентам Комитета, сопровождавшим телеги, он кричал громче всех остальных: — Смерть убийцам Робеспьера!

Прошло то время, когда парижане с интересом наблюдали подобные зрелища. Кровь вызывала отвращение. И Париж в ужасе отворачивался, внимая настойчивому голосу, не устававшему повторять:

— Смотрите! Этого хотел он, Неподкупный!

Между тем параллельно делу «Красных рубашек» тот же Комитет общественной безопасности готовил еще одну стряпню, которой собирались травить Робеспьера: это было постыдное дело Катерины Тео, и главную роль в его фабрикации принял на себя Вадье.

27 прериаля (15 июня) Вадье торжественно заявил с трибуны Конвента, что Комитетом общественной безопасности открыт новый заговор. В центре заговора якобы находилась полусумасшедшая старуха, Катерина Тео, объявившая себя «богоматерью» и имевшая обширную клиентуру верующих. Новая «богоматерь» проповедовала скорое пришествие мессии. Так как Тео была преисполнена восхищением к Робеспьеру и всячески прославляла его, то можно было заключить, что мессией, пророком, спасущим мир, как раз и является он. С этой провозвестницей, указал далее Вадье, была связана группа аристократов, поддерживавших связи с Лондоном и Женевой, а также бывший член Учредительного собрания монах Жерль. Всех этих лиц Вадье обвинял в контрреволюционной деятельности и требовал, чтобы Конвент санкционировал предание их Революционному трибуналу.

По иронии судьбы в этот день председательствовал Робеспьер. Вадье изрекал свои обвинения с серьезным и равнодушным видом. Он так обрисовывал все дело, что раздавались непрерывные взрывы хохота и насмешливые аплодисменты. Все взгляды были обращены на Робеспьера, бледного, страдающего, пригвожденного к председательскому креслу и вынужденного терпеливо переносить эту страшную пытку оскорблением.

Ассамблея утвердила предложение Вадье и сверх того постановила, чтобы прочитанный доклад был разослан войскам и всем коммунам республики.

Это была публичная пощечина Робеспьеру. Но главное оказалось впереди. Хитрый Вадье в своем докладе не только исказил суть дела, ибо в действительности проповеди Катерины Тео отнюдь не были враждебны республике. Вадье нарочно скрыл некоторые факты, установленные следствием. Он ничего не сказал о том, что среди поклонниц Тео были члены семьи Дюпле. Скрыл он также и то, что обвиненный им Жерль квартировал в доме Дюпле и что документ, по которому он проживал, бывший член Учредительного собрания получил лично от Робеспьера. Все эти факты должен был обнародовать уже во время процесса тайный ненавистник Робеспьера Фукье-Тенвиль. Организацией этого раздутого дела с приданием ему максимально публичного характера заговорщики рассчиты-

вали сильно скомпрометировать Неподкупного и ускорить его падение.

Но Робеспьер прекрасно понял уловку. Он тотчас же затребовал дело у Фукье-Тенвиля. После этого он повел отчаянную борьбу за снятие или по крайней мере приостановку дела. Большинство членов Комитета общественного спасения, прикрываясь буквой закона, ни за что не хотели уступить. С огромным трудом, после нескольких диких сцен Максимилиану удалось 8 мессидора добиться отсрочки дела. Это была его последняя победа. Однако благодаря многочисленным «доброжелателям» «дело Тео» продолжало и впредь оставаться страшным жупелом, которым угрожали Робеспьеру при каждом случае, вплоть до часа его падения.

В тот день, когда Максимилиан Робеспьер одержал свою последнюю победу в Комитете, армия революционной Франции нанесла один из самых сокрушительных ударов войскам коалиции. После шестикратных неудач французы форсировали Самбру, взяли Шарлеруа и 8 мессидора (26 июня) выиграли решающую битву при Флерюсе. Эта победа определила исход кампании весны — лета 1794 года. Интервенты, вынужденные оставить крепости Ландреси, Валансьенн, Ле-Кенуа и Конде, нарушив линию своих коммуникаций, покатились на восток. Путь в Бельгию, Голландию и западную Германию был открыт.

В организацию флерюсской победы немалую энергию вложил Сен-Жюст. Он проявил здесь всю свою непоколебимость, показал поистине железное упорство. На успех кампании Сен-Жюст возлагал большие надежды. Он рассчитывал, что в случае победы ему и его друзьям удастся, подавив враждебное большинство, укрепить свои позиции в Комитете общественного спасения. На деле, однако, вышло иное. Победа при Флерюсе имела для робеспьеристов роковые последствия. Она ускорила вызревание заговора. Именно после победы при Флерюсе произошло событие, казавшееся противоестественным: правый и левый фланги конспираторов объединились. Блок, названный впоследствии термидорианским, сложился. И немалую роль сыграл в этом человек, прятавшийся в тени, великий проходимец и непревзойденный лицемер, предатель, страшный своей политической беспринципностью, Жозеф Фуше.

Этот невзрачный субъект со студенистым лицом и слабым голосом впервые «прославился» в Лионе, где вместе с Колло

д'Эрбуа истребил тысячи людей. Робеспьер, давно приглядывавшийся к Фуше, приказом от 7 жерминаля (27 марта) отозвал его из Лиона. Фуше, скрывая злобу к Неподкупному, пытался пойти на примирение. Но Максимилиан знал, с кем имеет дело, и все заискивания Фуше не привели ни к чему. Тогда, еще более озлобленный и страшно напуганный, Фуше с головой погрузился в интриги. Ловко используя различные приемы демагогии, вероломно прикрывая всякий свой шаг революционной фразеологией, обманывая направо и налево, попеременно то льстя, то угрожая, этот оборотень вскоре стал одним из центральных персонажей заговора, добился своего избрания в председатели Якобинского клуба и сумел связать группу Тальена с остатками эбертистов и другими левыми. Играя на том, что лионские преступления, вмененные ему в вину Робеспьером, могут быть в равной мере инкриминированы и Колло д'Эрбуа, Фуше втерся в полное доверие к Колло, а также к близкому с ним Билло-Варену. Одновременно он завязал тесные отношения с Карье, Вадье, Камбоном и рядом других крупных деятелей, недоброжелательно настроенных к Робеспьеру. Содействуя сближению правых и левых, тайной оппозиции в Конвенте и недовольных в правительственных Комитетах, Фуше сплел такую петлю, которую нельзя было ни развязать, ни ослабить; ее можно было лишь разрубить сильным и быстрым ударом либо оставалось погибнуть в ее тисках.

Действительно, новый заговор был особенно серьезен и опасен. Его сила заключалась прежде всего в том, что он объединял непримиримые в прошлом группировки, находившиеся как справа, так и слева от робеспьеристов. Такое объединение удваивало силы заговорщиков. Если в прежнее время революционное правительство смогло разбить эбертистов и дантонистов порознь, то теперь Робеспьеру и Сен-Жюсту приходилось иметь дело с единым фронтом всех антиправительственных фракций. То, чего не смог сделать Дантон, сделал Фуше. При этом весьма серьезным было и другое. Заговор, по существу направленный *против правительства*, ибо конечной его целью было свержение якобинской диктатуры, опирался на тайную поддержку *большинства* того самого *правительства*, которое он собирался низвергнуть. С помощью дьявольской изворотливости неутомимого Фуше заговорщикам, которые не могли прямо свалить верховную власть, удалось подвести под нее планомерный подкоп и взорвать ее изнутри.

Но как могли пойти левые на союз со своими смертельными врагами? Разве не видели они, что, отрекшись от Неподкупного, они обрекают себя на гибель? Разве не догадывались, что конечной целью заговорщиков является уничтожение революционного правительства и ликвидация основных завоеваний прошедших лет? Да, акт предательства сопровождался явным ослеплением. Левые члены Комитетов и поддерживавшие их депутаты Конвента, тяготившиеся опекой Робеспьера, не поняли, что идут навстречу собственной смерти. Распропагандированные умелыми агитаторами, возложившие надежды на лживые посулы врагов, они пошли в фарватере контрреволюции. Вне зависимости от своих субъективных мыслей и желаний левые прериаля — термидора принципиально отличались от левых якобинцев 1793 — начала 1794 года. Если Шомет и его соратники были подлинными якобинцами с народом, то левые, подобно своим предшественникам — эбертистам, оставались оторванными от масс фракционерами, лишенными социального чутья и поэтому оказавшимися близорукими обывателями, неспособными разобраться в обстановке. Левые были нужны вожакам контрреволюции только для того, чтобы усыпить народные массы и представить борьбу против Робеспьера как дело, предпринятое в защиту народа. И эту задачу, возложенную на них врагами народа, они выполнили.

Видели вожди робеспьеризма, что происходит вокруг них? Понимали глубину пропасти, которая разверзлась перед ними? И видели и понимали. «...Революция окоченела, — писал Сен-Жюст. — Принципы ослабели, остались красные колпаки, прикрывающие интригу. Террор притупил преступление, подобно тому, как крепкие напитки притупляют вкус...»

Эти полные возвышенной печали слова были навеяны жестокой реальностью. Находясь во главе Бюро общей полиции, робеспьеристы имели подробные сведения о заговоре. Если Неподкупный мог пребывать в каком-то заблуждении до последней декады прериаля, то начиная с этого времени он знал все, вплоть до главных имен, а отсюда вытекал и сам жестокий закон 22 прериаля. Впрочем, в мессидоре о заговоре уже нельзя было не знать. Его организаторы, сознавая свою силу, теряли осторожность. Слухи о нем не только циркулировали по стране, о нем не только запрашивали и информировали находившиеся в разъездах депутаты и отдельные чиновники, но даже иностранная пресса с ручательством за достоверность сообщала о близком низвержении якобинской диктатуры.

Но чего же в таком случае ждали робеспьеристы? Почему

не наносили решительного удара? Почему дали врагам затянуть петлю на горле революции? Потому, что они оказались в тупике, из которого не было выхода. Потому, что теперь они находились на дороге, которая никуда не вела. Никуда, кроме могилы...

Великая буржуазная революция, разбудившая широкие народные массы, этап за этапом победно двигалась вперед. По мере того как она удовлетворяла те или иные социальные группировки, последние соответственно стремились ее остановить. До поры до времени это оказывалось невозможным, ибо поток революции был сильнее, чем все преграды, стоявшие на его пути, ибо массы активно добивались удовлетворения своих нужд, ибо в авангарде масс стояли решительные защитники народа, якобинцы во главе с Робеспьером, Маратом, Сен-Жюстом, Шометом. Но трагедия якобинской диктатуры, и в частности трагедия робеспьеристов, заключалась в том, что при всех своих сильных сторонах, при всем своем субъективном желании идти с народом до конца даже лучшие якобинцы оставались буржуазными революционерами, вождями мелкой городской и сельской буржуазии — никем другим в тех условиях они быть не могли. А это значило, что все самые светлые идеалы Неподкупного должны были рано или поздно разбиться о жестокую жизненную действительность, превозмочь которую он не мог. Не мог, разумеется, не вследствие своего нежелания, а в силу неизбежной социальной ограниченности возглавляемой им группировки. Рано или поздно должен был наступить момент — и он наступил, — когда Неподкупный, до этого страстно боровшийся со всеми, кто пытался замедлить или пресечь победный марш революции, сам начал задумываться об остановке, причем об остановке, которую должно сделать раньше, нежели полностью будут удовлетворены интересы беднейших слоев городского и сельского плебса. Он сам никогда не признался бы в этом, но фактически с некоторых пор стараниями робеспьеристов революция была переведена на холостой ход. Почему Робеспьер разгромил не только «бешеных», но и левых якобинцев, которые преданно поддерживали его и на которых он мог вполне положиться? В первую очередь потому, что опасался крайностей. Это с еще большей ясностью обнаружила рабочая политика робеспьеристов поздней весной и летом 1794 года. В течение флореаля правительство осуществило роспуск целого ряда народных обществ и секций в порядке самоликвидации. Робеспьеристская Коммуна

враждебно относилась к любым попыткам рабочих бороться за улучшение своего существования. Когда, например, рабочие Парижской табачной мануфактуры послали 2 флореаля (21 апреля) в Коммуну запрос о повышении заработной платы, оратор петиционеров с санкции Сен-Жюста был арестован и препровожден в полицию. 9 флореаля (28 апреля) парижский муниципалитет произвел аресты организаторов портовых рабочих. 13 флореаля (2 мая) репрессии были обещаны недовольным подмастерьям-пекарям. В ответ на растущее рабочее движение Парижская коммуна обратилась ко всему эксплуатируемому люду столицы с угрожающей прокламацией, в которой прямо ставила недовольных в один ряд с контрреволюционерами и провозглашала открытый террор против тех, кто будет пытаться облегчить свою тяжелую участь.

Обрушивая репрессии на деревенскую и городскую бедноту, робеспьеристы вместе с тем не выполняли, да и не могли выполнить своих обещаний, данных той же бедноте: декреты вантоза фактически остались нереализованными. В результате всего этого якобинское правительство к лету 1794 года оказалось в состоянии серьезного конфликта с плебейскими массами города и деревни. А это было чревато очень серьезными последствиями. Сила Робеспьера и его соратников заключалась в прочности их связи с народом. Опираясь на народ, поддерживая его инициативу и двигаясь с ним нога в ногу, робеспьеристы были непобедимы. Теперь же, когда основные задачи буржуазной революции были разрешены, когда возможность дальнейшего развития революции стала пугать не только «нуворишей», но и мелкобуржуазные слои города и деревни, с предельной полнотой обнаруживалась буржуазная ограниченность якобинцев и их руководящей группы — робеспьеристов. Вследствие этого они стали терять опору в тех слоях населения, которые были источником их силы, а вместе с тем потеряли и свою былую способность смело разить врагов. Вот основная причина сравнительной бездеятельности Робеспьера и его друзей в конце прериаля и мессидоре. Попав между молотом и наковальней, оказавшись между сильным заговором и равнодушным народом, они застыли, как застывает птица под гипнотизирующим взглядом змеи. К этому, разумеется, прибавился и ряд причин чисто субъективного характера. Сен-Жюст почти непрерывно пропадал на театре войны, ошибочно считая, что военные победы могут разрешить внутренние конфликты, Кутон часто болел, а Робеспьер... Робеспьер, казалось, был готов закрыть глаза на то, что происходило в Комитетах и на улице. Он понимал, что без решительного

изменения политического курса не может рассчитывать на готовность масс самоотверженно отстаивать существующий режим. Но этот курс он изменить и не хотел и не мог. И вот вопреки очевидному он, по-прежнему строгий законник, предавался пагубной надежде, что враги не посмеют открыто напасть на него, что народ не будет введен в действие, что всю борьбу окажется возможным локализовать в рамках Конвента, Якобинского клуба и Коммуны, организаций, где хорошо известна сила его слова. Надежда эта, правда, все время боролась с отчаянием, но она все же была.

В ночь с 10 на 11 мессидора (28—29 июня) в Комитете общественного спасения произошел бурный разговор, который закончился полным разрывом. Робеспьер покинул заседание с твердым намерением оставить Комитет; действительно, с середины мессидора он больше не появлялся на его заседаниях.

13 мессидора (1 июля) он произнес с трибуны Якобинского клуба речь, которая была формальным вызовом заговорщикам.

— Теперь, как и всегда, — говорил он, — действия патриотов стараются выставить в свете несправедливости и бесчеловечности... В то время как небольшое число людей с неослабным рвением занимается делом, возложенным на них всем народом, множество негодяев и агентов иностранных держав ткут в тиши клеветнические вымыслы и готовят преследование порядочных людей... Эта партия выросла из обломков всех остальных... Они стремятся изобразить деятельность Конвента как дело нескольких человек. Осмелились распространить в Конвенте слух, что Революционный трибунал создан только для удушения самого Конвента... Что касается меня, то, несмотря на усилия, которые проявляют, чтобы закрыть мне рот, я считаю себя вправе говорить так же, как во времена эберов, дантонов и других. Из Лондона меня изображают в глазах французской армии диктатором, та же клевета повторяется в Париже...

Однако, обвиняя контрреволюционеров и связанных с ними лиц, Неподкупный не пожелал уточнить, кого он персонально имеет в виду. Он произнес угрозу, но эта угроза повисла в воздухе.

— Когда события развернутся, — закончил оратор, — я объяснюсь более пространно...

Но и в дальнейшем он продолжал придерживаться все той же тактики, и, хотя события разворачивались вовсю, он снова

и снова медлил с решительными уточнениями. Вместе с тем, показывая, насколько он понимает уловки своих врагов, Робеспьер прямо констатировал, что революционное правительство уже не имеет твердой почвы под ногами.

— В республике, — говорил он с иронией 21 мессидора (9 июля), — существует революционный Комитет[1]. Вы полагаете, быть может, что он считает своей задачей уничтожение аристократии? Совсем нет: он думает, что нужно арестовывать всех граждан, оказывающихся по праздникам пьяными. Благодаря такому удачному применению закона все контрреволюционеры остаются спокойными и в полной безопасности, в то время как ремесленников и добрых граждан безжалостно арестовывают...

Так он говорил и говорил, обвинял, разоблачал, иронизировал. Но к чему было все это? Даже самая едкая ирония не могла помочь там, где нужно было действовать, действовать решительно и без промедления. Но действовать он не мог. Сомнения одолевали его. Он не только прекратил ходить в Комитет, он перестал посещать заседания Конвента. Многие недоумевали. Уж не ступил ли он на путь Дантона, впавшего в летаргию накануне падения? Нашел время, чтобы отдыхать от служебных обязанностей! Безумец, прикорнувший на краю вулкана! Люди дальновидные и энергичные в эти дни неоднократно предупреждали Робеспьера. Ему писал национальный агент Пейян, доказывая, что сейчас дорога каждая минута, что наносить удар мятежникам следует немедленно. «В течение месяца с тех пор, как я писал тебе, мне кажется, что ты спишь, Максимилиан...» — с горечью укорял его старый аррасский друг Бюиссар в письме, датированном еще 10 мессидора. Получал он и массу анонимных писем того же содержания. Все было безрезультатным. Робеспьер оставался верен своему плану. Нельзя сказать, чтобы он полностью бездействовал. У него были взлеты энергии. Эту энергию он целиком отдавал Якобинскому клубу, рассчитывая через клуб привлечь на свою сторону широкое общественное мнение. Что касается всего остального, то он придерживался явно выжидательной политики, считая, по-видимому, что время работает на него. Лишь одному деятелю он не давал покоя, разоблачая его в глаза и за глаза и стремясь парализовать его усилия. Это был Жозеф Фуше, человек, в котором Неподкупный правильно разглядел истинного вождя заговора. В конце концов Максимилиан настоял на исключении Фуше из клуба (26 мессидора). Впрочем, этим дело

[1] Робеспьер имел в виду Комитет общественной безопасности.

и ограничилось; Робеспьер не добил своего главного врага. А Фуше, видя в перспективе нож гильотины, удвоил старания. Теперь он юлил возле отдельных членов Конвента. С видом полной осведомленности нашептывал он сегодня одному, завтра другому о том, что они внесены якобы в составленный Робеспьером проскрипционный список и подлежат уничтожению. Так, играя на страхе, Фуше склонял постепенно к участию в заговоре нерешительное «болото».

В последние дни мессидора многие жители Парижа, обитавшие в районе Елисейских полей или садов Марбеф, неоднократно встречали худощавого задумчивого человека с книгой под мышкой в сопровождении огромного ньюфаундленда. Его лицо и весь его облик были хорошо известны прохожим: это был знаменитый деятель революции, член Комитета общественного спасения, Максимилиан Робеспьер, прозванный Неподкупным. Он регулярно совершал эти тихие уединенные прогулки, не желая иных спутников, кроме своего любимого Брунта, которому верил гораздо больше, чем людям. Здесь он встречался с детьми. Многие из них хорошо знали в лицо «доброго дядю», угощавшего их конфетами и с интересом следившего за их играми. Зачастую, когда он гладил какую-нибудь русую голову, слезы невольно наворачивались ему на глаза. Он думал о том, что во имя будущего вот этих малышей он отказался от собственной жизни, от самого себя, от таких же малышей, которые могли быть его детьми. Впрочем, разве все они и тысячи других, разве они не его дети, не дети революции?..

Отдыхая на скамейке парка, он иногда читал, но больше думал. Воспоминания окутывали его. Полузакрыв глаза, Максимилиан видел тихий Аррас, узенькую улицу, старый дом. Он представлял себе расположение комнат, старался вспомнить, где какая стояла мебель... Совсем, совсем издалека звучал тихий мелодичный голос матери, баюкавший его: «Спи... Усни крепким сном... Вечным сном...»

Робеспьер вздрагивает. Оцепенение мгновенно покидает его. Неужели правда? Неужели он погиб, погиб безвозвратно? Но ведь вместе с ним погибнет и все то, что было сделано за последние годы! Все сойдет на нет, вернется к старому, к ненавистным цепям рабства! Но внутренний голос твердо и уверенно говорил ему: «Нет! Не погибнет! Не вернется! Если ты и умрешь, то дело твое будет жить, будет жить в веках. Встанут новые бойцы. Они продолжат то, что ты начал. И заря всемирного счастья наступит, что бы ни произошло в ближайшем будущем».

Глава 8

Драма термидора

Только в начале термидора Робеспьер очнулся от апатии. Нет, больше ждать нельзя. Здание рушится на глазах. Попытка отойти в сторону и предоставить все естественному течению не оправдала себя. Течение оказалось против него, и сила напора превзошла ожидания. Еще несколько дней — и будет поздно. Быть может, поздно уже и сейчас. Но что же из этого? Надо бороться до конца, каковым бы конец ни был.

5 термидора (23 июля) Робеспьер явился на совместное заседание обоих Комитетов. Туда же прибыл и Сен-Жюст, только что вернувшийся из северной армии. Началась обычная грызня. Барер стал перечислять грехи Робеспьера и его единомышленников. Сен-Жюст при поддержке Давида обвинил большинство в новом расколе и создании партии, губящей дело свободы.

— Вы сами жаждете составить триумвират, — отрезал Эли Лакост.

Другие его поддержали.

Робеспьер покинул совещание с твердой уверенностью, что говорить здесь более не о чем.

Нет, не здесь надо говорить. Надо идти в Конвент, к законодателям, к депутатам державного народа. Надо рассказать им все. Сколько раз сила его слова одерживала победу, сколько раз она вызывала бурные овации даже со стороны робкого «болота»! Робеспьер всемогущ на трибуне Конвента. Только Собрание может его понять и поддержать. Большинство никогда не осмелится стать на сторону злодеев. Если Конвент его примет и одобрит, он несокрушим! Тогда горе заговорщикам: они будут уничтожены, их раздавят так же, как Эбера и Дантона. Да, сейчас это единственно правильный путь.

Веривший в чудесное могущество слова, Робеспьер и не подозревал, что будет стучать в замурованную дверь. Он не знал, до какой степени раковая опухоль заговора поразила все живые ткани Конвента.

В тот же день он уехал в Монморанси, к своим дорогим святыням. Бессмертный дух учителя должен был его наставить и поддержать. Он бродил среди каштанов разросшегося парка, он отдыхал в тени Эрмитажа, благословенного дома, где

Руссо творил некогда «Новую Элоизу». Робеспьер погрузился мыслью в самое сокровенное. Его последняя речь, его завещание, родилась здесь, в этих дорогих сердцу местах, среди потревоженных теней прошлого...

Три дня спустя, 8 термидора (26 июля), он после долгого перерыва поднялся на трибуну Конвента. Он был спокоен и задумчив. Свою речь он начал следующими словами:

— Граждане, я предоставляю другим развертывать перед вами блестящие перспективы; я же хочу сообщить вам полезные сведения об истинном положении дел... Я буду отстаивать ваш оскорбленный авторитет и насилуемую свободу. Я буду также защищать самого себя: ведь это не удивит вас, ибо крики угнетенной невинности не могут оскорбить вашего слуха...

Четко выявив особенности французской революции как революции, впервые основанной на добродетели и теории прав человека, оратор напомнил о заговорах и мятежах, раздиравших Францию с момента провозглашения республики. Он показал, что все они имели общие истоки: алчность, честолюбие, иностранную интригу. Он убедительно связал прошлое с настоящим, проведя единую нить от Бриссо и Дантона к сохранившемуся охвостью повергнутых фракций. Он предупредил, что тактика нынешних врагов рассчитана на запугивание Конвента, на распространение провокационных слухов в среде честных патриотов. И главная особенность момента — это стремление сосредоточить весь огонь на одном человеке, на нем, Робеспьере.

— Они называют меня тираном... Но если бы я был им, они ползали бы у моих ног, а я осыпал бы их золотом и упрочил бы за ними право совершать любые преступления... Если бы я был тираном, то покоренные нами короли не стали бы обличать меня, — подумаешь, какую нежную привязанность питают они к нашей свободе, — а предложили бы мне свою преступную поддержку... Кто из тиранов покровительствует мне? К какой клике я принадлежу? Только к самому народу. Какая клика с начала революции боролась со всеми кликами и уничтожила столько предателей, пользовавшихся доверием? Это вы, это народ и истинные принципы. Вот клика, к которой я принадлежу и против которой объединилось все преступное...

Негодяи! Они хотели бы, чтобы я сошел в могилу, покрытый позором, чтобы я оставил о себе память как о тиране...

Как жестоки их цели, как презренны их средства!.. Может быть, нет ни одного арестованного, ни одного притесняемого гражданина, которому не сказали бы обо мне: «Вот виновник твоих несчастий; ты был бы счастлив и свободен, если бы он перестал существовать!» Как описать все клеветы, тайно возводимые на меня и в Конвенте и вне его с целью сделать меня предметом отвращения и недоверия? Ограничусь тем, что скажу: уже более шести недель, как всякого рода клевета и невозможность делать добро принудили меня оставить обязанности члена Комитета общественного спасения; вот уже шесть недель, как моя диктатура прекратилась и я не имею никакого влияния на правительство. Стали ли больше уважать патриотизм? Стал ли более робким фракционный дух? Стала ли родина счастливее?..

Благородный пафос этих слов невольно захватил Собрание. Оратор говорил, почти не повышая тона, но тишина была такая, что каждый оттенок его голоса был слышен со страшной отчетливостью. Он говорил долго, и никто не прерывал его.

Не скрывая от депутатов своих опасений относительно состава правительственных Комитетов и прежде всего Комитета общественной безопасности, Робеспьер с жаром защищал революционное правительство в целом, подчеркивая, что без него республика не сможет укрепиться и различные клики задушат ее.

В последней части речи Неподкупный остановился на экономических затруднениях и перспективах хозяйственного развития.

Обвиняя финансовое ведомство, указывая на контрреволюцию, пропитавшую все сферы производства и распределения, он заявил, что задачей настоящего времени является ослабление максимума и перевод экономики на почву мирного времени.

— Что же нам делать? — спрашивает в заключение оратор. — Где средства против всех наших бедствий?..

Он предлагает эти средства. Главное — укрепить правительство, очистить Комитеты и покарать предателей, вернуть Конвенту авторитет, восстановить повсеместно господство принципов справедливости и свободы. Революционное правительство спасло родину; теперь надо спасти правительство от всех угрожающих ему подводных камней.

Речь Робеспьера производила сильное впечатление. Она была оправданием Неподкупного, ударом по его врагам и вместе с тем тонко и умело составленной положительной про-



Робеспьер на трибуне Конвента (современный рисунок).



В ночь на 10 термидора.

граммой на будущее. Указав на необходимость проводить новую экономическую политику путем постепенной ликвидации максимума, Робеспьер стремился успокоить «болото» и привлечь на свою сторону собственников. И однако, знаток человеческих сердец, Максимилиан Робеспьер совершил грубейшую тактическую ошибку, которая разом похоронила весь положительный эффект его выступления. Разоблачая новый заговор и угрожая его главарям, оратор не назвал имен. Кто же они, те, кого нужно истребить? Почему Неподкупный не указал на них прямо? А... быть может, он их боится? Или их так много, что всех сразу и не назовешь? Неопределенность породила страх. Теперь каждый член Конвента мог считать себя под угрозой. Каждый боялся за себя. Это оказалось как нельзя более на руку заговорщикам. Они быстро поняли ошибку Робеспьера и воспользовались ею.

Первый момент после произнесения речи казался все же благоприятным для оратора. Лоран Лекуантр, к удивлению своих друзей, предложил, чтобы речь была напечатана. Кутон потребовал, чтобы речь не только напечатали, но и разослали по всем коммунам республики. Несмотря на отдельные робкие протесты, Конвент утвердил это предложение. Тогда противники Робеспьера опомнились. Один за другим выступили Вадье, Камбон и Билло-Варен.

— Пора сказать всю правду! — воскликнул Камбон. — Один человек парализовал волю всего Национального Конвента; этот человек — Робеспьер!

Билло, ободренный словами Камбона, возразил против постановления о рассылке речи, требуя, чтобы тезисы Робеспьера были подвергнуты строгому разбору по существу. Поднимается Робеспьер и просит, чтобы ему дали возможность свободно высказывать свои взгляды.

— Мы все требуем этого! — восклицают несколько депутатов.

— Робеспьер прав, — продолжает Билло. — Нужно сорвать маску, на ком бы она ни была. И если мы действительно не сможем свободно высказать свои убеждения, то я скорее предпочту, чтобы мой труп стал подножием для честолюбца, чем соглашусь молчать и быть соучастником его злодеяний.

Панис упрекает Робеспьера в том, что он стал полновластным хозяином у якобинцев и сам будто бы составляет проскрипционные списки. Говорят, что в этих списках есть и его, Паниса, имя. Правда ли это? Робеспьер не желает отвечать на подобные реплики.

— Я бросил свой жребий, — гордо заявляет он. — Я встретил врагов с открытой грудью. Я никому не льстил, никого не боюсь и ни на кого не клевещу.

— А Фуше? — неосторожно восклицает в пылу раздражения Панис.

Все замирают. Один из главных заговорщиков назван! О том, что во главе заговора находится Фуше, знает и Робеспьер. Но — поразительный, непостижимый факт! — Неподкупный не использует явную неосторожность противника. Фуше? Нет, он сейчас не хочет говорить о Фуше. Он выполнил свой долг, пусть остальные исполняют свой.

Тогда заговорщики смелеют. Уже слышен общий ропот. Уже несколько голосов стремятся перекричать друг друга.

— Когда хвастают своей добродетелью и храбростью, — кричит Шарлье, — нужно быть также и правдивым! Назовите тех, кого вы обвиняете!

— Да, да, — поддерживают Шарлье, — назовите их!

Это прямой вызов. Но Неподкупный не принимает вызова.

— Я настаиваю на всем, что высказал здесь, и заявляю, что не стану принимать участия в решениях, которые будут инспирированы с целью задержать рассылку моей речи.

Исход предрешен. Поднимается Амар.

— Речь Робеспьера, — говорит он, — обвиняет оба Комитета. Если его суждение о некоторых членах Комитетов связано с интересами государства, пусть он назовет их; если же это мнение носит частный характер, то один человек не должен затмевать собою всех; Национальный Конвент не может заниматься вопросами оскорбленного самолюбия.

Робеспьер, который сказал все, что хотел сказать, промолчал. И Конвент отменил свое первоначальное решение о рассылке речи по коммунам.

Схватка в Конвенте была проиграна. Многие депутаты, о которых Робеспьер и не помышлял, сочли, что он угрожает им. Те, на нейтралитет которых он мог рассчитывать, отвернулись от него. Почему он так поступил? По-видимому, он придерживался заранее составленного плана. Он хотел нанести общий, генеральный удар; довершить разгром и назвать имена заговорщиков должен был Сен-Жюст завтра, с этой же трибуны. Прения, развернувшиеся в Конвенте 8 термидора, опрокидывали этот план, но Робеспьер не пожелал или не сумел перестроить его на ходу; он упрямо решил действовать согласно

намеченному, не учитывая, что могло произойти за ночь в условиях, когда была дорога каждая минута. Заговорщики и здесь опередили его. Строгий сторонник парламентарных методов борьбы, расстроенный, но не обескураженный, он рассчитывал продолжить начатую кампанию завтра, в то время как этого завтра уже не было.

После заседания Робеспьер отправился домой, где его с нетерпением ждали. Максимилиан рассказал о том, что произошло в Собрании. К удивлению домашних, он был спокоен. Он не скрывал своего огорчения, но и не терял надежды.

— Я больше ничего не жду от Горы, — ответил он на вопрос Мориса Дюпле. — Они хотят избавиться от меня как от тирана, но большинство Конвента выслушает меня.

Прикинув, что до начала совещания у якобинцев остается добрых два часа, Максимилиан предложил Элеоноре побродить по Елисейским полям. Девушка порозовела от удовольствия. Они отправились в сопровождении верного Брунта. Был теплый вечер. Солнце садилось. Элеонора стремилась рассеять сосредоточенное настроение своего спутника. Она рассказывала ему о домашних делах, о своих заботах. Вдруг Максимилиан вздрогнул и указал рукою на горизонт. Солнце уже до половины опустилось за край земли. Небо вокруг него было красным. Сплошное море крови! Элеонора удивленно посмотрела в глаза Робеспьеру.

— Друг мой, это говорит лишь о том, что завтра будет хорошая погода!

Взгляд Неподкупного был тусклым и отсутствующим. Он ничего не ответил.

В клубе его встретили восторженно. Робеспьер прочитал речь, произнесенную днем в Конвенте. Затем, бросив на стол смятые листки и выждав, пока утихнут аплодисменты, сказал утомленным голосом:

— Братья, я изложил вам мое завещание. Сегодня я видел союз бандитов. Их число так велико, что вряд ли я избегу их мести. Я погибаю без сожаления; завещаю вам хранить память обо мне; вы ее сумеете защитить...

Буря потрясла своды старой церкви. Якобинцы, вскакивая со своих мест, устремлялись к трибуне и, поднимая руки в знак торжественной клятвы, выражали горячую любовь и верность оратору. Нет, Неподкупный будет спасен! Никто не посмеет ему угрожать! Горе врагам свободы!..

Максимилиан близоруким взглядом окинул окруживших его людей. Они так преданы ему и делу, которое он защищает? Хорошо, тогда он скажет все, он откроет даже то, в чем едва признается себе.

— Отделите злодеев от людей слабых; освободите Конвент от угнетающих его негодяев; окажите ему ту услугу, которой он ждет от вас по примеру дней тридцать первого мая — второго июня. Идите спасайте вновь свободу!

Зрачки Робеспьера расширяются. Пот выступает на бледном челе. Слово сказано: это призыв к восстанию! Поймут ли они?..

— А если свобода все же погибнет, — заканчивает он, прежде чем кто-либо успевает ответить, — то вы увидите, друзья, как я спокойно выпью цикуту...

К Робеспьеру подскакивает Давид. Он протягивает руку Неподкупному.

— Я выпью чашу яда вместе с тобой! — восторженно кричит он.

Робеспьер с досадой отстраняет пылкого художника. Не те слова! Не о том нужно сейчас говорить! Но вот он видит, что двое яростно протискиваются вперед. Это Колло д'Эрбуа и Билло-Варен. О, эти его поняли!.. Но на трибуне уже Дюма. Он обличает заговорщиков. Указывая на обоих врагов Неподкупного, он восклицает:

— Странно, что люди, молчавшие в течение нескольких месяцев, торопятся сегодня заговорить, несомненно, для того, чтобы возразить против истин, только что высказанных Робеспьером. В них легко признать последователей Эбера и Дантона. Я предсказываю им, что они унаследуют и участь этих заговорщиков.

Колло все же прорывается к трибуне. Он начинает говорить — его встречают шиканьем. Он напоминает об Амирале, жертвой которого чуть не стал; ему отвечают насмешками. На помощь ему приходит взбешенный Билло-Варен.

— Где же якобинцы? — кричит он дрожащим от гнева голосом. — Я не узнаю их. Как! Представитель народа напоминает, что едва не пал жертвой своего патриотизма, а его оскорбляют! Если дело дошло до этого, то остается только покрыть голову плащом и ожидать ударов кинжалами!

Билло прерывают громкими криками. Колло д'Эрбуа начинает орать во всю мощь своих легких, и сквозь общий шум можно расслышать, что он обвиняет Робеспьера. Его сталкивают с трибуны. Раздаются проклятия. Слышатся грозные слова:

— На гильотину!

Кутон вслед за Дюма пророчит гибель заговорщикам. Сильно помятых врагов Робеспьера выдворяют из клуба.

Между тем наиболее энергичные люди решают действовать. К Робеспьеру подходят Пейян и Кофиналь. Они верно поняли Неподкупного. Да, восстание, немедленное восстание может поправить дело. Пейян призывает Робеспьера стать во главе народа. Обстоятельства благоприятны: Комитеты охраняются всего лишь несколькими жандармами. Неподкупный пристально смотрит в глаза Пейяну и отрицательно качает головой. Нет, это совсем не то. Он не может стать во главе народа. Мысль его заключалась в другом. Если бы народ сам поднял восстание! Если бы народ сам проявил себя так же, как проявлял 10 августа и 31 мая! Что же касается его, то он не может руководить восстанием. Нет, его место не на улице. Его сфера — ораторское искусство. Завтра в Конвенте он и Сен-Жюст возьмут реванш за сегодняшнее поражение. Каждый должен быть на своем посту. Он будет там, где сможет принести наибольшую пользу.

Душная июльская ночь спустилась на столицу. Она давила. Над городом витал зловещий кошмар. Многие парижане в эту ночь ворочались на своих кроватях. Некоторые так и не смогли заснуть.

Три огня горели до рассвета: один — в маленьком окошке на улице Сент-Оноре, два других — в помещении Тюильрийского дворца, там, где заседали Комитеты, там, где перешептывались группы людей, закутанных в темные плащи. А над всем этим неподвижно стояла бледная и равнодушная луна.

В эту последнюю ночь, проведенную им в своей каморке, Максимилиан не сомкнул глаз. Он писал, затем часами сидел, положив голову на усталые руки, потом ходил по комнате, опять садился, открывал ящики стола, пересматривал бумаги, снова писал. Страшные противоречия раздирали его. С одной стороны, он был почти уверен, что все кончено. Об этом ему говорила интуиция, а также накопленное с годами знание людских душ. Прикидывая и сравнивая различные факты, обдумывая свои собственные промахи, он ясно видел, что положение ухудшилось до крайней степени и выхода не найти. Он понимал, что в Комитетах борьба невозможна, что Конвент

от него отвернулся. Якобинцы?.. Да, якобинцы его боготворят, они готовы дать клятву верности, они готовы обещать выпить с ним смертную чашу... Робеспьер горько улыбнулся. Но якобинцы — сила только тогда, когда они с народом и когда народ с ними... Народ... Но он не строил себе иллюзий в отношении народа. Где тот энтузиазм, который был перед 10 августа или 31 мая? Не он ли сам убил его? Не он ли казнил Шомета и разгромил многих из тех, кто повел бы сейчас ради него предместья к Конвенту? Секции... Но не его ли политика ослабила секции, вырвала из них дух революционного подъема, превратила их в официальные организации? Коммуна... Да, Коммуна будет ему верна до последнего: Пейян, Флерио-Леско и другие — это его люди, он сделал их. Пейян энергичен и проницателен, он может стать во главе движения. И однако... это не Коммуна 93-го года. Это тоже официальное учреждение. За Пейяном и Флерио народ не пойдет так, как пошел бы за Шометом и Пашем. А максимум? Для Неподкупного не было секретом, что максимум крайне непопулярен, что санкюлоты обвиняют именно его, Робеспьера, в низкой заработной плате и экономических затруднениях. Если к этому прибавить все бессмысленные казни мессидора, отвратившие от него народ, то... то надежда на возможность и успех восстания становится крайне незначительной...

Волна мрака, страшного, непроглядного мрака, охватывает душу Робеспьера. И все-таки... Все-таки в нем теплится надежда, теплится вопреки всему. С другой стороны, ведь он имеет страшную силу слова, и за его словами стоит правда жизни. Его друзья готовы умереть вместе с ним. То, что не удалось в Конвенте вчера, может удаться сегодня. Ведь не состоит же Конвент, главный орган народного представительства, сплошь из мошенников и подлецов! Вчера они требовали имен. Что же, сегодня Сен-Жюст назовет имена. Вслед за Сен-Жюстом выступит он, Неподкупный, и так же, как во времена низвержения Дантона, так же, как в день 22 прериаля, он подавит ропот и протесты силой своего морального убеждения и логикой своих выводов. Вчера получилась осечка. Ну что же? Срывы бывали и раньше, но в конечном итоге победителем оказывался он. Надо лишь быть во всеоружии. Добродетель и правда защитят его, и заговорщики падут.

Робеспьер подходит к зеркалу и долго всматривается в черты своего усталого лица, такие неотчетливые и колышущиеся при мерцающем свете лампы. Он ли это? Где тот молодой, полный сил и надежд изящный адвокат из Арраса, который начал

когда-то — ведь, кажется, совсем недавно? — свои политические дебюты в зале «Малых забав»? Робеспьер подносит руки к вискам и разглаживает волосы. Странная мысль приходит ему в голову. Сегодня в Конвенте, если он хочет победить, он должен быть таким же, как на празднике верховного существа. Он должен быть молодым, сильным, подтянутым. В каждом его жесте должна сквозить уверенность. Он наденет свой лучший костюм — тот самый, в котором шествовал по улицам Парижа среди ликующей толпы 20 прериаля.

В ту ночь Фуше, Тальен и другие вожаки заговора также не сомкнули глаз. Тальен тосковал о своей милой Терезе, посылавшей ему отчаянные письма из тюрьмы. Коварный Фуше прекрасно знал, что если Робеспьер пощадил его вчера, то сегодня пощады не будет. Баррас, Бурдон и вся их компания, недоумевавшие, почему Неподкупный не назвал имен, понимали, что нужно застраховать себя немедленно, вырвав у робеспьеристов всякую возможность ликвидировать свой промах. И вот под покровом ночи в кулуарах Конвента происходят тайные свидания. Заговорщики умоляют лидеров «болота» заключить с ними союз и отступиться от Робеспьера. Умеренные Буасси д'Англа, Дюран-Майян, Палан-Шампо колеблются. Отступиться от Робеспьера? Гм... Они больше всего на свете боятся террора. Робеспьер, конечно, террорист. Но он как будто обещал ослабить террор и отказаться от максимума. И вот против Робеспьера им предлагают заключить союз — с кем же? С крайними террористами! С Фуше, который расстреливал лионцев картечью, с Тальеном, который бесчинствовал на юге... Нет, господа, уж лучше Робеспьер, чем Фуше! Две попытки договориться не приводят ни к чему. Тогда конспираторы соглашаются принять на себя такие обязательства, которые должны полностью удовлетворить и успокоить «болото». Они клятвенно обещают отказаться от политики революционного правительства. Порукой им служит то, что в заговоре участвуют дантонисты, ярые враги террора. И лидеры умеренных после зрелого размышления соглашаются. Они понимают, что новый союз избавит их одновременно и от страха перед гильотиной и от республики. Третья попытка увенчивается успехом. Сеть против Робеспьера в Конвенте сплетена. «Болото», то есть большинство, от него отступилось. Это происходит в два часа ночи. Покончив с главным, договариваются о деталях. В наступающем рассвете лица заговорщиков кажутся белыми как мел.

Между тем не спали и в Комитете общественного спасения. Задолго до закрытия Якобинского клуба сюда явился Сен-Жюст. Сухо поздоровавшись с коллегами — Робеспьера и Кутона в Комитете не было, — Сен-Жюст направился к столу и погрузился в работу. Он писал текст доклада, который намеревался прочесть в Конвенте. Около полуночи были готовы первые восемнадцать страниц, которые он отправил к переписчику. В этот момент дверь с шумом распахнулась, и на пороге появился Колло д'Эрбуа, бледный, с горящими глазами, в изодранном платье: он возвращался взбешенный и избитый из клуба. Сен-Жюст, окинув его саркастическим взглядом, невозмутимо спросил:

— Что нового у якобинцев?

Колло пришел в ярость.

— Ты меня спрашиваешь об этом, ты?.. О подлец, о лицемер, короб остроумных изречений!

Переходя от слов к делу, он набрасывается на Сен-Жюста. Их разнимают.

— Вы негодяи! — кричит Колло. — Вы рассчитываете, что приведете родину к гибели, но свобода переживет ваши гнусные козни.

Его поддерживает Барер.

— Вы хотите разделить остатки родины между калекой, ребенком и чудовищем. Я лично не допустил бы вас управлять даже птичьим двором.

Сен-Жюст пожимает плечами и бесстрастно продолжает свою работу. Заговорщики переглядываются. Колло восклицает с вызовом:

— Я уверен, что твои карманы наполнены доносами!

Не говоря ни слова, Сен-Жюст выкладывает содержимое своих карманов на стол и продолжает писать. Колло требует, чтобы он изложил содержание доклада. Сен-Жюст отвечает, что не собирается делать тайны из своих убеждений. Да, он обвиняет в докладе кое-кого из своих коллег. Но он прочтет его в Комитете, и тогда можно будет говорить по существу дела. Сказав это, он продолжал работу. На него махнули рукой.

Около часу ночи пришел Лоран Лекуантр. Он предложил арестовать Анрио, Флерио-Леско и Пейяна. Его поддержал Фрерон. Сен-Жюст, на мгновенье оторвавшийся от своего доклада, стал возражать. Разгорелся спор.

В пять часов утра Сен-Жюст, собрав исписанные листы и тщательно сложив их, покинул Комитет. Почти в это же

время въехал на кресле Кутон. Спор об отставке и аресте должностных лиц Коммуны возобновился с новой силой...

Часы шли. Рассвет сменился утром, утро открывало дорогу дню. Наступал роковой день 9 термидора. Члены Комитетов, давно уже прекратив споры, осовелые и размякшие от беспокойной ночи, поджидали возвращения Сен-Жюста. Вдруг пристав Конвента широко раскрыл дверь и объявил:

— Сен-Жюст на трибуне!

Все вскочили. Железный человек перехитрил их: вместо того чтобы прочесть свой таинственный доклад в Комитете, он прямо вынес его в Конвент! Ну, это его не спасет!.. Через несколько секунд помещение Комитета опустело: только кресло Кутона одиноко катилось вдоль анфилады комнат.

Стояла удушливая жара, предвещавшая грозу. Конвент с раннего утра был переполнен. Галереи для публики казались забитыми до отказа. По коридорам шли депутаты, спешившие занять свои места. До начала заседания оставались считанные минуты. Бурдон, догнав лидера «болота» Дюран де Майяна, дотронулся до его руки и льстиво прошептал:

— Вы храбрецы.

К ним подбежал Тальен и, указывая на дверь зала заседаний, быстро сказал:

— Сен-Жюст уже на трибуне. Поспешим. Пора начинать.

Да, Сен-Жюст на трибуне. Едва прозвучали три удара колокола, как он начал говорить. Голос его холоден и бесстрастен, как всегда.

— Я не принадлежу ни к какой партии и готов бороться против каждой из них. Но деятельность их будет неизбежно продолжаться до тех пор, пока не издадут законов, обеспечивающих твердые гарантии, не установят границ действия власти и не заставят человеческую гордость склониться перед общественной свободой...

Запоздавшие депутаты бесшумно проходят между скамьями. Робеспьер со своего места следит за ними. Он выглядит сегодня щеголевато, даже кокетливо. На нем голубой фрак, золотистые панталоны и белые шелковые чулки. Накрахмаленное жабо сверкает белизной. На волосах пудра. Белый парик, впрочем, почти не отличается по тону от лица. Глаза лихорадочно блестят.

— Благодаря стечению обстоятельств, — продолжает Сен-Жюст, — эта ораторская трибуна станет, быть может, Тарпейской скалой для всякого, кто...

На этом его прерывают. Вбегает Тальен и кричит:

— Я требую слова к порядку заседания! Оратор заявил, что не принадлежит ни к одной из клик: я говорю то же самое. Везде видны только раздоры. Вчера один из членов правительства выступил совершенно самостоятельно и произнес речь от своего имени; теперь другой поступает точно так же. Я требую, чтобы завеса была сорвана...

Раздаются аплодисменты, подхваченные в разных местах. Тщетно Сен-Жюст протестует против нарушения правил; председатель — Колло д'Эрбуа — не собирается приходить к нему на помощь. Но Тальен не рассчитал своего голоса. Он начал в слишком повышенных тонах. Он выдохся быстрее, нежели сказал все, что хотел. Это не входит в планы заговорщиков. На помощь Тальену спешит Билло-Варен. Он обвиняет, угрожает, клевещет; речь его, сбивчивая, слабая, едва ли понятна Собранию. Впрочем, что понимать, когда все уже решено? Билло произносит слово «тиран», и весь Конвент хором восклицает:

— Гибель тиранам!

Нервы Робеспьера не выдерживают. Он срывается с места и бежит к трибуне.

— Долой тирана! — кричат ему вслед.

Он требует слова. Лекуантр предлагает дать ему слово с регламентом в полчаса. Другие протестуют: предоставить Неподкупному хотя бы десять минут — это значит ставить все под угрозу!..

Но вот главный распорядитель — Тальен — пришел в себя. Он опять на трибуне. Он расшаркивается перед правыми, льстит «болоту», требует ареста Анрио и его штаба. В его руке сверкает кинжал. Размахивая им, Тальен кричит, что готов поразить нового Кромвеля. Обвиняя Робеспьера в том, что ему служат «люди, погрязшие в разврате», он предлагает объявить заседания Конвента непрерывными до тех пор, «...пока меч закона не упрочит существование революции и пока не будут изданы постановления об аресте клевретов тирании».

Собрание рукоплещет Тальену. Оба его предложения принимаются под крики «Да здравствует республика!».

Кровь бешено стучит в висках Робеспьера. Пот струится по бледному лицу. Он пытается протиснуться на трибуну, но его отталкивают локтями. Тальен потрясает кинжалом. Каждый раз, как Неподкупный пытается сказать слово, раздается дружный крик: «Долой тирана!» и звенит колокольчик председателя. Нет, они не дадут ему говорить. Как в полусне, он слышит вкрадчивый голос Барера, который что-то предлагает,

от чего-то предостерегает. Барера сменяет Вадье... О чем это он?.. А, опять дело старухи Тео!.. Вадье издевается, он брызжет слюной, он хочет вызвать всеобщий хохот. Тальен ерзает на своем месте. Дуралеи! Они даром теряют время! Принимают второстепенные декреты, издают постановления об аресте второстепенных лиц. А он... Он еще жив, и он надеется получить слово! Скорее, скорее кончать все разом!.. Тальен прерывает разглагольствования Вадье:

— Я требую, чтобы прения велись о существе дела!

Робеспьер понимает. Как подстреленная птица, он вздрагивает и пытается еще раз подняться на трибуну.

— О, я сумею вернуть прения к существу дела! — страстно восклицает он.

Но ему опять не дают говорить. Крики «Долой тирана!» гремят отовсюду. Тальен обвиняет его в том, что он арестовывал патриотов.

— Это неправда! — кричит Робеспьер. — Я...

— Долой тирана! — ревет Конвент.

Он спускается к подножию трибуны. Он обращает взор в сторону Горы. О, предатели! Одни остаются неподвижными, другие отворачиваются. Он протягивает руки к амфитеатру.

— К вам, добродетельные граждане, а не к этим разбойникам, взываю я...

Тщетно. Крики усиливаются. Тогда вне себя от ярости, Робеспьер вновь бросается на трибуну. Он бьется как лев, расталкивает врагов, судорожно цепляется за перила... Ему обрывают жабо. Обращаясь к председателю, он хрипит:

— В последний раз, председатель разбойников, дай мне говорить или убей меня!..

Тюрио, сменивший Колло в председательском кресле, неумолимо звонит. Крики чередуются с хохотом. Какое зрелище! Робеспьер, схватившись обеими руками за грудь, кашляет: он сорвал голос.

— Тебя душит кровь Дантона! — злобно кричит Лежандр.

Робеспьер, изнемогающий, задыхающийся, резко оборачивается:

— Так, значит, за Дантона хотите вы отомстить мне, трусы? Подлецы! Почему же вы не защищали его?

Тальен смотрит на часы. Фрерон бурно вздыхает:

— Ах, как трудно свалить тирана!

Тальен скользит взглядом по рядам и делает знак. Пора, наконец, приступать к последнему действию. Встает депутат Луше — кому он известен? — и произносит слово, которого все так ждали и так боялись:

— Я предлагаю издать декрет об аресте Робеспьера.

Крики затихли как по мановению волшебного жезла. Жуткая тишина охватила зал. После почти минутного молчания кто-то поддержал Луше. Вопрос был поставлен на голосование.

В эту минуту поднимается молодой человек. Это Огюстен Робеспьер.

— Я виновен так же, как и мой брат, — говорит он. — Я разделяю его добродетели. Я требую, чтобы обвинительный декрет был издан и против меня.

Тщетно Максимилиан пытается защитить брата — его не слушают. Затем декретируется арест обоих Робеспьеров, Кутона и Сен-Жюста. Все члены Конвента встают и кричат:

— Да здравствует республика!

— Республика! — шепчет Максимилиан. — Республика погибла. Наступает царство разбойников...

Вдруг вскакивает Леба. Его пытаются удержать. Но, оставляя в руках друзей клочья своей одежды, он бежит к группе опальных.

— Я не хочу разделять позор этого декрета, — говорит он. — Я требую своего ареста.

Арест Леба утверждается. Кого же не хватает? Давида! Давид не пришел в этот день на заседание Конвента. Художник предпочел не осушать «смертной чаши» вопреки своему пылкому заявлению в Якобинском клубе...

Раздаются требования, чтобы арестованные спустились к решетке Конвента. Оба Робеспьера, Кутон и Леба безропотно повинуются. Сен-Жюст покидает трибуну, на которой в гордом молчании стоял до сих пор, и передает текст своего доклада в президиум. Кутон в ответ на реплику Фрерона, обвинившего его в том, что он хотел «взойти на трон по трупам представителей народа», с улыбкой указывает на свои парализованные ноги:

— Это я-то хотел взойти на трон?

Оставалось выполнить декрет об аресте. Обвиняемые проявили полную готовность подчиниться. Но приставы Конвента, которым надлежало исполнить приказ, были смущены и не решались действовать. Арестовать Робеспьера! Это казалось невероятным! Вызывают жандармов. Колло д'Эрбуа поздравляет Собрание с тем, что оно избежало повторения дней 31 мая — 2 июня. Появляются жандармы и уводят пленников. Председатель, видя, что уже половина шестого, объявляет перерыв, чтобы дать депутатам пообедать. Заседание откладывается до семи часов вечера.

Но прежде чем наступят эти семь часов, произойдет много серьезных событий. Ведь еще не сказал своего слова Париж! Еще ничем не проявили себя секции! А Коммуна? Разве можно было сбрасывать ее со счетов? Хотел того Неподкупный или нет, но судьба его должна была решиться на улице.

В пять часов вечера, в то время как Робеспьер и его четверо верных соратников терпели издевательства в Конвенте, должностные лица Коммуны и храбрый Анрио, догадываясь о положении дел, по собственному почину призвали к восстанию. Были закрыты заставы, ударили в набат, созвали секции и предписали им послать своих канониров вместе с пушками к зданию ратуши. Правда, по приказанию Конвента значительная часть артиллеристов в предшествующие дни была удалена из Парижа, но и те, что оставались, представляли внушительную силу; сила эта была верным резервом робеспьеристов и Коммуны.

В половине шестого, когда арестованных препровождали в Комитет общественной безопасности, где их должны были накормить и распределить по тюрьмам, Анрио с отрядом жандармов решил отправиться им на помощь. Осуществляя свой план, он промчался галопом через улицы Монне и Сент-Оноре. У здания отеля де Брионн, где помещался Комитет, толпились люди. Расталкивая толпу, Анрио во главе своих жандармов пробрался к парадному подъезду Комитета и, когда ему отказались открыть, с ругательствами выбил дверь. На него набросились. Буквально на глазах Робеспьера и других арестованных Анрио был повален, связан и отдан под охрану тех самых жандармов, во главе которых явился, чтобы спасти робеспьеристов. Это обстоятельство укрепило Робеспьера в его предположениях. Его друзья также решили, что восстание не имеет шансов на успех. Пятеро арестованных пришли к выводу, что следует отказаться от всякой мысли о сопротивлении Конвенту и провести свою защиту законными средствами, в Революционном трибунале.

В шесть часов в здании ратуши собрался Главный совет Коммуны. Председательствовал Леско. Было составлено воззвание, начинавшееся словами: «Граждане, отечество в большей опасности, чем когда бы то ни было». В качестве «злодеев,

предписывающих Конвенту законы», назывались Амар, Колло д'Эрбуа, Бурдон, Барер и другие. «Народ, поднимайся! — заключало воззвание. — Не утратим плодов 10 августа и низвергнем в могилу всех изменников!» Совет постановил считать все приказы Комитетов недействительными. Всем установленным властям было предписано явиться и дать клятву спасти родину. Подозрительные администраторы подверглись аресту. Тюремным привратникам были разосланы приказы никого не принимать и не выпускать на свободу без особого распоряжения верной робеспьеристам администрации. Канониры собирались на Гревской площади, расстанавливая свои пушки. Наконец, Кофиналю было поручено освободить всех томившихся в Комитете общественной безопасности.

В восьмом часу энергичный Кофиналь во главе верных отрядов скакал к отелю де Брионн. Когда он занял здание Комитета общественной безопасности, там почти никого не было. Члены Комитета разбежались. Робеспьера и других арестованных направили по тюрьмам. Оставались связанный Анрио и его сторожа. Жандармы, хотя им и было приказано размозжить голову пленнику при первом опасении подвергнуться насилию, не сопротивлялись. Анрио, освобожденный от веревок, потягивался, разминая затекшие члены. Потом стал горько упрекать жандармов, которые дали его связать. Пристыженные, они ответили, что будут верны ему до самой смерти. Кофиналь и Анрио вскочили на коней и в сопровождении отряда канониров двинулись к Конвенту.

В семь часов Конвент возобновил прерванное заседание. По предложению Бурдона, поддержанному Мерленом, было решено осудить членов Коммуны и направить их в трибунал. Разнесся слух, что арестован Пейян. Собрание торжествовало. Но слух оказался ложным. Вместо этого вбежал пристав и сообщил об освобождении Кофиналем Анрио и о взятии мятежниками Комитета общественной безопасности. Депутаты пали духом. Вошел Колло и, заняв председательское кресло, сказал с растерянным видом:

— Граждане, настала минута умереть на нашем посту...

Умирать на своем посту никто не желал. Кое-кто начал потихоньку удирать. Лоран Лекуантр, прибывший с боевыми припасами, стал раздавать ружья и пистолеты. Однако от получения оружия многие старались уклониться. На какой-то мо-

мент положение Конвента казалось совершенно безнадежным. Оставшиеся депутаты удрученно смотрели друг на друга. Неужели не произойдет чуда? И чудо произошло.

Кофиналь не довершил своей победы. Он передал Анрио часть отряда, а сам с остальными людьми направился обратно к ратуше. Анрио, который полагал, что заседание Конвента еще не возобновилось, поскакал прямо к Тюильри, намереваясь закрыть главный зал и выставить пикет. Но когда он был почти у цели, он обнаружил, что члены Конвента собрались и заседание продолжается. Тут вдруг на этого храброго человека напала непонятная робость. Чего он испугался? Или над ним, как и над Робеспьером, все еще довлел престиж Конвента? Во всяком случае, приказав своим людям не отставать, он вслед за Кофиналем повернул к ратуше. Это была одна из самых тяжелых ошибок, совершенных вождями повстанцев вечером и ночью 9 термидора. Более удобного случая для взятия верховной власти уже не представилось и представиться не могло.

Но что же делал Неподкупный? Как складывалась его личная судьба в часы, когда восстание решало будущность революции?

В то время когда собрался Главный совет Коммуны, а связанный Анрио был брошен под охрану своих жандармов, арестованных робеспьеристов разводили по тюрьмам. Максимилиана направили в Люксембургскую тюрьму, его брата — в Ла Форс, Кутона — в Бурб, Сен-Жюста — в Экоссе, Леба — в департаментский Дом правосудия.

В седьмом часу Максимилиан, окруженный жандармами, переходил через Сену. Его поражало всеобщее оживление, царившее на пути. Двигались толпы вооруженных людей, везли пушки, в разных направлениях проносились группы всадников. На улице Турнон толпа стала настолько густой, что жандармам пришлось пробивать себе дорогу оружием. Когда подошли к тюрьме, раздались крики: «Да здравствует Робеспьер!»

Жандармы чувствовали себя неловко и опасались за свою участь. Вызвали привратника. Привратник отказался принять арестованного. Потребовали начальника тюрьмы. Но он также не принял Робеспьера. Стоявший рядом муниципальный чиновник набросился на жандармов:

— Вас, поднявших руку на Неподкупного, следует предать

мстительному суду всех добрых граждан! Убирайтесь прочь, пока не поздно!

Крики толпы усилились. Жандармы были готовы бросить своего подопечного и уносить ноги, но Робеспьер, не менее расстроенный, чем они, потребовал, чтобы его доставили в полицейское управление на набережную Орфевр. Жандармы подчинились. Когда Максимилиан подходил к управлению муниципальной полиции, было около восьми часов.

Здесь необходимо сделать некоторые пояснения. Почему начальник тюрьмы отказался принять Неподкупного и почему последний был так этим огорчен?

Хотя Главный совет Коммуны разослал по тюрьмам приказы, запрещающие принимать новых арестантов, им подчинились не везде. Исходил ли начальник Люксембургской тюрьмы в своих действиях именно из этого приказа? Трудно сказать, ибо почти одновременно он получил совершенно аналогичное тайное постановление из... Комитета общественной безопасности! На первый взгляд это кажется невероятным. Что заставляло антиробеспьеровское правительство издать приказ в нарушение своего собственного решения? Как объяснить, что, одной рукой подписывая декрет об аресте Робеспьера, другой оно тут же строчило запрещение принимать его в тюрьму? О причине этого можно только догадываться. По-видимому, если Робеспьер рассчитывал дать последний бой в стенах Революционного трибунала, то враги его как раз этого и боялись. А наилучший способ помешать ему выступить в суде состоял в том, чтобы не довести дело до суда! Нужно было доказать, что Робеспьер мятежник, что он не подчиняется закону, и тогда его можно было поставить вне закона, то есть казнить без соблюдения судебной процедуры! Вот поэтому-то, вероятно, Комитет общественной безопасности и позаботился о том, чтобы Неподкупный не был принят в тюрьму, ибо это давало возможность обвинять его в неповиновении властям, то есть в мятеже. Вот поэтому-то, с другой стороны, и сам Максимилиан был так опечален всем случившимся у Люксембурга: не зная еще причин происходящего, он видел крушение своих планов; он прекрасно понимал, что если враги обвинят его в неподчинении закону, он будет лишен всякой возможности оправдаться законным путем. А он, несмотря на все постигшие его разочарования, до сих пор все еще надеялся на легальные средства защиты как на единственную возможность к спасению. И когда он увидел, что в тюрьму его не прини-

мают, он за неимением «лучшего» отдал себя в руки муниципальной полиции, дабы была сохранена видимость повиновения закону.

Коммуна стала центром восстания. Вокруг нее собирались все новые вооруженные силы. Был создан Исполнительный комитет во главе с Пейяном и Кофиналем. Вскоре в ратушу прибыл Огюстен Робеспьер, которого, как и Максимилиана, не принял начальник тюрьмы. Когда стало известно, что Неподкупный находится на набережной Орфевр, за ним послали. От имени депутации Ланье просил Максимилиана присоединиться к Коммуне и немедленно перебраться в ратушу.

— Ты больше не принадлежишь себе, — сказал Ланье. — Ты должен всего себя отдать родине.

Однако Робеспьер не торопился покинуть управление полиции. Он жадно расспрашивал о происходившем, внимательно слушал, но своего отношения к услышанному не высказывал. Присутствующих поражали его задумчивость и отчужденность. В конце концов он решительно отказался следовать за Ланье, сказав, что предпочитает «остаться в руках администрации». Такое поведение возмутило энергичного Кофиналя. Около десяти часов он лично отправился за Максимилианом и почти силой увел его. Так Робеспьер оказался в ратуше, среди радостно приветствовавших его членов Коммуны. Он был грустен и задумчив. Его планы рушились. Он догадывался обо всем, что должно было вскоре произойти.

Когда члены Конвента, заседавшие в Тюильри, поняли, что тревога была ложной и что им непосредственно ничто не угрожает, их охватила бурная радость. Страшный Анрио, вместо того чтобы захватить их врасплох, ускакал! Пушки, направленные на Конвент, оказались блефом! Было решено немедленно готовиться к контрнаступлению. Учредили Комиссию обороны. Во главе ее поставили Барраса, в помощники которому дали Фрерона, Ровера, обоих Бурдонов и еще двух депутатов. Комитет общественного спасения представил проект декрета, ставящего вне закона всякого, кто, будучи подвергнут аресту, уклонился бы от повиновения властям. Всем было ясно, в кого метил декрет. Однако Вулан счел нужным это уточнить. Он предложил поставить вне закона персонально Робеспьера-старшего. Предложение было принято единогласно.

Барер обратил внимание депутатов на необходимость при-

влечь основную массу парижан. Секции, следуя воззванию Коммуны, давно уже были в сборе. На чью сторону они станут? От этого в конечном итоге зависел успех всего дела. И вот Конвент решает направить в секции Барраса с его адъютантами. Им надлежит провести «разъяснительную» работу и заручиться поддержкой максимально возможного числа округов.

Итак, к вечеру полностью определились и организационно оформились два центра: Коммуна, главный очаг восстания, и Конвент, ядро контрреволюционного термидорианского блока. После того как ведущие деятели Коммуны совершили тяжелую ошибку, отказавшись от попытки захватить Конвент, когда это было сравнительно легко сделать, вся борьба, естественно, сосредоточилась на завоевании масс, то есть секций. Эта приглушенная борьба заняла оставшуюся часть вечера и начало ночи.

Робеспьер был прав, не строя иллюзий относительно настроений в секциях. Настроения парижан были весьма колеблющимися, и чем дальше шло время, тем в большей степени эти колебания складывались не в пользу Коммуны.

В тот час, когда Главный совет Коммуны ударил в набат и призвал секции к революционной присяге, казалось, что подавляющее большинство их откликнется на призыв. Однако на сторону Конвента сразу же стало около трети секций; вскоре число их увеличилось до половины. Но из оставшейся половины большинство не оказало прямой поддержки Коммуне, занимая нейтральные или колеблющиеся позиции. Безоговорочно принесли присягу Исполнительному комитету ратуши только восемь секций, но и они не сохранили верности восстанию до конца.

Секции с преобладанием буржуазных элементов полностью поддержали Конвент. Из секций со значительным ремесленно-рабочим населением за Конвент высказались две центральные — Гравилье и Бон-Нувель, в которых раньше было особенно сильным влияние Жака Ру и Эбера. Мелкобуржуазные секции колебались и меняли свои решения; многие из них сначала высказались за Коммуну и перешли на сторону Конвента только после жестокой внутренней борьбы. Северо-восточные и юго-восточные секции предместий Парижа, где было много рабочих, в большинстве оставались нейтральными. О нейтралитете объявила одна из самых революционных секций — Кенз-Вен. В секции Брута произошел раскол. Из района южных

предместий только секция Обсерватории осталась верна Коммуне.

Коммуна, как нарочно, действовала на руку заговорщикам. Еще 5 термидора (23 июля) она утвердила новые ставки максимума заработной платы, вызвавшие открытое недовольство в предместьях. И вот в те часы, когда ударил набат, призывая к восстанию, у ратуши толпились возмущенные рабочие, а каменщики готовили стачку. В этих условиях Исполнительный комитет не проявил необходимой оперативности. Правда, позднее приняли воззвание, делавшее ответственным за новые ставки Барера, но время было упущено.

Враги Робеспьера ловко использовали все эти промахи. Баррас и другие «агитаторы» подзуживали недовольных рабочих и сбивали с толку нерешительных мелких буржуа. Труженикам они обещали уничтожение максимума заработной платы, буржуазии — отмену максимума цен и ликвидацию ненавистной диктатуры. В секции, принявшей имя Марата, они заявили, что «драгоценные останки мученика Марата» будут немедленно перенесены в Пантеон и что этого не было сделано до сих пор «вследствие низменной зависти тирана Робеспьера». В предместьях Сент-Антуан и Сен-Марсо искусно распространяли слух, будто Робеспьер был арестован за роялистский заговор. Лживые обвинения возводили и против других руководителей восстания.

И вот в то время как заговорщики действовали с быстротой и решительностью, сторонники Робеспьера не обнаружили ни энергии, ни твердости. Они не сумели увлечь за собой основные массы народа. Поэтому демократические секции, которые были на стороне Коммуны, проявили пассивность, вялость. Эта пассивность при ярко выраженной активности буржуазной части секций и погубила восстание. Значительная доля вины за все это падает на самого Неподкупного.

Главный зал ратуши был переполнен. Шум стоял невообразимый. Приходили и уходили муниципальные офицеры, опоясанные национальными шарфами, сновали люди с папками под мышкой, появлялись новые представители секций с инструкциями своих комитетов. Всех членов муниципалитета собралось не менее пятисот человек. Центральная группа, оживленно спорившая, окружала Максимилиана. Он был бледен, лицо выражало крайнюю степень утомленности и душевной тоски. Уже прибыли освобожденные из тюрем Сен-Жюст и Леба. Ждали Кутона. Однако Кутон, верный ранее принятому плану, не

хотел покидать тюрьму. Пришлось послать за ним депутацию с настоятельным письмом.

Максимилиан машинально прислушивался к тому, что творилось вокруг него. Ему казалось, будто царит какая-то бестолковая сутолока. Люди снуют туда и сюда. Кричат, спорят до хрипоты, читают воззвания... Но делается ли то, что нужно? И что, собственно, нужно делать?..

Приближалась полночь. Небо, покрытое грозовыми тучами, обещало дождь. Перед зданием ратуши по-прежнему стояли усталые батальоны канониров и национальных гвардейцев. Они находились здесь с семи часов вечера, проголодались, измучились, приуныли; никто не имел понятия о том, сколько еще времени придется бездействовать и чем кончится эта ночь. Мрачно прохаживались офицеры, посматривая в черноту неба. Поднимался ветер. Дождь будет неминуемо!

На улицах, прилегавших к ратуше, стали появляться в сопровождении факельщиков эмиссары Конвента. Они, так же как и муниципальные офицеры, были опоясаны трехцветными шарфами. Переходя от перекрестка к перекрестку, они громко читали последний декрет Конвента.

«Национальный Конвент, заслушав доклады своих Комитетов, запрещает запирать городские ворота и созывать секции без соответствующего разрешения Правительственных Комитетов.

Он объявляет в н е з а к о н а всех административных лиц, которые будут отдавать вооруженным силам приказы к выступлению против Национального Конвента или потворствовать неисполнению его декретов.

Он объявляет также в н е з а к о н а лиц, которые, находясь под действием декрета об аресте, сопротивляются закону или уклоняются от его исполнения».

Декрет этот рубил под корень всех, кто поддерживал Робеспьера или сочувствовал ему. Улицы Парижа, недавно переполненные, быстро опустели. Запоздавшие стремились поскорее добраться до своих квартир. Толпы патриотов на подступах к Гревской площади заметно редели. Многие бросали оружие. Представители Коммуны арестовывали эмиссаров Конвента, но это не могло изменить общего положения дел.

Кутона принесли в ратушу только около часа ночи. Максимилиан радостно бросился ему навстречу и заключил его

в свои объятия. Теперь все, наконец, оказались в сборе. Надо было на что-то решаться. Пятеро робеспьеристов уединились в комнате, соседней с главным залом.

— Нужно сейчас же написать воззвание к армии, — сказал Кутон, как только закрыли дверь.

— От чьего имени? — спросил Неподкупный.

— От имени Конвента, — ответил Кутон. — Разве он не там же, где и мы? Остальные — не более чем заговорщики; их можно будет легко рассеять.

Робеспьер задумался. На лице его было сомнение. Он что-то шепнул своему брату, затем сказал:

— По-моему, следует писать от имени французского народа.

Итак, Неподкупный, наконец, решился на полный разрыв с Конвентом, на полный отказ от легальных средств. Слишком поздно!

Из соседнего зала раздались крики. Робеспьер и его друзья вышли из своего уединения, чтобы узнать, в чем дело. Оказалось, Пейяну пришла в голову малоостроумная мысль прочесть вслух декрет Конвента, отобранный у эмиссаров. Он рассчитывал высмеять декрет. Но произошло обратное. Когда присутствующие узнали, что их объявили вне закона, они пришли в ужас. Все поняли, что их ждет смерть без суда. Не скрывая своих намерений, многие бросились к дверям.

Вошел Кофиналь. Он сообщил, что канониры и национальные гвардейцы начали расходиться с Гревской площади, сначала поодиночке, затем группами. Было решено осветить фасад здания яркими лампами, чтобы лучше следить за солдатами. И вот зажгли настоящую иллюминацию. Странное зрелище представляло это праздничное освещение в такую трагическую ночь!..

Поль Баррас улыбался. Да, его полное холеное лицо сморщила гримаса довольной улыбки, такая широкая, что небольшие водянистые глазки совсем закрылись. Еще бы! Только что он получил новые известия от своих соглядатаев с Гревской площади. Все шло как по-писаному: последние канониры, уставшие и сбитые с толку эмиссарами Конвента, расходились. Соглядатай рассказывал, как Анрио, выбежавший из ратуши в сопровождении двух адъютантов, тщетно ругался, кричал, умолял... Этого всего и следовало ожидать. Идеалисты, добродушные мечтатели! В то время когда они распускали слюни, сомневаясь и не зная, с какой стороны взяться за дело, он,

Баррас, и его добрые дружки не теряли ни минуты. Недаром же они поработали сегодня до восьмого пота! Клевета, запугивание, лесть, обман — все было пущено в ход. И вот результат: мятежники у него в кулаке. Что мятежники! О мятежниках говорить не приходится. Теперь они трупы. У него и его приятелей — Тальена и Фрерона — в руках весь Конвент! Ну и ловко же было обстряпано это дельце! Все эти дуралеи — Колло д'Эрбуа, Билло-Варен, Вадье и прочие — попались на приманку, как мухи на липкую бумагу. Они предали Неподкупного, думая, что окажутся наверху, но в действительности все они тоже скоро начнут чихать в корзину: их быстро сбросят со счетов. И тогда — гуляй, денежный мешок! Вся якобинская дребедень полетит к черту. За Робеспьера со всеми его добродетелями никто не даст и ломаного гроша, а он, Баррас, сегодняшний спаситель Конвента, станет первым человеком: денег у него хоть отбавляй, он успел достаточно награбить при якобинцах, а теперь появится и власть. Деньги и власть — это все!

Баррас обернулся. Сзади к нему подходил Леонар Бурдон.

— Уже половина второго, — сказал Бурдон. — Надо завершать кампанию.

План Барраса был готов. Он разделил своих людей на два отряда. Во главе одного поставил Бурдона; этот отряд должен был двигаться по набережной и пробраться к ратуше со стороны Гревской площади. Дело облегчалось тем, что благодаря предательству Бурдону был известен пароль войск Коммуны. Для себя самого Баррас выбрал — к чему рисковать? — другой, обходный путь, вдоль улиц Сент-Оноре, Сен-Дени и Сен-Мартен, рассчитывая подойти к ратуше с тыла в то время, когда все уже будет кончено.

Члены муниципалитета и представители секций покидали ратушу. Отбыла делегация якобинцев, пришедшая за инструкциями. Обреченные депутаты лихорадочно работали. Леба писал послание в военную школу Саблонского лагеря. Сен-Жюст вместе с Кутоном редактировал новые воззвания к секциям. Огюстен Робеспьер, Пейян и Кофиналь обсуждали возможность нападения на Конвент. Максимилиан, сидя в глубоком кресле, быстро прочитывал передаваемые ему бумаги и делал пометки. Вот, наконец, составлен набело текст воззвания к секции Пик. Члены Исполнительного комитета подписывают его. Максимилиан отходит к окну и смотрит на площадь. Два часа ночи. Яркий свет. Боже, как мало защитников осталось перед рату-

шей! Но и они разбегаются. Падают первые капли дождя. Однако что это там, справа? Большой отряд подходит к главной двери. Слышны крики: «Да здравствует Робеспьер!» Кто они? Неужели возвращаются свои? Или, быть может... Максимилиан стискивает зубы и нащупывает пистолет в кармане своих золотистых панталон. За его спиной раздается голос Кофиналя:

— Робеспьер, подпиши, твоя очередь!

Максимилиан оборачивается. Пейян, Леребур и другие уже подписали воззвание. Ему дают перо. Он просматривает текст, обмакивает перо в чернильницу и медленно выводит две первые буквы своего имени. Страшный шум на лестнице заставляет его, как и других, поднять глаза к двери. Слышен топот многих ног... Шум борьбы... Топот приближается. Дверь с треском распахивается, и на пороге возникает потный Леонар Бурдон. Концом шпаги он указывает жандармам на тех, кого нужно схватить в первую очередь. Почти одновременно раздаются два выстрела. Подпись Максимилиана остается недоконченной: рядом с еще не просохшими первыми буквами его имени падает алая капля...

...Мертвый Леба плавал в собственной крови: он застрелился. Максимилиан лежал с простреленной челюстью. Хотел ли он также покончить с собой? Или его ранил жандарм Бурдона?.. Огюстен выбросился из окна; его подобрали полумертвым. Сен-Жюст и Дюма отдались в руки врагов без сопротивления. Анрио захватили позднее во дворе ратуши. Кофиналю и нескольким другим удалось скрыться. Они пытались вынести Кутона, но безуспешно: раненный в голову, он был отбит людьми Бурдона.

Когда Баррас подошел к ратуше, все, как он и ожидал, было кончено. Оставалось отмыть кровь, подобрать раненых и унести мертвых. Было около трех часов. Начинало светать. Дождь, превратившийся в ливень, хлестал мостовую, и в лужах отражалась ненужная иллюминация ратуши. Баррас закрыл все двери, ключи же по-хозяйски положил в карман. Нет, он не чувствовал усталости. На душе было легко от сознания, что потрудился недаром. И правда, можно ли было не испытывать горделивого удовлетворения? Сколько прославленных политиков хотели окончить революцию; они обладали умом, талантом, даром красноречия, а головы их легли под нож гильотины. Он, Поль Баррас, которого считали посредственным умом и второстепенным деятелем, он смог сделать

то, на что оказались неспособными все эти умники: он закончил революцию и ключи от нее спрятал в своем кармане. Ну разве он не был человеком, достойным славы и почестей?..

А Неподкупного, окровавленного и потерявшего сознание, спешили доставить в Конвент. Его осторожно несли несколько человек из народа. Путь был долгим и тяжелым; грязь хлюпала под ногами, одежда промокла. Наконец показался силуэт Тюильрийского дворца. Вот и Конвент. У подножия лестницы пришлось остановиться: казалось, здесь собрался чуть ли не весь Париж. Заспанные буржуа не поленились встать среди ночи, чтобы насладиться зрелищем поверженного врага.

— Смотрите, сам король! Как, хорош?

— Вот он, Цезарь!

— Если это тело Цезаря, то отчего не бросят его на живодерню?..

Хохотали, указывали пальцами. К счастью своему, он ничего не слышал.

Председатель Конвента обратился к Собранию:

— Подлец Робеспьер здесь. Не желаете ли его видеть?

— Нет! — закричал под аплодисменты Тюрио. — Труп тирана может быть только зачумленным.

Его принесли в одну из комнат Комитета общественной безопасности. Положили на стол, против света, а под голову подоткнули деревянный ящик с кусками заплесневелого хлеба.

Он лежит, вытянувшись во весь рост, без шляпы и без жабо. Его светлое платье изорвано и покрыто кровью; чулки спустились с ног. Он не шевелится, но часто дышит. Время от времени рука бессознательно тянется к затылку, мускулы лица сокращаются, дергаются окровавленные губы. Но ни одного стона не вырывается из этих истерзанных уст. Входят новые и новые мучители, чтобы взглянуть на «тирана». Лица сверкают жестокой радостью.

— Государь, ваше величество, вы страдаете?

Он открывает глаза и смотрит на говорящих.

— Ты что, онемел, что ли?..

Он только пристально смотрит на них.

Вводят Сен-Жюста, Дюма и Пейяна. Они проходят в глубь комнаты и садятся у окна. Один из присутствующих кричит любопытным, окружившим Робеспьера:

— Отойдите в сторону! Пусть они посмотрят, как их король спит на столе, точно простой смертный.

Сен-Жюст поднимает голову. Лицо его искажает душевная мука. Со страшной болью сердца смотрит он на того, кто был его учителем и самым близким другом. Этот взгляд так выразителен, молодое лицо так прекрасно, что мучители, пораженные, на минуту смолкают.

Взгляды Сен-Жюста и Робеспьера встречаются. Им не нужно слов. Они понимают друг друга. Робеспьер отводит глаза. Сен-Жюст следит за ним. Неподкупный смотрит на текст конституции, висящий на стене против окна. Сен-Жюст смотрит туда же.

— А ведь это наше дело... — шепчут его бескровные губы. — И революционное правительство тоже...

Шесть часов утра. Уже совсем светло. Дождь кончился. В комнату быстро, военным шагом входит Эли Лакост. Он приказывает отвести арестованных в Консьержери. Затем, обращаясь к пришедшему вместе с ним хирургу, он говорит:

— Хорошенько перевяжите рану Робеспьера, чтобы его было можно подвергнуть наказанию.

В то время как хирург перебинтовывал Максимилиану лоб, один из присутствующих сказал:

— Смотрите! Его величеству надевают корону.

Робеспьер посмотрел на оскорбителя спокойно, задумчиво и пристально.

Единственные слова, которые он произнес, многим показались странными. Когда один из любопытных, видя, что он никак не может нагнуться, чтобы подтянуть чулки, помог ему, Робеспьер тихо сказал:

— Благодарю в а с, с у д а р ь.

Решили, что он сходит с ума: уже давно не обращались на «вы» и не употребляли слова «сударь», напоминавшего о времени королей. Нет, Неподкупный был в здравом уме и ясно выразил то, что думал. Этими словами он хотел сказать, что революции и республики больше не существует, что жизнь вернулась к старому режиму и все завоевания прошлых лет безвозвратно погибли.

Их казнили без суда, в шесть часов вечера. Вместе с Робеспьером встретили смерть двадцать два его ближайших соратника. На следующий день гильотина получила еще семьдесят жертв — членов Коммуны. Драма термидора закончилась. Начиналась кровавая вакханалия термидорианской буржуазии.

Смерть и бессмертие

(Вместо послесловия)

Победители спешили реализовать плоды своей победы. Первое время вожди «нуворишей», правда, были вынуждены считаться с недавними союзниками — левыми термидорианцами. Но это продолжалось недолго. Обновленный Конвент ликвидировал все завоевания народа. Уничтожили революционное правительство. Разгромили Якобинский клуб. Отменили максимум.

Враги Робеспьера обещали открыть тюрьмы и прекратить террор. Но тюрьмы открылись лишь для того, чтобы освободить врагов народа, а террор обрушился на головы его друзей [1]. Катастрофически падал уровень жизни. Если отмена максимума дала буржуазии благоденствие, то рабочим она несла лишь голод и нищету. Социальные контрасты достигли чудовищных размеров. В то время как буржуазный Париж утопал в роскоши, напоминавшей времена старого порядка, а в особняках Барраса и Терезы Тальен пышные балы сменялись кутежами и оргиями, рабочие предместий умирали с голоду.

Теперь народ все чаще вспоминал Неподкупного. Весной 1795 года — в жерминале и прериале — народ дважды попытался с оружием в руках вернуть утраченное. «Хлеба и конституции 1793 года!» — кричали повстанцы. Но победить им не удалось. Разгромив и разоружив народ, реакционная буржуазия отбросила последние следы маскировки. Вожаков левых, всех тех, кто так активно помогал им произвести тер-

---

[1] Сразу же после переворота были арестованы и брошены в тюрьмы все близкие Максимилиана: его квартирные хозяева супруги Дюпле (9 термидора), их сын (тогда же), старшие дочери (19 термидора), а также сестра трибуна (13 термидора). Судьба всех их сложилась по-разному. Гражданка Дюпле погибла в тюрьме. Морис Дюпле был оправдан по суду без малого год спустя; позднее он вместе с сыном участвовал в заговоре Бабефа, был снова арестован и умер в 1820 году. Дети Дюпле пробыли в заключении недолго. Элеонора — «невеста Робеспьера», — пережившая своего друга почти на сорок лет, всю жизнь оставалась верной его памяти и носила по нем траур. Шарлотта Робеспьер прожила до 1834 года. В этом же году были опубликованы «Воспоминания», посвященные ее великому брату и написанные ею незадолго до смерти.

мидорианский переворот, предавали смерти, изгоняли из Франции либо отправляли на «сухую гильотину» — в вечную ссылку в Гвиану.

Жизнь большинства из них угасла на чужбине. Казалось, судьба мстила им за предательство. Поняли ли они хотя бы, что сделали роковую ошибку? Справедливость требует ответить на этот вопрос утвердительно.

Коварный Барер, несмотря на все свои хитрости и уловки не спасшийся от изгнания, писал, что считает контрреволюционный переворот 9 термидора следствием большого заблуждения. Он прямо утверждал, что причисляет Максимилиана Робеспьера к числу самых выдающихся деятелей революции.

Колло д'Эрбуа и Билло-Варен закончили свои дни в далекой Америке. Горячий Колло не оставил следов своих размышлений — смерть унесла его слишком быстро. Что же касается Билло-Варена, то этот суровый республиканец полностью переосмыслил свое прошлое поведение и признал, что оно было в значительной степени результатом личной ненависти.

«...Наши разногласия в эти дни, — писал он, — разбили единство революционной системы... Да, пуританская, чистая революция была утрачена 9 термидора. Сколько раз я потом оплакивал, что поступил по злобе!..»

И в пылу самобичевания стареющий Билло сожалел уже не только о Робеспьере, но даже о Дантоне и Демулене, которых первый обрек на смерть.

Отказался от прежних взглядов и Амар.

— Я горжусь тем, что разделял труды Робеспьера, — говорил он. — Народ имел тогда хлеб. Его хотят представить кровожадным человеком, но судить будет потомство.

Ехидный Вадье был тверже других. Правда, и он считал день 9 термидора роковым, но, по-видимому, он особенно долго сохранял злобу к Неподкупному. Однако и его совесть заговорила. «Я совершил скверный поступок, — сознался незадолго до смерти упрямый старик. — Я раскаиваюсь в том, что не оценил, как должно, Робеспьера и достойного гражданина принял за тирана...»

Так говорили и писали все эти люди прошлого. Что проку? Они могли каяться и плакать, но ничего не могли изменить. А между тем семена, брошенные Робеспьером, давали всходы. Дело его не пропало даром. Все глубже осмысливали массы события недавних лет. «Только и слышно, что сожаления

о Робеспьере, — доносили полицейские ищейки. — Говорят об изобилии, царившем при нем, и о нищете при теперешнем правительстве». Это происходило в дни, когда термидорианский Конвент сменила буржуазная Директория во главе с Баррасом, когда зрел революционный заговор, получивший в истории название «Заговора равных».

«Заговор равных», организатором которого был молодой патриот Франсуа Ноэль Бабеф, принявший имя римского трибуна Кая Гракха, представлял новый этап в развитии демократических идей французской революции.

Центральной частью программы бабувистов стало учение о равенстве, равенстве фактическом, которое должно было явиться результатом уничтожения частной собственности. Идя значительно дальше якобинцев и даже «бешеных» — защитников мелкой собственности, Бабеф считал, что революция должна быть продолжена до тех пор, пока в республике не будет учреждена «большая национальная коммуна» — ассоциация равных, свободных людей, совместно трудящихся на основе общности всех имуществ. Бабеф и его соратники разработали в деталях план организации этого общества, которое, как они рассчитывали, должно скоро прийти в результате успешного восстания масс, поднятого узким кругом заговорщиков.

Хотя движение «равных» осталось заговором, не превратившимся в массовое выступление, хотя бабувисты осуществление своих идей не связывали с классовой борьбой пролетариата, о которой имели крайне смутное представление, хотя, наконец, их коммунизм носил примитивный, по преимуществу аграрный характер, тем не менее роль этих новых глашатаев грядущего была исключительно велика.

«...Движение это, — писал К. Маркс, — вызвало к жизни коммунистическую идею, которая после революции 1830 г. снова введена была во Францию другом Бабефа Буонарроти. Эта идея, последовательно разработанная, и есть идея нового мирового порядка» [1], то есть коммунизма.

Одна черта «Заговора равных» представляет особенный интерес. Бабеф, глубоко ценивший Робеспьера, преклонявшийся перед его суровой принципиальностью и разделявший многие из его убеждений, считал себя прямым продолжателем дела, начатого Неподкупным.

---

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. III, стр. 147.

21 флореаля IV года (10 мая 1796 года) в маленькой душной комнате двое пересматривали бумаги.

Бабеф сосредоточенно перечитывал листки, вынутые из большой пачки, лежавшей в старом портфеле.

— Филипп! — вдруг воскликнул он. — Смотри, что я нашел!

Буонарроти наклонился над плечом Бабефа. Он увидел пожелтевший лист бумаги, исписанный мельким почерком.

— Попробуй догадайся, что это! — Бабеф усмехнулся. — Это мое первое открытие в 1789 году. Тогда у меня только зарождались мысли о равенстве. И я открыл Неподкупного...

Филипп вопросительно посмотрел в улыбающиеся глаза Бабефа.

— Да. Это мое открытие. Это письмо я собирался послать в Лондон. Здесь выписана часть речи Робеспьера против избирательного ценза от 22 октября 1789 года. Помню свои удивление и радость... Как ловко тогда этот, еще никому не известный оратор громил господ из Учредительного собрания! И с какой железной логикой разбивал все их ухищрения!..

Бабеф задумался и умолк. Молчал и Буонарроти.

— Ты был не прав по отношению к Робеспьеру, — сказал, наконец, Филипп.

— Не прав? — Бабеф остро взглянул на собеседника. — О, я благоговел тогда перед ним! Я помню свои мысли и чувства. Когда я слушал его или читал тексты его выступлений, мне казалось, что я смотрю в глубь собственной души. Он прекрасно умел сформулировать то, о чем думали все мы. Тогда я подписался бы под каждой его фразой... А помнишь, — горячо продолжал Бабеф, — помнишь, с каким восторгом мы встретили его Декларацию прав? «Право собственности не должно причинять ущерба существованию других, нам подобных». Кто сформулировал бы это лучше? Не вытекала ли отсюда мысль о равенстве? Да, я с уверенностью могу сказать, что Робеспьер больше, чем кто-либо другой, содействовал развитию этой идеи. Он, правда, утверждал, что полное равенство имуществ невозможно... И все-таки практически он приблизил конечное торжество нашего дела в гораздо большей степени, чем все эти гномы-болтуны, вместе взятые...

— Ты имеешь в виду эбертистов?

— Да, и многих других вместе с ними. Неподкупный правильно сделал, что устранил их. Путаники, люди с посредственными способностями, жаждавшие славы и преисполненные самомнения, они заслужили свой жребий. Судьба двадцати пяти миллионов людей не могла зависеть от поведения нескольких

сомнительных личностей. Плуты они были или глупцы, тщеславные или честолюбцы — неважно. Робеспьер правильно понял свою задачу, и одно это заставляет меня восхищаться им. Это заставляет меня видеть в нем гения.

— Ты был не прав по отношению к Робеспьеру, — снова сказал Буонарроти.

— Да, черт возьми, я был не прав. Я чистосердечно признаю; я очень зол на себя за то, что в дни термидора чернил революционное правительство Робеспьера, Сен-Жюста и других. Это было заблуждение. Я считаю, что эти люди сами по себе стоили больше, чем все остальные революционеры, вместе взятые, и что их диктаторское правительство было дьявольски хорошо задумано... В конечном итоге робеспьеризм — это демократия; оба эти слова тождественны. Воскрешая робеспьеризм, можно быть уверенным, что воскрешаешь демократию.

Буонарроти слушал пылкую речь своего друга, а сам невольно вспоминал салон дома Дюпле, рояль, нежный голос Елизаветы... Как это было давно, невозвратимо давно и как все живо в памяти! О, он мог бы рассказать много того, что неизвестно другим. Когда-нибудь он, быть может, и расскажет об этом, если будет жив...

Молчание длилось долго.

— Что же, — встрепенулся Бабеф, — надо продолжать работу. Но интересно, почему это вдруг сегодня мы вспомнили о Робеспьере? Не ожидает ли нас его судьба?

Буонарроти нежно обнял Бабефа. Его суровое лицо смягчилось.

— Друг мой, не надо думать об этом. Мы должны победить. Но даже если мы и погибнем, дело наше не умрет. И о Робеспьере мы вспомнили не зря. Смотри, как тянется нить идей и событий: он начал великое дело, мы его продолжаем, а после нас родятся люди, которые его завершат...

Буонарроти сказал правду. Дело, за которое боролись французские революционеры-демократы, было несокрушимо. Революция не могла погибнуть, так же как не погибла память о лучших ее сыновьях. И Робеспьер, и Бабеф, и все другие, кто вместе с ними и после них боролся и умирал за будущее тружеников, — все они остались жить в веках. Их судьбу метко очертила фраза в последней речи Неподкупного: «Смерть — это не вечный сон... Это дорога к бессмертию...»

Краткая библиография

Максимилиан Робеспьер, Избранные произведения в трех томах, под ред. и со вступительной статьей А. З. Манфреда. М., 1965.

Максимилиан Робеспьер, Революционная законность и правосудие. Статьи и речи под ред. и с предисловием А. Герцензона. М., 1959.

Переписка Робеспьера. Под ред. и с предисловием Ц. Фридлянд. Л., 1929.

Шарлотта Робеспьер, Воспоминания. С предисловием А. Ольшевского. Л., 1925.

М. Торез, Робеспьер — великий образ французской революции. «Интернациональная литература», 1939, № 5—6.

Н. М. Лукин (Антонов), Максимилиан Робеспьер. Петроград, 1921 (2-е, испр. изд., 1925).

Я. М. Захер, Робеспьер. М., 1925.

А. З. Манфред, Максимилиан Робеспьер — выдающийся деятель Великой французской буржуазной революции (к 200-летию со дня рождения). М., 1958.

А. З. Манфред, Споры о Робеспьере. «Вопросы истории», 1958, № 7.

В. М. Далин, Робеспьер и Бабеф. «Новая и новейшая история», 1958, № 6.

Oeuvres complètes de Robespierre, tt. I—IX. P., 1912—1961.

M. Robespierre, Textes choisis, prép. par J. Poperen, t. 1—2. P., 1957; t. 3. P., 1958.

Discours et rapports de Robespierre par Ch. Vellay, P., 1910.

E. Hamel, Histoire de Robespierre d'apres de papiers de famille, des sources originales et des documents entierement inedits. Tt. 1—3. Paris, 1865—1867.

A. Mathiez, Autour de Robespierre. Paris, 1925.

A. Mathiez, Etudes sur Robespierre, 1758—1794. P., 1958.

J. M. Thompson, Robespierre. Oxford, 1935.

G. Walter, Robespierre. Paris, 1946. (Ed. définitive, 1961.)

J. Massin, Robespierre. Paris, 1956.

M. Bouloiseau, Robespierre. P., 1961.

СОДЕРЖАНИЕ

Левандовский Анатолий Петрович

МАКСИМИЛИАН РОБЕСПЬЕР. М., «Молодая гвардия», 1965.
304 с. с илл. («Жизнь замечательных людей». Серия биографий. Вып. 31 (289).
9(И)31

Редактор **М. Брухнов**
Серийная обл. **Ю. Арндта**
Худож. редактор **А. Степанова**
Техн. редактор **А. Бугрова**

Подписано к печ. 26/II 1966 г.
Бум. 84×108$^{1}/_{32}$. Печ. л. 9,5(15,96) + 13 вкл.
Уч.-изд. л. 19,5. Тираж 75 000 экз. Заказ 2358.
Цена 80 коп. Т. П. 1966 г., № 411.

Типография «Красное знамя» изд-ва «Молодая гвардия». Москва, А-30, Сущевская, 21.

80 коп.

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ


ЖЗЛ
РОБЕСПЬЕР
А. Левандовский